

СОЧИНЕНИЯ



АРКАДИЙ
АВЕРЧЕНКО





АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО



собрание сочинений

ПОЗОЛОЧЕННЫЕ ПИЛЮЛИ

издательство
 Дмитрий
Сечин
МОСКВА 2014

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус)1
А19

Составление, подготовка текста и комментарии
С.С. Никоненко

На фронтисписе Аркадий Аверченко. Петербург, 1914.
Фотоателье Карла Буллы

Аверченко А.Т.

A19 **Собрание сочинений: В 13 т. Т. 9. Позолоченные пилюли /**
Сост., подг. текста и комментарии С.С. Никоненко. — М.: Изд-во
«Дмитрий Сечин», 2014. — 464 с.

ISBN 978-5-904962-36-4

В настоящий том, помимо известных произведений — «Подходцев и двое других», «Позолоченные пилюли», входит неиздававшийся около ста лет сборник рассказов «Дикое мясо».

ISBN 978-5-904962-11-1 (Общ.)
978-5-904962-36-4 (Т. 9)

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус)1

© С.С. Никоненко, составление, подготовка текста, комментарии, 2014
© Оформление И. Шиляев, 2014
© Издательство «Дмитрий Сечин», 2014



ДИКОЕ МЯСО
(1916)

ПОЗОЛОЧЕННЫЕ ПИЛЮЛИ



КУСТАРИ И МАШИНА

Однажды я поймал жулика.

Это был очень дурной, нехороший человек.

Свойства его натуры так и сквозили наружу, как огонек свечи сквозь заклеенные цветной бумагой окна игрушечного гипсового домика...

Начать хотя бы с того, что поймал я его ночью у себя в спальне, куда он забрался с явно выраженным намерением обокрасть меня. Скажу больше: изловил я его в тот самый момент, как он сунул в карман мои золотые часы и уже принялся за прилежное обшаривание карманов моего, висевшего на спинке стула пиджака.

Я схватил его за горло, потряхнул так, что пуговицы его костюма посыпались в разные стороны, и вслед затем бросил его в кресло.

— Ах ты, негодяй! — возмущенно вскричал я. — Узнаешь ты, как воровать. Эй, люди! Ко мне!

Людей было немного: всего одна моя горничная.

Я послал ее за дворником и полицией, а пока, так как не люблю оставаться бездеятельным, принялся отделявать вора на обе корки.

— Ну и жулик же ты! Ну и дрянь же ты, братец! Будешь ты знать, как в чужие квартиры по ночам забираться... Есть тебе нечего, что ли? А ну, покажи свои карманы... Это что? Кошелек? Сколько тут? 50 рублей? Какое хамство! Имеешь деньги и лезешь воровать. Вот за то, что ты такой корыстолюбивый — я конфискую твои деньги. Пусть это будет тебе наказанием. Сиди! А то так стулом по голове трахну, что глаза на лоб вылезут.

Я его ругал за все: за то, что он испортил хороший французский замок в передней, за то, что он разбудил меня среди ночи, за то, что в борьбе он уронил мои золотые часы и они, наверное, уже испортились — за многое я его ругал.

Он же, чувствуя себя виноватым, молчал и даже не оправдывался.

— Знаешь ли ты, что тебе в тюрьме придется сидеть?

— Чего ж там не знать? На такое дело шел.

— Значит, ты сознаешься, что хотел меня обокрасть?

— Господи! — обиделся он. — С часами в руках поймал меня да еще спрашивает.

Я помолчал. Тема разговора будто бы иссякла.

— А я тебе твоих денег-то не отдам.

— Ваше дело.

— Неужели тебе не жалко?

Он пожал плечами.

— Недорого достались, не больно жаль.

Снова молчали.

— Да-а, брат. Значит, и выходит, что ты вор. Жулик. Вот назови я так другого, порядочного человека, — да ведь он меня со свету сживет за эту клевету, за оскорбление... А ты, накость: я тебя называю вором, жуликом, а ты должен молчать. В суд, брат, меня за это не потащишь.

— Я не обижаюсь, — кротко улыбнулся он.

— Еще бы ты обиделся. Курам на смех было бы. Раз ты действительно вор, так уж тут, брат, не поспоришь.

Он во всем со мной соглашался, этот покладистый человек.

Скоро пришел дворник и повел его в участок.

* * *

Недавно я чрезвычайно удивился:

— Почему нет масла? Где спички? Где сахар?

Хор голосов согласно отвечал мне:

— Банки спрятали.

— Как так спрятали? Почему спрятали?

— Очень просто: они разные товары прячут.

— Да что они сумасшедшие, что ли — банки ваши. Разве товар можно прятать? Ведь от этого самому же себе убыток. Товар продавать надо, а не прятать.

— Много вы понимаете! — возразили все хором. — Это для банков очень выгодно: они скупают товары по нормальной цене, потом прячут и достигают того, что на рынке этого товара нет. Начинается повышение цены. А когда цены взвинчены — банки начинают постепенно выпускать товар на рынок.

— Послушайте — возмутился я. — Но ведь это же подлость. Все засмеялись.

— Дитя.

— Это форменное жульничество!

— Америку открыл.

— Грабеж среди бела дня!

— С луны свалился.

Я вспомнил своего ночного жулика, которого я так припер к стене, и сказал угрожающе:

— Хорошо же! Узнают у меня банки, как жульничать!

— Куда вы?

— В банк. Я сорву с них маски.

* * *

Снаружи это было внушительное, монументальное здание. Мрамор, бронза, скульптурные украшения.

— Хорошо нынче мошенники живут, — с горечью прошептал я. — Но, однако, стойте, голубчики.

Я энергично прошел через огромный зеркального стекла турникет и, подойдя к швейцару, в упор спросил его (нужно всегда начинать снизу и ошеломлять неожиданными вопросами):

— Где спички?

Он полез в карман, вынул коробку спичек и протянул ее мне.

— И это все? — ехидно спросил я. — И вы серьезно думаете этим отделаться? Не на такого напали, голубчик! Где сахар?

— Какой сахар? — притворился удивленным швейцар.

— Какой? Такой. Который вы спрятали. Ну, куда спрятали, признавайтесь.

Я заглянул под лестницу, бросил быстрый взгляд за дверь — нигде не было и следов сахара.

— Вам, собственно, что угодно? — спросил швейцар.

Я с достоинством ответил:

— Мне нужно выяснить некоторые стороны деятельности вашего банка.

Эта хитрая bestия прикинулась совершенно ничего не понимающей.

— Пожалуйста в банк. Там скажут, что нужно.

— Еще бы они не сказали, — пробормотал я, взбегая по лестнице. — Припру к стене, так скажут.

... Благообразный чиновник склонил ко мне розовое ухо.

— Послушайте, господин, — укоризненно спросил я. — Вы чем это тут занимаетесь?

— Онкольные счета, — отвечал он. — А вам что угодно?

— Нет, это не такой; это не тот, — подумал я, подходя к следующему.

«Ошеломлю его».

— Много у вас масла спрятано?

— Чего-с? Я по инкассо векселей, — приветливо отвечал он.

— Это тоже не то. А где у вас ответственное лицо по маслу и по спичкам?

— Не могу вам сказать. Да тут около каждого служащего табличка выставлена. Вы по табличкам посмотрите...

Долго я бродил, огорченный, от таблички к табличке. Эти мошенники замаскировали свою преступную деятельность так, что не за что было зацепиться: «оплата переводов», «личные счета», «текущий счет», «вексельная касса» — все это имело очень невинный вид.

— Кто у вас главный тут? — спросил я розового старика.

— Господин директор. Вон его кабинет.

— Мужайся, брат, — прошептал я сам себе. Ты сейчас вступишь в логовище самого главного, самого страшного грабителя. В случае чего, постарайся подороже продать свою жизнь.

Я ворвался в кабинет — и остановился на пороге разочарованный.

Навстречу мне поднялся полный пожилой господин с озабоченным лицом и торопливо спросил:

— Что угодно? Только поскорее, я тороплюсь на биржу.

Не было ни в нем, ни в его кабинете, ничего мрачного и зловещего.

Но я решил идти до конца. Подошел к нему вплотную и многозначительно шепнул:

— Где масло?

Он отшатнулся.

— Какое... масло?

— А спички где, а? А сахар? Вы думаете, от меня дешево отделаетесь? Не-е-т, батенька...

Он проворчал что-то, как мячик отпрыгнул от меня и выбежал из кабинета.

Я услышал его голос в другой комнате:

— Там у меня пьяный. Вышвырните его на улицу.

Так и было.

* * *

Я стоял обескураженный у подъезда банка и думал:

— Как жаль, что мошенники бывают разные: одного я поймал за шиворот, за аппетитный физический, мнущийся и трещащий под рукой шиворот, изобличил пойманного, унизил его и предал в руки властей. А другого... что я могу сделать с другим, когда шиворота у него нет, когда весь он хитроумно расплылся в эмалированные таблички, в монументальный мраморный подъезд, в сотни чисто выбритых, розовошеких корректных сообщников за проволочной сеткой, в десятки сытых мордастых швейцаров, во все то наружно деловое, очень приличное, лощеное внешнее, под которым кроется темный человек, нащупывающий ночью в кармане вашего пиджака бумажник.

Кто выловит в мраморе и блеске сытой толпы мягкий, удобный для захвата, шиворот?

— Чей это выезд? — спросил я широкого, как печка, кучера.

— Господина директора банка.

— Ну, вот, — подумал я. — Я переплачивал на масле, на спичках, на хлебе — и вот где мои переплаченные денежки... Вот это сверкающее заднее колесо — наверное оно сделано на мои сто переплаченных рублей... Логически рассуждая, я могу, значит, отодрать это колесо и унести его домой... А попробуй я это сделать — такой крик подымется, что скандалу и не оберешься.

Ну их к черту. Не стоит связываться!
Вздыхнул и побрел домой, ограбленный.

* * *

Жаль, что не могу встретить того своего ночного жулика:
я бы извинился перед ним.

БЕЗ ЧЕТВЕРТОГО ПАРТНЕРА

— Есть вещи, которые не укладываются в мозгу, — потирая голову, признался мне мой друг Муратов.

— Есть, — спокойно согласился. — В данном случае — что именно не укладывается в твоём мозгу?..

— Недавно я прочел в газетах сухое деловое сообщение: «В некоторых городах Германии введена такса на собачье мясо».

— Ну, и что же?..

— Ты знаешь: ко всему можно привыкнуть. К войне, к потере близких, к разорению городов, — к тысяче несчастий можно привыкнуть. Но есть, может быть, мелкие, может быть, пустые штрихи, с которыми, однако, труднее всего примириться... Например: такса на собачье мясо. Ведь это что значит? Что питание собачьим мясом не случайность, не злонамеренное тайное подсовывание мясниками собак, вместо зайца или баранины — нет! Это уже вошло в обычай, в повседневность, стало бытом, и вот с этим моя голова никак не может примириться.

Мой друг Муратов вскочил с места и, волнуясь, стал вести сам с собой странный разговор.

— Здравствуйте! Мяса мне фунт.

— Извольте. Самый лучший песик.

— Только молодой ли будет?

— Помилуйте-с, совсем щенок. Лапки тоже прикажете?

— Ну их к Богу. Вы лучше с хвостиком отрежьте. Старшая барышня очень обожает хвостик.

— Чудак вы, человек, госпожа кухарка! Где же вы у фоксика хвост нашли? Не такая это собака, чтобы зря хвост носить.

— Тю на вас! А сенбернарочье мяса у вас, часом, нет?

— Не может его быть. В первую голову резали.

И вот ободранная, гнусного вида собака лежит в кухаркиной корзинке, и от каждого кухаркиного шага трепыхаются ее ободранные, скрюченные лапы.

Устало шагает кухарка по тихим берлинским улицам.

А почему по тихим?

Да потому, что лошади не бегают (съедены), собаки не лают (съедены), моторы не гудят — тоже съедены жесточайшей войной.

Приходит кухарка домой, раскладывает на кухонном столе купленные припасы и — мог ли кто-нибудь, когда-нибудь представить себе это?! — вот лежит картофель, вот капуста, а рядом — оскаленная морда худой ободранной собаки... Нос ее касается румяного яблока, а одна лапа потонула в пучке петрушки.

Вот-те и натюрморт.

У какого художника подыметесь рука изобразить такую картину на полотне?!

И вот — режет кухарка собаку, жарит ее, варит ее, в пироге запекает ее...

А за столом?!

— Мама, — робко лепечет сынишка. — Я хочу еще собачки. Дай мне лапку.

— Чего еще выдумал!.. Два ребра съел и все ему мало. Нынче, брат, собаки кусаются — по 3 марки фунт — не очень-то облопаешься.

Гостей зовут:

— Приходите к нам на рождественскую собаку! Жирная, хорошая. С яблоками будет.

В ресторанах подделки появятся:

— Послушайте, кельнер! Это, по-вашему, собака такая?! Я вам ясно сказал — дайте порцию собаки, соус субис, а вы мне что подали? Это собака такая? Взять бы эту собаку, да по морде вас!..

Молчит, каналья кельнер, жметесь. Очевидно, действительно подсунули что-то такое, чего уж хуже быть не может.

А что уж может быть хуже собаки — это тайна берлинского ресторана.

* * *

Мой друг Муратов умолк, тяжело дыша и утирая обильный пот со лба.

— Да тебя, главным образом, что волнует? — участливо спросил я.

— А то меня волнует, что спокойный вселенский быт расшатался. То меня волнует, что не могу понять, как это люди собаку к столу допускают?

Голос с верхней койки прохрипел:

— Потому и допускают, что четвертого партнера нет.

— Кто это там? Кто это говорит?

Когда мы вошли с Муратовым в вагон и начали вышеприведенный разговор мы оба были уверены, что, кроме нас, в купе никого нет.

А оказалось, что кто-то там был, на верхней полке.

Мы взглянули наверх.

Добродушный молодой человек с бритым лицом и лысым черепом, через всю территорию которого сиротливо был перекинут слева направо мостик, в виде десятка очень длинных рыжих волос, укоренившихся основанием где-то около уха — свесил голову и в свою очередь лукаво поглядывал на нас.

— Что вы такое там говорите? — спросил Муратов, с оттенком недоброжелательности в голосе.

— То я и говорю: четвертого партнера нет; потому собака к столу и допущена.

— Какой партнер?

— Раньше хорошие попадались партнеры: индейка, гусь с яблоками, жиго барашка или квиссо телячье. А теперь, раз таких партнеров нет — пожалуйста, собачка-алле!..

И видя, что мы молчим, он свесился еще ниже и благожелательно спросил:

— Желаете, объясню вам, — что такое недостающий партнер?

Десять волосков, перепоясавших голый череп, отпали и повисли длинной сиротливой прядью за ухом.

— Ну-с? — ворчливо сказал Муратов.
И лысый молодой человек принялся объяснять.

* * *

— Был я однажды по служебному делу в одном маленьком, гнусном провинциальном городишке, каких на Руси сотни, а может быть, и тысячи — не знаю.

Имя же его — Рославль. Слышали?

Вечером от нечего делать пошел я в клуб. Сотни городишек раскинулись по всему лицу необъятной Руси, как веснушки — и в каждом таком городишке обязательно есть клуб...

Грязное, пыльное помещение, с сонным, небритым стариной и буфетчиком, засиженным мухами.

В клубе было уныло и пусто, кроме карточной комнаты. Там за одним столом сидели четыре человека и играли в винт.

Деваться было некуда. Я прислонился к стене и стал смотреть на игру.

И вот — чем я дольше глядел на этих четырех играющих, тем все шире раскрывались мои глаза... В чем дело — я не понимаю, но поражен был чрезвычайно.

Представьте себе четырех игроков, которые играют, как самые обыкновенные простые люди, ни лучше, ни хуже тысяч других игроков в винт... Но в их игре был один поразительный штрих: сдавал каждый из них по очереди, но тасовали карты всего трое. Полный, бритый господин в синем сюртуке не тасовал. И об этом даже разговору не было. Просто игра шла, как обычно, все тасовали, сдавали, а когда очередь доходила до полного бритого, его сосед молча брал колоду, тасовал ее и передавал полному бритому. Тот спокойно брал ее и приступал к сдаче.

Одно мгновение у меня мелькнула мысль: может, у него рука болит? Может быть, он калека?

Но так как в механизме движений тасовки и сдачи не такая уж большая разница, то и это предположение отпадало.

Удивляло меня также и то, что об этой ненормальности никто и не говорил — будто бы так нужно.

Я постоял еще полчаса — чудеса! Двадцать раз до полного бритого доходила очередь тасовать, и двадцать раз его сосед хладнокровно брал колоду и, разговаривая об урожае прошлого года или о приезжей бродячей трупке — тасовал и передавал полному бритому с легким полупоклоном.

Спросить об этих чудесах незнакомых мне людей было неловко, а между тем, я сгорал от любопытства.

Мимо меня прошмыгнул испитой, прыщеватый лакей со стаканом жидкого чаю и чахоточным лимоном на подносе.

Я его окликнул. Подозвал.

— Послушай... В чем тут дело... Видишь, вот эти четверо играют в винт?

— Вижу, так точно...

— Почему все трое тасуют каждый за себя, а полному бритому тасует сосед.

Лакей тряхнул длинными, грязными волосами, — и спокойно сказал:

— Вы спрашиваете про этого полного господина? Про Александра Семеныча?

— Ну, да, да!

— Они у нас не тасуют.

— Почему?

— Они у нас шулера.

— То есть как?!. Настоящий обыкновенный шулер?

— Так точно. Александр Семеныч у нас шулера.

— А те, другие?!. Остальные трое?

— Помилуйте-с. Податный инспектор, директор училища и доктор.

— Черт знает, что такое? Да почему же они с ним играют?

— С Александром Семенычем?

И объяснил он так просто и хладнокровно, будто бы иначе не могло быть:

— Четвертого партнера нет. Потому и играют.

Вот вам русская матушка-провинция. Великолепная, величественная простота, грандиозное всепрощение, примирение и применение к обстоятельствам.

Нет четвертого партнера — и шулер хорош.

* * *

Мы с Муратовым совсем уж забыли начало нашего разговора и повод, по которому лысый молодой человек рассказал свою удивительную историю.

Но лысый молодой человек не забыл.

Поэтому, помолчав немного, сделал совсем неожиданный для нас вывод:

— Так и немцы. Раз нет четвертого партнера — можно и собаку допустить к столу...

МЕЛЮЗГА

Когда вот так вот, останешься в одиночестве, да спустишь шторы, да усядешься поуютнее в кресло, да придумаешься — то всегда приходишь к одному печальному выводу:

— Как все измельчало!

Раньше люди писали огромные многотомные романы в шести частях с эпилогом. Теперь — кроме миниатюр-рассказов в 6–7 страниц ничего не пишут.

Раньше сочинялись пятиактные пьесы в 9 картинах, с прологом и апофеозом... А что теперь? Миниатюры минут на 10 — так что зритель не успеет вынуть платок из кармана на предмет осушения слез, как уже поздно; уже ему надо смеяться: уже драматическая миниатюра успела заменить комической миниатюрой.

Раньше из Петрограда в Крым ехали 2 месяца. Теперь это делается в 30 раз короче, быстрее.

Все мельчает, все сокращается.

Возьмем даже убийц из союза русского народа. Десять лет тому назад — что это были за убийцы! Все прекрасный, матерый, опытный народ — цветы острога, сливки каторги! Великолепные «Иваны».

И какая теперь мелкота, какая «шпанка» полезла из всех щелей.

Например, прежние годы: убийство Герценштейна, Иолоса... Убийцы были отобраны на диво — хладнокровные, опытные, молчаливые и деловитые.

Их можно было не любить, но уважения они заслуживали. Любая каторга пожертвовала бы десятком мелких детоубийц, поджигателей и фальшивомонетчиков, чтобы только получить для украшения своего — одного такого «Ивана»...

Великолепный народ. Приятный. Такой народ, который мог растрогать до слез не только живого человека, но и бездушный предмет, веревку, например. Даже веревка плакала по таком хорошем народе.

И посмотрите — во что этот народ выродился теперь!

Поручили человеку, скажем, убить Милюкова. Дело есть дело, говорят французы, а мы, русские, добавляем: делу время — потехе час.

И что же! Потехе отдается не час, а все время.

Начинается с того, что убийца, какой-то С. Прохожий — берет за убийство всего 300 рублей.

Я, на месте Милюкова, поймал бы этого «Прохожего» и, прежде всего, надавал ему подзатыльников.

— Ты какого человека продал? Меня? Меня, которого знает и любит вся Россия — да что вся Россия! Весь цивилизованный мир знает и ценит меня!! И этакого-то человека ты продаешь за 300 рублей!! Вот же тебе, каналья! Вот!..

И по человечеству рассуждая — Милюкову обидно. Действительно, в наше время всеобщего ажиотажа и взвинчивания цен, когда дамские ботинки стоят 150 рублей — продать Милюкова за 300 рублей — это наглое издевательство над почтенным уважаемым человеком. Выходит, значит, что ценность его равна двум парам ботинок модной кокетки?..

Где же здравый политический смысл? Где справедливость?!

Если бы убийца был не дурак, если бы он сумел учесть момент — он сделал бы не так: если считать, что Милюков, Маклаков, Шингарев и другие — предметы первой необходимости, он должен был бы припрятать их в надежное место, подождать повышения цен, взвинтить их, как следует, а взвинтив, понемногу выпускать на рынок,

да выбрать для этого такой момент, чтобы Милюков пошел тысяч за тридцать, да и остальные не меньше.

Так бы сделал умный убийца-спекулянт.

Но не так делает футур-убийца С. Прохожий.

Он получает от кого следует 300 рублей и идет... в «Журнал Журналов».

И тут тоже сказалась мелочность убийцы. Почему «Журнал Журналов»? Почему не «Русское Слово», не «Речь», а именно маленький недавно только народившийся журнал?

Мелкий, жалкий это человечешко — С. Прохожий.

Такой человек все равно не способен на убийство, на «мокрый грант», как у них там говорится.

Он и деньги возьмет и револьвер зарядит, но стоит ему только встретиться с Милюковым, как он занюнит, замямлит, заюлит, и, вместо выстрела, Милюков услышит жалобный, унылый голос:

— А что, нет ли у вас, господин, папироски?

— Пожалуйста.

— А, может, этого... как его... И спичка найдется?

— Нате.

— А я, господин, совсем обносился, верьте совести. Может белишко какое найдется али сапоги там покрепче.

Добрый человек Павел Николаевич Милюков. И белье, пожалуй, даст, и в сапожишках не откажет.

И скажет тогда растроганный убийца:

— А я вас, господин Милюков, убить был должен.

— Ага. Ну, хорошо, голубчик... Ступай.

— Верное слово. Уже и триста рублей получил. Вот видите — револьвер есть.

— Хорошо, хорошо, — голубчик, спасибо. Ты иди себе, Бог подаст.

— Я ведь и за Родичева полтора ста снял. Чтобы, значит, его порешить.

— Ну, ну. Ты уж ступай себе, голубчик. Мне некогда. Я, видишь ли, на заседание спешу, а ты меня посторонними разговорами задерживаешь.

— Я, ваше благородие, покаяться хочу.

— Хорошо, хорошо, это после. На будущей неделе, как-нибудь. Ступай, милый. Вот тебе три рубля на папиросы.

Вот тебе и убийца.

Все на свете вырождается.

Может выродиться и политическое убийство:

«Сегодня к нам в редакцию зашел неизвестный человек, отрекомендовавшийся Степкой Барецким, убийцей при союзе.

За поясом у него торчала пара пистолетов, в руке был кистень, в зубах нож.

Степка Барецкий произвел на нас очень выгодное впечатление.

— А что тебе, голубчик?

— Разоблачаться хочу, — прохрипел он.

— Тут неудобно. Вон; видишь, барышня за машинкой сидит. Да и холодно. Да и к чему?

— Так что убийца я. Нанят союзом за 50 рублей. На мокрое дело. Шингарева пришить.

— Да нам-то что до этого? В компанию с тобой мы не пойдем.

— Я знаю. А только пришел заявить, что мне это совершенно, будем сказать, невыгодно.

— Так ты это не нам, а союзу заяви.

— Заявлял. По шее дали. Взялся, говорят, деньги получил, так делай. А какие это деньги — курам на смех. Я решил теперь, господин, по-сухому работать.

— То есть?

— Без красной подливки, как говорится. Я теперь, господин, делаю так: наняли меня за сто круглых под Родичева, так я, выследивши его у переулке, так себе и думаю: за что же я человека за сто целковых уничтожить буду, коли ежели на нем одно пальто четыреста стоит. Да ведь мне выгоднее снять с его пальто и выпустить парня — пуцай обрастает новым. Завел он себе новое пальтецо, опять поймал, опять снял. Вы так рассудите, господин: то бы я с его сотню заработал и капут, а теперь я с его в год тысячи три сниму. Верно?

— Не знаю. Тут, согласитесь сами, советовать трудно. Да вам что нужно, собственно?

— А? Разоблачаться мне желательно. Ежели пару сот за разоблачение заплатите — я разоблачусь.

— Ну, это, знаешь ли, уже свинство. Это уже хамская жадность: с союза гонорар за Шингарева получаешь — раз, с Шингарева пальто снимаешь — два, да еще с нас за разоблачение этого хочешь получить — три!.. Облопаешься.

— Ваше благородие! Напрасно так говорить изволите... А вы-то знаете, что масло сейчас три с полтиной фунт; знаете, что за чайную колбасу по два с полтиной дерут. Да вы-то возьмите во внимание — почему сейчас в трактире бутылка спирту? Полсотни платим! Так где же тут одним союзным гонораром проживешь? Вот и приходится Шингарева под разными соусами работать. Как говорится, и вареного, и жареного, и пареного... Тут тебе и пальты, тут и разоблачения.

— Нет, разоблачений нам не надо. Надоело. Скучно.

— Жалко. А что я вас еще хочу спросить, ваше благородие...

— Ну?

— Чи нет у нас места рассыльного при редакции или так какого сторожа — я бы на ваших харчах недорого взял.

— Да как же так? Ведь ты убийца!

— Ну, какой я там убийца... Курам на смех.

И грязная желтая слеза упала на рукоятку револьвера...»

* * *

Все, все мельчает.

И скоро мы услышим:

— Сейчас в трамвае обнаружил панаму!

— Что вы говорите?!!

— Да! Представьте, кондукторша пыталась сдать мне, вместо пятака — четыре копейки.

УСТРИЦЫ

Новый сановник ласково посмотрел на беседовавшего с ним журналиста и сказал весьма благожелательно:

— Ну-с... Какие вопросы еще вас интересуют? Я всегда рад, как говорится... Гм!.. Удовлетворить...

Журналист замялся.

— Да вот... Хотелось бы узнать ваше мнение насчет печати.

— О, Господи! Да сколько угодно. Печать, это вам скажу прямо — замечательная вещь! Нет, знаете — пусть назовут меня вольнодумцем, но я скажу прямо: «Гутенберг был не дурак!». Печать! Недаром еще поэт сказал: «Печать! Как много в этом слове для сердца русского слилось!..»

— Это он, ваше пр-во, не о печати сказал.

— Не о печати? И напрасно. Должен был о печати сказать. А то они, эти поэты, болтают, болтают всякую ерунду, а о чем — и неизвестно. Зря небо копят. Нет, батенька... За печать я готов кому угодно глотку перервать.

— Значит, ваше отношение к печати — благожелательное?

— И он еще спрашивает! Интересно знать, что бы мы делали без печати?!. Жизнь страны сразу замерла бы, воцарились звериные нравы и по улицам забегали бы волки... Печать рассеивает тьму и вносит свет во все мрачные уголки неприглядной русской действительности. Печать — это воздух. Отнимите у человека воздух — сможет он разве жить? Задохнется! Что с вами молодой человек? Не надо плакать.

— Ваше превосходительство! Не могу не плакать. Расстроган, переполнен, взбудоражен так, что... Э, да чего там говорить. Если бы я был богатый, я купил бы огромную мраморную доску и золотыми буквами начертал бы на доске сей ваши сладкие, целительные слова!..

— Ну, зачем же доску... Зачем тратиться, право. Можно и без доски.

— Нет, — в экстазе вскричал молодой журналист. — Нет! Именно, доску! Именно, мраморную!.. Не нам она нужна, ваше превосходительство — ибо у нас и так врезались в снежный мрамор наших сердец эти незабвенные слова, — а потомкам нашим, отдаленнейшим потомкам!

— Ну-ну... Только не надо волноваться, молодой человек... Не плачьте. Вот вы себе жилетку всю слезами закапали.

— Жилетка?! Десять жилеток закапаю с ног до головы — и не жалко мне будет!.. Да разве я в такой момент о жилетке думаю? Совершится возрождение и просвещение моей дорогой, прекрасной родины — до жилеток ли тут!.. Звони, бей во все колокола, орошайся люд православный

радостными слезами — се грядет новая Россия, ибо его превосходительство благожелательно отнесся к русской печати!.

— У вас, молодой человек, кажется ножка от стула отламывается. ...

— И возгорится ярким све... Что, ножка? Какая ножка? Черт с ней! До ножки ли тут, когда мы вознеслись на блестящую грань, на сверкающий перелом осиянного будущего... Подумать только: его превосходительство ничего не имеет против печати... Более того — признает и освещает ее бытие...

— Да, да, — светло улыбнулся его превосходительство, — я уж такой. Люблю печать, нечего греха таить — есть такая слабость.

— О, ваше пр-во! Вы знаете, я даже боюсь идти к редактору — ведь он меня в объятиях задушит. Облапит и задушит! Экое ведь привалило. Ну, да уж нечего делать, пойду — пусть душит. Вы извините меня ваше пр-во, что я шатаюсь... Ослабел совсем, одурел от радости... Где тут дверь!..

* * *

Редактор поднял усталые глаза и тихо спросил:

— Ну, что?

— Замечательное известие! Неслыханная радость. Знаете, что он мне сказал?

— Ну, ну?!!

— Я, говорит — люблю печать.

— Быть не может?!!

— Чтоб мне детей своих не увидеть!

Поднялись кверху дрожащие руки редактора, и возведенный горе взор его засветился неземной радостью:

— Свершилось! Кончился великий мученический путь многострадальной русской печати, и воссияет отныне она подобно яркой золотой звезде на синем бархатном небе. Кончены бури и вихри, и вот уже вдали виден тихий лазурный залив, омывающий тихо и ласково теплый, пышнолиственный берег... Спустим же изодранные вихрем паруса, отдохнем, почистимся и понежим свои измученные члены

на теплом, мягком песочке... Строк двести выйдет беседа или больше?

— И в триста не уберу.

— И верно! Такое событие — подумать только? Его превосходительство благожелательно относится к печати!..

— Вы знаете, когда я услышал это — у меня, честное слово (не стыжусь в этом признаться), одну минуту было желание поцеловать его руку...

— И поцеловали бы! Разве это иудин поцелуй или продажное какое лобзание? Нет! Святой это был бы поцелуй благодарности за всю огромную счастливую ныне русскую печать!..

Влетел, как вихрь, секретарь редакции.

— Что я слышал? Правда ли это?

— Да. Сущая правда.

— Какое счастье, что от радости не умирают. А то бы я моментально протянул ноги. Слушайте же, знаете, что? Хорошо бы образовать фонд его имени... Как вы думаете, а?

— Это мысль! Распорядитесь, Иван Сергееч.

Долго радостные крики перекидывались из одной редакционной комнаты в другую.

Потом ликование вылилось на улицу.

Собралась огромная толпа читателей газеты.

«Грянуло могучее тысячеголосое медное ура!»

Замелькали флаги...

Тысячи шапок взлетели на воздух...

Подошел городской.

— В чем дело? По какой причине толпа?

— Его превосходительство в пять часов двадцать две минуты вечера заявил, что любит печать и относится к ней благожелательно.

Серая, простая слеза поползла по огрубевшему, загорелому лицу старого служаки и застряла где-то у сивого уса...

Снял шапку старый служака и истово перекрестился:

— Слава-те, Господи.

* * *

— Что это, Иван Сергеевич, что это такое?

— Это? Гранки. Разве не видите? Из цензуры принесли.

— Да позвольте: почему же они красным, этого... Будто этак исчерчены.

— Перечеркнуты, вот и все.

— Но тут же не было ничего ужасного. Ничего нецензурного...

— Да-с. Зачеркнуто.

— Но ведь его превосходительство... А! Понимаю. Он еще не успел дать соответствующих распоряжений. Вот они и усердствуют.

— Наверное, завтра утром распорядится.

— Я и сам так думаю. Рискнем пустить это... красненькое, а?

— Ну, конечно. Завтра недоразумение выяснится, и все хорошо будет.

— Ясно. Пускайте.

Пустили.

* * *

— Позвольте... Что же это такое?

Глаза редактора глубоко запали и очертились темными кругами.

— Как же это так, а?..

— А что?

— Оштрафовали нас нынче и под предварительную цензуру всю газету отдали...

— Да. Странно.

— Гм! А говорил: «Люблю печать».

— Какая-то прямо-таки непонятная любовь.

Возле разговаривающих стоял старый мудрый метранпаж без имени, но с отчеством: Степаныч.

И сказал этот самый Степаныч:

— А я этого ожидал.

— Чего именно?

— Вот этого. Как сказал он: «люблю печать». Ну, думаю, значит — баста, съест.

— Да где же здесь логика?

— Логика простая: бывают же люди, которые любят устриц. «Люблю, говорит, устриц», и тут же съест их два-три десяточка. Всякая любовь бывает...

* * *

А в это время перед сановником сидел другой интервьюер и с лихорадочным любопытством спрашивал:

— Что вы любите больше всего, ваше пр-во?

Его пр-во сладко зажмурился, облизнулся и сказал без колебаний:

— Печать.

ДРАМА В ДОМЕ БУКИНЫХ

Есть много женщин, которым мало, если им просто говорят:

— Я люблю тебя.

По их мнению в этой фразе много пресного, монотонного, бескрасочного и недоговоренного.

Такие женщины любят, чтобы их ошеломляли чем-нибудь сильным, энергичным, вроде:

— Я люблю тебя больше жизни, больше солнца!

Или:

— Если бы мне нужно было пойти за тебя на плаху — я бы с радостью сложил за любимую свою буйную голову!

И совет. Попробуйте ему не только голову — ногу отрубить во имя любимой — такой крик и стон подымет, что палач бросит топор, плюнет и пойдет по своим делам.

Один пакгаузный весовщик на ст. «Раздельная» говорил любимой девушке, нервно теребя зеленый с крапинками изрядно засаленный галстук:

— Прикажи только — для тебя всем буду — министром аль там каким генералом!

— А — правду сказать — если бы начальство сделало его даже помощником начальника станции — бедное сердце не выдержало бы этой радости и — разорвалось.

Слова не обязывают.

А если бы слова обязывали, то влюбленный, вместо сравнения с солнцем, вместо положения головы на пла-

ху, говорил бы мирно, скромно, осторожно, без ненужной пышности:

— Я тебя так люблю, что мог бы даже достать билеты на Шалапина, хотя это очень трудно. Ты для меня так дорога... дороже даже нового пальто со скунсовым воротником и отворотами. Уйди ты от меня — я бы этого не перенес. Заболел бы, и болел дня три, а то и все четыре.

Это все — искренно, это все — правда. К сожалению, женщины этой правды не любят.

Елена Борисовна была женщина неглупая, но ей простая фраза «я люблю тебя» казалась пресной, куцей, монотонной.

Сидя однажды в своей гостиной на коленях у чужого Николая Сергеевича, она целовала его глаза и настойчиво спрашивала:

— А как ты любишь меня, ну, расскажи?

— Я люблю тебя.

— Ну, я знаю, что любишь, а как, ну как, ну как? Больше чего, например, ты меня любишь?

Николай Сергеевич погладил ее ручку и, не задумываясь, отвечал:

— Больше жизни.

— Серьезно? Ну, а если бы тебе предложили миллион рублей или меня — что бы ты взял?

— Ясное дело: тебя.

— А если бы тебя сделали, например, голландским королем, при условии что ты со мной расстанешься — что бы ты выбрал?

— Я? Я сказал бы: подавитесь вы вашим голландским королевством — отдайте мне Леночку!

— Смотрите-ка, какой он! Это очень мило с твоей стороны. Мой муж, наверное, бы мне этого не сказал. Ты лучше.

— А еще бы. Я тебя люблю по-настоящему, а он так себе, с пятого на десятое.

— Послушай... Ну, а если бы вышло так, что одного из вас нужно казнить — тебя или меня, и тебе предложили бы выбор: что бы ты выбрал?

— Неужели, ты не догадываешься? Я сказал бы: вешайте меня, стреляйте в меня, а ее оставьте в покое!..

— Ну, неужели, тебе не было бы жаль жизни? Ты такой молодой, перед тобой хорошее будущее, все тебя любят, в лесу зелень, пахнет сосновыми шишками, в саду сирень, в бокалах золотистое вино — и всего этого ты должен был бы по моей милости лишиться. И навсегда! Понимаешь ты это словечко: навсегда!.. Неужели не жалко?

— Для тебя?! Я только жалею, что все это — область простых разговоров; а случись это в действительности — ты бы увидала, что высказанное — я говорил искренно.

Елена Борисовна опустила голову на его плечо и притихла, призадумалась...

— Да, жаль, — прошептала она. — Жаль, что в действительной жизни не бывает таких случаев, чтобы любимый выбирал между двумя жизнями — своей и ее жизнью.

И вдруг оба подавленно вскрикнули, вскочили и отшатнулись друг от друга в ужасе; вдруг у дверей, ведущих в кабинет мужа, зашевелилась портьера, и зловещий, как сама судьба, голос мужа Елены Борисовны прозвучал сухо и значительно:

— А, по-моему, ты ошибаешься! Такие случаи бывают и в жизни. Вот и сейчас твоему любовнику придется делать выбор: кому сейчас надо будет умереть: тебе или ему...

Глаза мужа, несмотря на его спокойный тон, метали молнии. В голосе чувствовался отдаленный, но приближающийся гром.

А рука крепко и уверенно сжимала револьвер — как будто из железа выкованная рука.

— Марк!! — вскричала жена, падая на колени и простирая к мужу руку.

— Прочь! — рявкнул муж. — Довольно! Ни слезы, ни оправдания тебе не помогут! Все слишком ясно! Ты можешь оставаться пассивной — выбор сделает он! Ну-с, милостивый государь... во имя справедливости, во имя защиты моего семейного очага — один из вас должен умереть... Выбирайте вы. Укажите же: кто? Кого должна поразить моя пуля?..

Николай Сергеевич колебался не более двух-трех секунд...

Подняв голову и, глядя на мужа уверенным, блистающим взором, сказал твердо и раздельно:

— Меня! Она ни при чем. Это я вскружил ей голову и увлек. Я готов. Стреляйте!

Он светло улыбнулся и, не медля, повернулся грудью по направлению неподвижно застывшего дула револьвера.

В диком нечеловеческом ужасе схватилась жена за голову и с подавленным стоном выбежала из комнаты.

.....

— Что ж вы... Стреляйте. Я от своих слов не отступлю.

— Вы мужественный человек, — угрюмо покачал головой муж, — но я вас, все-таки, убью. Кстати: у вас, может быть, будет какое-нибудь последнее предсмертное желание или просьба?

Николай Сергеевич пожал плечами, но потом, вздрогнул и с болезненной улыбкой сказал:

— Моя мать... Моя бедная матушка... Я оставлю ее без всяких средств. Все мои деньги в бумагах... Послушайте! Если в вас есть еще человечность — сделайте то, о чем я вас попрошу... Тогда я умру, не проклиная, а благословляя ваше имя.

— Говорите, — сказал муж, — глядя на соперника жестким железным взглядом. — Вы скажете мне, что я должен сделать и потом — умрете. Ну?

— Благодарю, — прошептал приговоренный. — Вы знаете банкирскую контору Шлиппенбах и Ко?..

— О, да. Знаю очень хорошо.

— Там у них лежат мои акции, в которые я вложил все свои деньги. Пятьсот штук Спиридоновского угольного товарищества. Пусть Шлиппенбах их продаст и...

Горько засмеялся муж.

— Я вижу, вы в любви больше понимаете, чем в делах... Не очень-то хорошо будет обеспечена ваша матушка. Ведь эти акции ничего не стоят!

— Я думаю, что вы ошибаетесь... Позавчера еще они стоили по 115.

— Позавчера, — иронически покачал головой муж. — Позавчера. А вы вчерашнего бюллетеня не читали?! Да знаете ли вы, что вчера сделалось известным, что подъездной путь

мимо Спиридоновки министерством не разрешен, и акции сразу шлепнулись рублей на 50.

— Это вздор! — вскричал Николай Сергеевич. — А я вам скажу, что подъездной путь будет и тогда они сделают дополнительный выпуск акций...

— Так поздравляю вас! — замахал на него руками муж. — Дополнительный выпуск именно не будет сделан!

— Да? Вы так думаете? А что, по-вашему, значит эта статейка в «Финансовой газете»?

— Какая статейка? Где?

— А вот у меня. Тут. Вот, можете ее пробежать.

Муж схватил вынутую Николаем Сергеевичем из кармана газету и лихорадочно ее развернул.

— Гм... Да! Вы думаете, что это по поводу Спиридоновского подъездного? Во всяком случае, это очень симптоматично. Чего ж вы стоите — будьте добры, присядьте. Но ведь если это так... виноват, как ваше имя, отчество?

— Николай Сергеич.

— Очень приятно. Марк Ильич Букин. Вы знаете: действительно статья наводит на размышления. Кем она подписана?

— Какой-то «Финансикум».

— Да позвольте! Я его знаю. Что если поехать к нему и попытаться узнать: действительно ли у него есть данные, что министерство иначе взглянуло на этот вопрос.

— Что ж, это идея. Вы его адрес знаете, Марк Ильич?

— Конечно. Мы его, вероятно, еще застанем дома.

— У меня и лошадь стоит за углом.

— Расчудесно.

Марк Ильич вынул портсигар и протянул его Николаю Сергеевичу.

— Легкие любите? Я не переносу крепких.

— Я тоже курю легкие. Мерси. Ничего, у меня есть зажигалка. А, проклятая!.. Опять не горит.

— Натя мою.

— Благодарствуйте. Скажите, а мы там не долго задержимся? А то я и пообедать не успею.

— Так, может быть, у меня пообедаем? Я оставлю жене записку. Съездим, вернемся и пообедаем. Как вы на это смотрите, Николай Сергеич?

— А что ж... неплохо.

Марк Ильич уселся за стол и стал быстро писать жене записку.

— Вы понимаете, — сказал он, прижимая записку массивным пресс-папье. — Если они упали сейчас до 60, то ведь их можно завтра скупить за гроши. И если послезавтра выяснится, что подъездной путь будет, так мы с вами снимем столько, что...

— Вот вы еще больше копайтесь, так мы и к этому субъекту опоздаем, — нетерпеливо перебил Николай Сергеевич.

— Сейчас, сейчас. Вот я положу тут жене записку, на видном месте — и летим! Где ваша шляпа?!

* * *

Бледное, искаженное мукой и тяжелой душевной болью, заглянуло в комнату лицо Елены Борисовны.

Прижимая рукой неистово бьющееся сердце, она ступила дрожащей ногой в комнату и сейчас же с легким криком отпрянула назад: комната была пуста.

— Уехали! — простонала она. — Я так и знала!.. Американская дуэль! Или... А! Записка! Боже... подкрепи меня...

Одной рукой она схватилась за голову, другую нерешительно протянула к записке, будто бы и хотела и боялась взять ядовитую, скользкую гадюку.

Прочла...

И хриплый стон вырвался из ее наболевшей груди:

— Ну вот! Так я и знала! Пригласил человека обедать, в то время, когда у нас, кроме супу и картофельных котлет, ничего нет! И о чем он только думает — не понимаю!!!!

ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ **(Век фальсификаций)**

— Вот, господа, могу похвастаться: сейчас купил книгу. Но важна не книга — важен переплет: старинный кожаный переплет!

— Вы думаете, старинный? Дитя вы! Переплет новый и только запачкан и затерт нарочно для того, чтобы казался старинным.

— Однако, это кожа...

— Кожа? Которая кожа? Вот эта? Да разве это кожа? Имитация кожи.

— Но позвольте! Имитация... Из чего же она может быть сделана??

— Ясно: из коленкора.

— А по-моему, и вы ошибаетесь. Станут теперь делать из коленкора кожу, когда коленкор по полтора рубля аршин. По-моему, это — простая бумага, сделанная под коленкор, имитирующая кожу.

— Это, по-вашему, бумага? Нет, не бумага это. Станут теперь делать бумажные переплеты, когда бумага по сто рублей стопа продается.

— Ну, если это не бумага, то — что же это?

— Это? Имитация бумаги.

— Хорошо-с! Но из чего она сделана?

— Ясно: из древесной массы.

— Ну, вот и сели в лужу. Кто же теперь будет делать переплеты из древесной массы, когда к лесным материалам приступу нет.

— Так-с. Однако, — из чего же, все-таки, сделан переплет?

— Из имитации древесной массы.

— А чем можно имитировать древесную массу?

— Я не знаю. Но думаю чем-нибудь таким, что еще дешевле древесной массы.

— А что дешевле древесной массы?

— Черт его знает. Все дорого. Теперь, если что и дешево — так это кожаные кошельки, в которых раньше носили серебро и медь. Теперь этих кожаных кошельков никто не покупает — вот они дешевле всего.

— Значит, по-вашему, древесную массу можно имитировать кожаными кошельками?

— Ну, а если бы!

— Так, значит, переплет оказывается кожаный?

— Выходит, что так.

— Так из-за чего же мы спорим?

— А из-за того я спорю, что кожа сейчас очень дорога. Никто не делает переплетов из кожи.
— А из чего делают?
— А я думаю — из коленкора под кожу.
— Из коленкора? Да вы знаете почему сейчас коленкор?
И т.д.

* * *

Тяжело жить в наше время.

МИШЕЛЬ ПРЫГУНОВ

I

К Мишелю Прыгунову явились два его знакомых — Чижевич и Гвоздь — и сказали:

— Мишель, знаешь? Наш союз, посылающий на днях подарки солдатам на фронт, предлагает тебе поехать помощником сопровождающего эти подарки.

Мишель вышел на середину комнаты, поднял кверху глаза и руки и сказал тихо, благоговейно.

— Свершилось! Ныне отпускаеши раба твоего... Наконец-то и я приобщился к этой великой мировой трагедии... Я буду там! Буду на фронте! Буду незаметным серым героем!..

Он опустил руки, глаза, вернулся к сидевшим у стола приятелям и сказал с наружным спокойствием, сквозь стиснутые зубы:

— Где продаются противогазы?

— Голубчик! Зачем тебе?

— Затем, что я враг бесполезного героизма. Я, конечно, не прочь продать жизнь — но только дорого продать! В честном, открытом бою, а не среди газовой волны, беспомощным, бессильным.

— Тю на тебя! — воскликнул Гвоздь. — Где имение, где Днепр! Где будет газовая атака, а где ты!

— Ты думаешь? Ну, в таком случае, я сейчас запасусь индивидуальным пакетом.

— Че-ем?

— Пакетом. Индивидуальным.

— Голубчик! — завопил Чижевич. — Какой тебе там еще индивидуальный пакет нужен?!. Получишь ты удостоверение, получишь ты пропуск от воинского начальства — какой еще тебе пакет?

Мишель Прыгунов снисходительно улыбнулся.

— Эх вы, штафирки! Да знаете ли вы, что такое индивидуальный пакет? Это пакет, в котором все, что нужно для первой перевязки раны: марля, бинт и прочее.

— Да неужели тебе там не дадут этого на месте? Слава Богу, среди опытных людей будешь. И уберегут, а не дай Бог чего — и перевяжут.

— Вы думаете? — с сомнением спросил Мишель Прыгунов. — Ну, ладно. Будем посмотреть.

Улыбнулся загадочно.

II

Мишель Прыгунов подскочил на автомобиле, схватил руку офицера, сопровождавшего его, и уполномоченного, и спросил, лихорадочно сверкая глазами:

— Окопы? — Вот! Налево.

— Да, окопы, — рассеянно отвечал офицер.

— Наши или неприятельские?

— Ну, конечно, наши. Тыловые.

— Послушайте: а вдруг они, за то время, когда вас тут не было, — уже взяты, а? Не лучше ли сделать разведку?

— Что вы, батенька! Они верст за сто от фронта. До них, как говорится, неприятелю три года скакать — не доскачешь.

— Все-таки, лучше я взгляну на них, — закусив губу, сказал Мишель Прыгунов и слез с автомобиля. — Свой глаз, как говорится, алмаз.

Он подошел к насыпи, окаймлявшей окоп, взобрался на нее и спрыгнул вниз.

— Ну, вот, — благоговейно прошептал он. — Свершилось. Побывал и я в окопах. Прикоснулся. Холодно в окопах!

Когда автомобиль тронулся, сверху послышалось характерное гудение пропеллера.

— Ага! — пролепетал Мишель, закидывая голову кверху. — Кажется, завязывается славненькое дельце. Если не ошибаюсь — германский таубе?

— Наш, — вежливо отвечал офицер. — Фарман.

— Да, но ведь мог же сюда залететь и неприятельский аэроплан?

— Конечно, мог. Сто верст покрыть он может.

— Вот видите. И бомбы мог сверху бросать?

— Мог.

Мишель закусил нижнюю дрожащую губу и сказал самому себе:

— Свершилось. Наконец-то, и я побывал под аэропланными бомбами.

Другой кто-то изнутри возразил:

— Каким же это образом «побывал», если и аэроплан наш, и бомб он не бросает?

Но Мишель не сдался внутри себя:

— Не бросает, но мог бы бросать. Наш, но мог быть и немецкий. Значит, по теории вероятности...

III

Полковник спросил:

— Как, господа, хотите: отправиться с подарками к солдатам в самые окопы или раздать им здесь, когда солдаты сменятся?

— Да, ведь окопы всюду одинаковые? — осторожно спросил Мишель Прыгунов.

— Да. Делаются они почти всегда одинаково.

— Ну, так я уже был в окопах. Значит, неинтересно. Если хотите, Петр Иваныч, отправляйтесь одни. А мне хотелось бы обозреть общий стратегический план местности.

Тут же он быстро схватил руку сопровождавшего их офицера и, сжав ее тихо сказал:

— О!

— Что с вами?

— Слышали? Выстрелило.

— Да: мортирное.

— Знаете, — улыбнулся Мишель, — хотя первое чувство довольно неприятное, но я убедился, что могу владеть собой. Вы заметили? Я даже не поклонился.

— Кому?!

— Снаряду. Это ведь есть такое военное выражение: кланяться снаряду. Когда пригибают голову.

— Это не к снаряду относится, а к пуле. И потом выстрел ведь был наш. Версты за три.

— Разве наш? Но мог ведь быть и оттуда.

— Конечно, мог. Здесь ведь близко.

— И мог пролететь над моей головой?!

— Отчего же.

— Свершилось, — благоговейно подумал Мишель. — «Неприятельские снаряды пролетали над моей головой».

— Да ведь этого не было, — шевельнулся в мозгу какой-то навязчивый наглый «другой»...

— Осел! — внутренне закричал Мишель. — Не было? Но могло же быть!

Б-бах-ах-ах!

— Понимаю, — усмехнулся одним краем бледных губ Мишель Прыгунов. — Артиллерийская подготовка атаки. Расчищают путь для пехоты.

— Ну, где там, — снисходительно сказал офицер. — Это просто ежедневная порция. Надо же им показать, что не спят.

— А далеко ихний снаряд упал?

— Тысячи за три шагов. Шрапнель.

— А, я думаю, за две, — сказал Мишель неуверенно.

— Ну, за две, — вежливо согласился офицер.

— Петр Иваныч! — закричал Прыгунов, подбегая к уполномоченному. — Видели? За полторы тысячи шагов снаряд упал?

— Так-с. Значит, вы уже пороху понюхали?

— Пока еще нет. За тысячу шагов никакого запаха. Вы готовы? Едем. А то, если оттуда устроят огненную завесу — не вырваться... Засядем здесь, а у меня в Петрограде дела. Садитесь! Шофер, можно ехать.

Автомобиль рванулся. Мишель, сдвинув брови, вынул револьвер и выстрелил по направлению к немцам. Втянул носом воздух и блаженно улыбнулся.

- Что вы?
- Понюхал пороху.

IV

В Двинске на вокзале Мишель наклонился к сидящему рядом с ним за столом поручику и сказал с деланным равнодушием:

- А около меня снаряд упал. Шагов за пятьсот.
- Ну? — спросил поручик.
- Упал. Снаряд. Шагов так пятьсот или четыреста от меня.
- Да ведь ранить он вас на таком расстоянии не мог?
- Не мог.

Оба с недоумением поглядели друг на друга и отвернулись.

— Нет, этих военных ничем не прошибешь, — огорченно подумал Мишель. — Ему, вишь, надо, чтобы меня ранило.

В купе вагона Мишелю пришлось сидеть с двумя дамами и угрюмым стариком.

— Еду я с фронта, — сказал Мишель, отнеся это сообщение к пожилой, приветливого вида даме. — Верьте, сударыня: ад! над головой летают самолеты, падают бомбы, в окопах холодно. Верите ли, один снаряд разорвался от меня так шагов за пятьдесят!!

— Шрапнель? — спросила пожилая дама.

— Так точно.

— У меня сына тоже... убило шрапнелью в прошлом году.

— Нет, ее пятидесятью шагами не удивишь, — вздохнул Мишель и вышел в коридор. Стал у горячей печки и погружился в невеселые думы.

— Пятьдесят шагов им мало! А если бы десять? А если бы два? А если бы меня зацепило шрапнелью? По теории вероятности. Тело, конечно, не стоит, чтобы тронуло, а пальто — могло же зацепить...

Задумчивый взгляд Мишеля упал на угольные щипцы, лежащие у отверстия горячей печки. Мишель рассеянно

сунул их в жерло печки, подержал минут пять и потом, улыбаясь самому себе, снисходительно, как ребенку, провел щипцами по пальто сбоку.

Неприятный человечешко шевельнулся где-то внутри и хихикнул:

— Подделываете? Обман? Фальшивая монета?

— Отстань, — угрюмо сказал Мишель. — Могли же на самом деле стрелять в мою сторону и зацепить меня. А это, братец ты мой, ни более, ни менее, как контузия...

V

В Пскове многие вышли из вагона, сели свежие.

Бородатый купец, сидевший напротив Мишеля, внимательно поглядел на его пальто и осторожно спросил:

— Никак сожгли где-то?

— Нет, это так, — скромно усмехнулся Мишель. — След контузии.

— Кон-тузии?

— Да. На позициях зацепило. Шрапнелью. Пустяки: царапина.

— Еще бы, царапина! — сочувственно подхватил купец. — Не дай Бог такую царапину никому. Значит, в бою были?

— Да, немножко. Пришлось пороху понюхать.

— Страшно, поди?

— Еще бы. Эта штука (он указал на пальто) в семи шагах от меня разорвалась. Даже, вернее, в шести.

— Господи Ты, Боже мой! Грешим мы тут, а хорошие люди за нас жизнью рискуют... Расскажите, если не скучно.

Мишель глубоко вздохнул и, будто sprыснутый живой водой, тихо начал:

— Стояли мы под Козювкой недалеко от Красностава. В Алашкертском направлении... Ну, сначала, конечно, изредка перестреливались, — дневная порция... Надо же и им показать, что не спят, а бодрствуют. Ну-с... Только доносят мне однажды, что густые колонны немцев пока-

зались около Нароча, при впадении Шлока в Кимполунг. Я со своей сотней...

Поезд, пыхтя и отплевываясь, медленно подходил к Петрограду.

VI

Был теплый душистый май 1958 года.

На террасе нарядной дачи, окруженный целой стаей белокурых и черноволосых детей, сидел, закутанный пледом, старик.

Трудно было в этой дряхлой, испещренной морщинами развалине узнать прежнего бодрого, молодого мужественного Мишеля Прыгунова.

Однако, это был он. Годы никого не щадят, и у самого Наполеона волосы и зубы со временем могут выпадать так же, как у любой водовозной клячи.

Кудрявый внук прижался к плечу старого деда и, сверкая любопытными глазенками, спросил его:

— Дедушка, ты помнишь Всемирную войну?

— Все забуду, — тихо усмехнулся дед, — а этой войны не забуду.

— Дедушка, а что ты тогда делал?

Мишель Прыгунов поднял выцветшие глаза кверху и сказал:

— Помню тоже плакаты такие были. Английские. Нарисован был так же вот, как и я, старый человек, окруженный детьми, и внизу подпись: «Дедушка, а что ты сделал для войны?»... Так вот, на этот вопрос я могу вам ответить по чистой совести: много сделал.

— А что же именно, дедушка?

— Да долго рассказывать. Возьмите просто историю войны, прочтите вот и все.

— Ты, разве, там тоже напечатан?

— А как же? Прочтите операции генерала Брусилова, вот это и буду я.

— Дедушка, да, ведь, он Брусилов, а твоя фамилия Прыгунов.

— Да, — кротко улыбнулся дедушка, — ничего не поделаешь... Приходилось под псевдонимом воевать.

— Да почему же, почему?

— А потому что немцы, при одном появлении на фронте Прыгунова, — бросались бежать без оглядки, бросая оружие. Пришлось назваться Брусиловым.

— А зачем? Пусть бы они бежали без боя. Это же лучше!

— Много вы понимаете, — снисходительно усмехнулся дедушка. — А какая же тогда была бы война, если воевать не с кем?

И долго, и молча глядели притихшие дети на морщинистые руки того, который когда-то одним мановением этих рук бросал в огонь сотни тысяч мужественных людей...



**ПОЗОЛОЧЕННЫЕ
ПИЛЮЛИ
(1916)**

ПОЗОЛОЧЕННЫЕ ПИЛЮЛИ



ЗАПУТАННАЯ И ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ

I

Торговец обувью Подлюкин надел потертое, порыжевшее на швах пальто без воротника и пешком пошел в лавку бакалейного купца Хамова.

Придя, поздоровался с хозяином и сказал:

— Дай, братец, ветчины два фунтика.

— Изволь, братец. С тебя два рублика.

— Вот тебе на! Да ведь еще позавчера она стоила по восьми гривен.

— То было позавчера, а то сегодня, — ухмыльнулся Хамов.

— Хорошо же, — угрюмо проворчал Подлюкин. — Помнишь ты меня!

И ушел, шепча какие-то цифры.

II

Купец Хамов надел пальто с воротником из собачьего меха и на трамвае поехал к обувщику Подлюкину.

— Драсте, — сказал, входя. — Да-кось мне, голубь, какого-нибудь этакого штиблета.

— Изволь, изволь, — засуетился Подлюкин. — Вот парочка. Шестнадцать с вас.

— Как шестнадцать?! Да ведь еще о прошлой неделе я для дяди покупал по тринадцать.

— Ну, чего там на прошлой неделе! На прошлой неделе и ветчина у тебя стоила по восьми гривен.

— Так ты вот как?! — зашипел Хамов. — Обожди, придешь ко мне — я тебе удружу!

III

Купец Подлюкин надел новенькое пальто с барашковым воротником, сел на извозчика и поехал к бакалейщику Хамову.

— Да-кошь пять фунтов ветчины.

— Звольте. Десять рублей в кассу.

— Ах, уже по два рубля? Ладно, ладно... Расчудесно. Я знаю, что мне делать!!

IV

Купец Хамов, отправляясь к торговцу обувью Подлюкину, набросил на плечи бобровую шубу, нахлобучил соболью шапку и, выйдя на крыльцо, крикнул:

— Никифор, давай!

Мордастый кучер шевельнул вожжами, и лошадь полетела.

— К Подлюкину!

Подлюкин встретил Хамова гордо.

— Ботиночки требуются? Тэк-с. Тридцать восемь за пару. Бери скорей, а то и этих не будет.

— Ах, ты мне так-то, — вскипел Хамов. — Ботинки я, конечно, возьму. Но уж и вашему брату у меня в лавке не поздоровится. Удружу!

V

Подлюкин надел шубу, подбитую чернобурой лисицей, и, взяв палку с массивным золотым набалдашником, вышел на крыльцо:

— Михаил! Подавай.

Автомобиль зашипел, дрогнул и плавно покатился по мостовой.

Ехал Подлюкин к Хамову.

У Хамова с Подлюкиным разговор был такой:

— Я, брат, человек справедливый: ты мне на ветчину — я тебе на ботинки, ты мне на колбасу — я тебе на калоши!

— Нас не переплюнешь, — самодовольно ухмыльнулся Подлюкин. — Вот ты с меня содрал за ботинки по 62,

а я тебе колбасу по 3.80. Ты с меня за калоши возьмешь 16, а я тебе копченую грудинку по 18.50.

Злобно поглядели друг на друга и разошлись.

VI

Читатель! Я думаю, что ни тебе, ни мне не интересна борьба двух мелких оскорбленных самолюбий Хамова и Подлюкина, если бы...

В данном случае «если бы» заключается в мелком чиновнике Пуплии Овечкине, который — Бог его знает как запутался между двумя самолюбиями Хамова и Подлюкина.

Получил он 20-го числа жалованье, надел теплое барашковое пальто и отправился на извозчике к обувщику Подлюкину.

— Ботики мне.

— Есть. 22 рубля.

— Виноват... Но ведь они раньше стоили 13.

— Мало ли. Вон и ветчина раньше стоила по восьми гривен, а теперь по рублю сорок платим.

Через неделю Пуплию Овечкину понадобилась ветчина.

Надел он весеннее пальто и, ежась от холода, отправился на трамвае к Хамову.

— Ветчинки бы.

— Пожалте! Два десять за фунтик.

— Что вы! А раньше рубль она стоила.

— Эх, раньше! Да раньше, господин, ботики стоили 13 рублей, а теперь 24.

— Это верно, — вздохнул Пуплий Овечкин. — Извините, что усомнился...

Через неделю надел Пуплий летнее пальто и, перепрыгивая с ноги на ногу от холода, отправился пешком к Подлюкину:

— Ботинки надо.

— Пятьдесят.

— Ох!!..

— Мотья! Убери этого, который в обмороке. Отнеси в заднюю комнату, где приводят в чувство. Ботиночки-то он все-таки за пятьдесят возьмет! Шалишь, брат.

...Метель разыгралась вовсю, когда Пуплий Овечкин в одном вицмундире, без пальто, дую в кулак, бежал к лавке Хамова.

— Колбаски мне... восьмушку фунта.

— Сто...

— Чего сто? За что сто?

— Вообще, сто. Нам все равно. А если за штиблеты дерут пятьдесят, то мы тоже, знаете, извините... Разоряться не намерены.

И, запахнувшись в шубу, усыпанную крупными изумрудами, Хамов строго поглядел на Пуплия Овечкина.

— Можно мне умереть? — робко спросил Пуплий.

— Пожалуйста. Только имейте в виду, что теперича гроб кусается... и лошадь, которая с попоной, кусается.

Однако Пуплию уже было все равно.

Он покачнулся, икнул и помер.

— Савелька! — крикнул Хамов. — Убери эту жертву всеобщей дороговизны!

И, надев шапку, украшенную крупным солитером, окруженным рубинами, пошел гулять.

Сзади на случай надобности шагом следовал автомобиль и пара серых в яблоках, грушах и ананасах...

VII

По-вашему, это — басня? По-моему, не басня.

А если и басня, то читатель нашей книжки такой умный, что выведет себе мораль и без автора.

VIII

Говорят, что все дорожает, потому что спрос превышает предложение...

Дорожают и такие товары, как веревка и мыло, а спрос на них, однако же, небольшой. И жаль.

Надо бы, чтоб спрос на них был большой. Следует.

БЕЗ ЕЛОЧКИ

Подобно тому как в мирное время большинство штатских граждан делаются на две недели солдатами, отправляясь на так называемый «учебный сбор» — так и в редакциях

газет перед Рождеством и Пасхой мобилизуются все наличные силы для писания праздничных рассказов...

Передовик пишет пасхальный рассказ, злобист, обозреватель провинциальной жизни пишет — и даже беговой рецензент пытается застенчиво и робко сунуть в грозную редакторскую руку неуверенный рассказ из жокейской жизни.

Таков бытовой уклад. Не от нас это повелось, не нами и кончится...

Специалист по вопросам кооперации Кривобоков сидел у себя дома в столовой, заменявшей ему кабинет, и писал для газеты статью: «Вопросы кооперации в Соединенных Штатах».

Вошла жена и озабоченно сказала:

— Проваливай отсюда, сейчас будем окна мыть, пыль сметать.

— А может быть, не стоит, — пролепетал кроткий Кривобоков, только что настроивший себя самым кооперативным образом.

— Вот еще новости! Праздники на носу, а мы будем в грязи сидеть.. В этакий-то праздник!

— Неужели уже праздники?

— А ты что же думал?!..

Как раз в этот момент с колокольни ближнего собора ударил густой колокол, а из кухни потянуло запахом чего-то дьявольски скоромного — не то запекаемого окорока, не то индейки.

— Гм!.. — подумал Кривобоков. — А ведь, пожалуй, и действительно праздники. Надо будет рассказец праздничный нажарить...

Он побрел с чернильницей и бумагой в спальню и уселся за туалетный столик.

Четырехлетняя Нюся взобралась к нему на колени, любовно поцеловала его в нос и спросила:

— Папочка, праздники скоро?

— Да, детка.

— А мне елочка будет?

Кривобоков поглядел на дочку своими туго соображающими кооперативными глазами и медленно переспросил:

— Е-лоч-ку? А почему бы я тебе ее и не устроил? Конечно, будет и елочка. Только ты, Нюся, не мешай мне.

Я сейчас напишу рассказец, а потом тебе и елочка будет.

Нюся ушла, а Кривобоков опустил голову на грудь и глубоко задумался.

— Елочка... Чем же и побаловать ребенка, как не елочкой. О, Боже, Боже, как несчастны те детки, родители которых не могут сделать им елочки... Напишу-ка я рассказ о бедных детках, у которых не было елочки.

Кривобоков обмакнул перо в чернильницу и принялся писать.

Но так как он был добрый человек, то и рассказ у него выходил хороший, добрый.

Дело было вот в чем: папа бросил маму и ушел к другой, нехорошей женщине... Мама и детки стали жить в домике, на окраине города, где уже начинался лес. И вот наступила Рождественская ночь, а елки у деток (мама ихняя была бедная) — не было, если не считать одной большой елки, которая стояла на опушке леса, перед самыми окнами обездоленных деток. И что же! В Рождественскую ночь папе вдруг делается жаль своих деток, он покупает им игрушек, елочных украшений, но так как раскаявшийся грешник боится войти в дом, то он и украшает купленными игрушками елку, стоящую совсем на улице перед окнами детей. И дети, проснувшись, видят елку, и мама видит, и папу все видят около елки — и все плачут, кто как: дети и мама радостно, папа смущенно, и даже елка плачет, потому что уж, действительно, трудно сдержаться.

Хороший вышел рассказ.

Идя в редакцию, Кривобоков распахнул шубу и, отдуваясь, думал так:

— С этой кооперацией возишься и совсем не замечаешь, что климат у нас в России меняется с каждым годом. Теплынь такая, что хоть в летнем пальто ходи. Бывало, раньше на Рождество эва какие морозы завинчивали... Положим, в ледниковый период и летом все было завалено льдами, а теперь... Гм... да! Очень оригинальная штука — природа.

— Рассказ принесли? — встретил его редактор. — Давайте. Взял рассказ, прочел. Задумался.

— Скажите, вы сколько времени шли из дому?

— Минут двадцать. А что?

— А я думал — четыре месяца.

— А что? — обеспокоился Кривобоков. — Устарелый рассказ?

— Черт его знает, как его рассматривать: если он написан для прошлого Рождества — он устарел. Для будущего — он очень молод. Вопросы кооперации — вещь, конечно, хорошая и нужная, но уж очень эта вещь мозги засаривает. Знаете ли вы, что теперь не Рождество, а Пасха?

Кривобоков оторопел.

— Серьезно?!.. Что же это я, действительно... Пойдите! А как же дочка моя елку у меня просила?..

— А ей сколько лет?

— Четыре.

— А вам чуть не сто! Стыдитесь. Забирайте ваш рассказ.

— Может быть, вы как-нибудь... тово... ошибаетесь? — робко прошептал Кривобоков. — Я хорошо помню, что нынче у нас сметали пыль, запекали окорок... Опять же колокол звонил...

— Это ничего не доказывает, — сухо возразил редактор. — Эти явления повторяются и на Пасху, и на Рождество.

— Так знаете что? Пусть и рассказ мой будет пасхальным, а?

— Тоже вы скажете. Там одного снегу сколько...

— Снег уберем.

— Детишки у вас резвятся вокруг елки в полушубках...

— Детишек разденем.

— А елка? Куда ж вы елку сунете?!

— Елка?.. Елку? А мы вместо нее устроим пасхальный стол. Папа ихний вместо елки, вместо игрушек покупает кулич, окорок, крашеные яйца и украшает пасхальный стол.

— Но ведь у нас вся суть в том, что папа этот анафемский делает свой сюрприз потихоньку на улице!!..

Кривобоков защищал свое детище с мужеством отчаяния:

— Ничего не значит! Мама выставила стол на улицу, потому что в квартире было тесно, а папа потихоньку подкрался с окороком и куличом, положил на стол... и... тово...

Кривобоков споткнулся, весь обмяк и сконфуженно умолк.

— Нет, — с достоинством сказал редактор. — Еще елка могла стоять на улице, в лесу, но чтобы стол стоял на улице, в лесу... Нам таких рассказов не надо. Напишите лучше

к четверговому номеру «Вопросы кооперации на Скандинавском полуострове».

* * *

О, Боже, Боже!.. Как несчастны те детки, которые лишены лучшей радости ребенка — зеленой, кудрявой елочки!

Не одно читательское сердце сожмется, узнав, что у малютки Нюси так и не было в эту Пасху зеленой, кудрявой елочки...

Бедные городские дети!

ЛЮДИ, БЛИЗКИЕ К НАСЕЛЕНИЮ

Его превосходительство откинулось на спинку удобного кресла и сказало разнеженным голосом:

— Ах, вы знаете, какая прелесть это искусство!.. Вот я на днях был в Эрмитаже, такие там есть картинки, что пальчики оближешь: Рубенсы разные, Теннисры, голландцы и прочее в этом роде.

Секретарь подумал и сказал:

— Да, живопись — приятное времяпрепровождение.

— Что живопись? А музыка! Слушаешь какую-нибудь ораторию, и кажется тебе, что в небесах плаваешь... Возьмите Гуно, например, Берлиоза, Верди, да мало ли...

— Гуно — хороший композитор, — подтвердил секретарь. — Вообще, музыка — увлекательное занятие.

— А поэзия! Стихи возьмите. Что может быть возвышеннее?

— Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

И я понял в одно мгновенье...

Ну, дальше я не помню. Но, в общем, хорошо!

— Да-с. Стихи чрезвычайно приятные и освежительны для ума.

— А науки!.. — совсем разнежась, прошептало его превосходительство. — Климатология, техника, гидрография... Я прямо удивляюсь, отчего у нас так мало открытий в области науки, а также почти не слышно о художниках, музыкантах и поэтах?

— Они есть, ваше превосходительство, но гибнут в неизвестности.

— Надо их открывать и... как это говорится, вытаскивать за уши на свет божий.

— Некому поручить, ваше превосходительство!

— Как некому? Надо поручить тем, кто стоит ближе всех к населению. Кто у нас стоит ближе всех к населению?

— Полиция, ваше превосходительство!

— И прекрасно! Это как раз по нашему департаменту. Пусть ищут, пусть шарят! Мы поставим искусство так высоко, что у него голова закружится.

— О-о, какая чудесная мысль! Ваше превосходительство, вы будете вторым Фуке!

— Почему вторым? Я могу быть и первым!

— Первый уже был. При Людовике XIV. При нем и благодаря ему расцветали Лафонтен, Мольер и другие.

— А-а, приятно, приятно! Так вы распорядитесь циркулярчиком.

* * *

Губернатор пожевал губами, впал в глубокую задумчивость и затем еще раз перечитал полученную бумагу:

«2 февраля 1916 г.

Второе делопроизводство департамента.

Принимая во внимание близость полиции к населению, особенно в сельских местностях, позволяющую ей точно знать все там происходящее и заслуживающее быть отмеченным, прошу ваше превосходительство поручить чинам подведомственной вам полиции в случае каких-либо открытий и изобретений, проявленного тем или иным лицом творчества или сделанных кем-либо ценных наблюдений, будет ли то в области сельского хозяйства или технологии, поэзии, живописи или музыки, техники в широком смысле или климатологии, — немедленно доводить до вашего сведения и затем по проверке представленных вам сведений, особенно заслуживающих действительного внимания, сообщать безотлагательно в министерство внутренних дел по департаменту полиции».

Очнулся.

— Позвать Илью Ильича! Здравствуйте, Илья Ильич! Я тут получил одно предписание: узнавать, кто из населения занимается живописью, музыкой, поэзией или вообще какой-нибудь климатологией, и по выяснении лиц, занимающихся означенными предметами, сообщать об этом в департамент полиции. Так уж, пожалуйста, дайте ход этому распоряжению!

— Слушаю-с.

* * *

— Илья Ильич, вы вызывали исправника. Он ожидает в приемной.

— Ага, зовите его! Здравствуйте! Вот что, мой дорогой! Тут получилось предписание разыскивать, кто из жителей вашего района занимается поэзией, музыкой, живописью, вообще художествами, а также климатологией, и, по разыскании и выяснении их знания и прочего, сообщать об этом нам. Понимаете?

— Еще бы не понять? Будьте покойны, не скроются.

* * *

— Становые пристава все в сборе?

— Все, ваше высокородие!

Исправник вышел к приставам и произнес им такую речь:

— До сведения департамента дошло, что некоторые лица подведомственных вам районов занимаются живописью, музыкой, климатологией и прочими художествами. Предлагаю вам, господа, таковых лиц обнаруживать и, по снятии с них показаний, сообщать о результатах в установленном порядке. Прошу это распоряжение передать урядникам для сведения и исполнения.

* * *

Робко переступая затекшими ногами в тяжелых сапогах, слушали урядники четкую речь станового пристава:

— Ребята! До сведения начальства дошло, что тут некоторые из населения занимаются художеством — музыкой, пением и климатологией. Предписываю вам обнаруживать

виновных и, по выяснении их художеств, направлять в стан. Предупреждаю: дело очень серьезное и потому никаких послаблений и смягчений не должно быть. Поняли?

— Поняли, ваше благородие! Они у нас почешутся. Всех переловим.

— Ну, вот то-то. Ступайте!

* * *

— Ты Иван Косолапов?

— Я, господин урядник!

— На гармонии, говорят, играешь?

— Это мы с нашим вдовольствием.

— А-а-а... «С вдовольствием»? Вот же тебе, паршивец!

— Господин урядник, за что же? Нешто уж и на гармонии нельзя?

— Вот ты у меня узнаешь «вдовольствие»! Я вас, мерзавцев, всех обнаружу. Ты у меня заиграешь! А климатологией занимаешься?

— Что вы, господин урядник? Нешто возможно? Мы, слава Богу, тоже не без понятия.

— А кто же у вас тут климатологией занимается?

— Надо быть Игнашка Кривой к этому делу причинен. Не то он конокрад, не то это самое.

— Взять Кривого. А тебя, Косолапов, буду держать до тех пор, пока всех сообщников не покажешь.

* * *

— Ты — Кривой?

— Так точно.

— Климатологией занимался?

— Зачем мне? Слава Богу, жена есть, детки...

— Нечего прикидываться! Я вас всех, дьяволов, переловлю! Песни пел?

— Так нешто я один. На лугу-то запрошное воскресенье все пели: Петрушка Кондыба, Фома Хряк, Хромой Елизар, дядя Митяй да дядя Петрай...

— Стой, не таракхи! Дай записать... Эка, сколько народу набирается. Куда его и сажать? Ума не приложу.

* * *

Через две недели во второе делопроизводство департамента полиции стали поступать из провинции донесения:

«Согласно циркуляра от 2 февраля, лица, виновные в пении, живописи и климатологии, обнаружены, затем, после некоторого заперательства, изобличены и в настоящее время состоят под стражей впредь до вашего распоряжения».

Второй Фуке мирно спал, и грезилось ему, что второй Лафонтен читал ему свои басни, а второй Мольер разыгрывал перед ним «Проделки Скапена».

А Лафонтены и Мольеры, сидя по «холодным» и «кордегардиям» необъятной матери-России, закаивались так прочно, как только может закаяться простой русский человек.

ТОКАРНЫЙ СТАНОК

С одним токарным станком случилось то же, что случается с кораблем, проплававшим в море несколько лет: спускают в воду корабль чистенький, новенький, с подводной частью, свежеевыкрашенной прочной краской, а посмотрите — во что превращается эта подводная часть через год-два?..

Столько налипло на дне разной слизи, ракушек, моллюсков, водорослей и пауков, что удивляешься: как вся эта чепуха не потянула своей тяжестью корабль ко дну?!..

Токарный станок, о котором я говорю, проплавал в море житейском всего несколько дней, а превратился в то же, во что превращается дно корабля после многолетнего плавания.

* * *

Я сидел у приятеля, человека очень предприимчивого и бойкого. Когда разговор о Государственной думе иссяк, он вдруг спросил в упор:

— Ты видел когда-нибудь, как покупают токарные станки?

— Не только этого не видел, но, кажется, и станков токарных видеть не доводилось. А ты почему спрашиваешь?

— Да я должен сегодня купить один станок.

— Господи Иисусе! Для чего он тебе?

— Мне он ни на что не нужен. Я его сейчас же и продам. Тысячи полторы можно заработать.

— Ты разве в станках понимаешь?

— А что в них понимать: станок себе и станок. Ко мне должен прийти сейчас один человек, у которого есть такой станок... Да вот и звонят. Наверное, он.

Вошел человек крайне урезанного, обиженного вида. Серенький костюмчик сидел на нем очень неудобно, и вся его манера держать себя напоминала беспокойные манеры человека, вошедшего в клетку со львами. За этим обиженным человеком шел другой, очень гордый, раз навсегда удивленный своими успехами в обществе.

Обиженный поздоровался и, указывая на упоенного собой, сказал:

— Видите ли, станок, собственно, не у меня, а у него. Это Михаил Борисович. Михаил Борисович отыскал станок, а я отыскал Михаила Борисовича!..

— А при чем же вы сейчас, — очень твердо заметил мой приятель.

— Как при чем?! Мы работаем вместе. Если вы мне не дадите десять процентов, так он вам даже не покажет станка.

После длинного разговора о процентах, благополучно завершившегося какой-то распиской, мой приятель спросил:

— А где же этот ваш станок?

— Где? Это секрет, где.

— Так я ведь вам уже выдал расписку — при чем тут секрет?

— В таком случае я вам скажу проще: я не знаю, где этот станок.

— Как не знаете? Потеряли вы его, что ли?!

— Наоборот — я его нашел. Только я не знаю, где он стоит.

— А кто же знает, черт возьми?!

— Трейгис знает.

— Какой Трейгис?..

— Вы наденьте пальто, выйдем на улицу. Он тут на улице нас дожидается.

— Значит, это станок не ваш, а его?..

— Какая вам разница? Мы же продаем.

— Так почему же вы не привели его сюда?
— Что вы! Как же мы можем ему показать вас до получения куртажной расписки? Вы ведь могли сговориться с ним помимо нас.

— А теперь можно меня показать?

— Можно.

— Да сами-то вы станок видели?

— На что нам видеть? Что это, пьеса в Александринском театре, что ли? Какое может быть зрелище? Вы мне сказали, что вам нужен станок — хорошо. Я говорю Михаилу Борисычу: им нужен станок. Он говорит: хорошо, я знаю человека, который имеет этот станок.

— Это — Трейгис?

— Может, Трейгис, а может, не Трейгис. Но Трейгис знает и где этот станок, и что этот станок, и почему этот станок.

— Ну, ладно. Показывайте нам этого знаменитого Трейгиса.

— А они? — спросил Михаил Борисыч, указывая на меня. — Они с вами тоже работают?

— Нет, он так, — засмеялся мой приятель. — Ему просто любопытно, как это покупают станки...

После этого интерес у компаньонов ко мне сразу упал, и они стали смотреть сквозь меня, как сквозь невидимое глазу стекло.

* * *

На улице к нам подошел маленький толстый черный господин и, жадно поглядывая на моего приятеля, спросил компаньонов:

— Ну, что? Где он?

— Вот он.

— Это вы хотите иметь токарный станок?

— Я.

— Вы его будете иметь. Он стоит 5400.

— Как так? А они мне говорили: 5000.

— Да, так, а я — что же? Собака? Мне нужно своих 400 рублей получить или не нужно?

— Ну да ладно. Где этот ваш станок?

— Я вас повезу в самое то место, где стоит станок. В самое, так сказать, станковое гнездо. Но мы раньше зайдем в эту лавочку — вы мне напишете расписку на 400 рублей.

— Да станок-то ваш?!!

— Мой, не мой — от этого станок лучше не сделается. Я вас проведу до самого хозяина станка.

Признаюсь: меня так заинтересовала сложная процедура «покупки токарного станка», что я увязался за приятелем.

* * *

Трейгис с самым таинственным видом привел нас к дверям большого каменного сарая во дворе дома, выходявшего окнами в узенький переулок. Не открывая дверей сарая, таинственный Трейгис сказал:

— Сейчас я позову хозяев этого станка. Это уже настоящие хозяева.

Он побежал куда-то в глубь двора, постучал в какую-то замасленную дверь и, выведя оттуда двух людей, сказал нам:

— Вот они.

Один был большой, другой маленький, один рыжий, другой блондин. В одном только владельцы станка сходились: оба держались крайне замкнуто и непроницаемо.

— Вы хотите видеть наш станок? Идите посмотрите.

Мы вошли внутрь сарая. В одном углу стоял знаменитый станок, в другом сидел на опрокинутом ящике мрачный латыш в бараньем полушубке и сосредоточенно курил трубку.

Не обращая на него внимания, хозяева станка подвели моего приятеля к станку, и между ними завязался длинный горячий разговор.

Я стал скучать: ни разговор, ни станок, ни сидевший в углу латыш не представляли собой ничего замечательного.

— Этот господин ваш компаньон? — спросили наконец владельцы станка.

— Нет, он так себе.

— В таком случае вы пожалуйста в нашу контору, а он пусть здесь подождет.

— Ты извини, я сейчас, — кивнул мне приятель, направляясь со всей процессией компаньонов и посредников в глубь двора к замасленной двери.

Я остался наедине с молчаливым латышом и таким же застывшим, молчаливым станком.

- Гм, гм! — откашлялся я. — Холодно.
— Да, холодно, — угрюмо отвечал латыш.
— Вы тут работник?
— Нет, я приезжий.
— Это токарный станок?
— Токарный.
— Сколько он стоит?
— Три тысячи двести.
— Как три тысячи двести?! А двое, хозяева, просили за него пять тысяч четыреста!
— Не знаю.
— Ну, да, вы, значит, просто не знаете, сколько стоит станок.
— Знаю. Три тысячи двести.
— Да позвольте, это чей станок? Высокого или низенького?
— Мой это станок.
— Ваш?!!
— Мой. Я его продаю за 3.200. Я его привез из Юрьева.
— А они кто же? Эти люди?!
— Не знаю. Я продаю за три тысячи двести.
— Мне можете продать?
— Да. За три тысячи двести.
Я усмехнулся, вынул из кармана пятьсот рублей и сказал:
— Вот задаток. Станок за мной.
И, давась от смеха, пошел в «контору».
Это была маленькая, совсем пустая комната, если не считать кривого стола и полдюжины пустых ящиков.
Все шестеро — покупатель, посредник и продавцы — сидели на этих ящиках и кричали так, что даже не заметили моего появления:
— Я же вам говорю, что он себе стоит 4800... Нужно же нам что-нибудь заработать?!
— Нет, — ревел мой приятель. — Нет, нет и нет! Больше четырех с половиной я не дам.
— Согласен! — сказал я, хлопнув его по плечу... — Станок за тобой...

* * *

Это был день, когда я, не ударив палец о палец, заработал 1300 рублей только потому, что меня бросили одинокого, ненужного в холодном сарае.

Это был день, когда я провалил все торговое предприятие двух знаменитых компаньонов, потому что вся контора их, как я узнал после, только и создана была около этого станка и ради этого станка...

Это был день, когда я разорил трех самых бойких и способных посредников...

И наконец, это был день, когда я видел самую печальную в мире процессию: впереди компаньоны с пачкой забранных из конторы деловых бумаг (стол и пустые ящики были подарены ими дворнику за услуги); за компаньонами угрюмо шагал вконец разоренный Трейгис, а за ним, совсем убитый, плелся Михаил Борисович под руку со своим товарищем.

Я соскоблил всех моллюсков, прилипших к корабельному дну, и корабль-станок теперь уже спокойно и уверенно плыл в тихую гавань...

УТОЧКИН

Лучи солнца имеют свойство, которое, вероятно, не всем известно... Если человек долго находится под действием солнечных лучей, он ими пропитывается, его мозг, его организм удерживают в себе надолго эти лучи, и весь его характер приобретает особую яркость, выразительность, выпуклость и солнечность.

Эта насыщенность лучами солнца сохраняется на долгое время, пожалуй навсегда.

Ярким примером тому может служить Сергей Уточкин — кого мы еще так недавно искренно оплакали.

Он умер и унес с собой частицу еще не израсходованного запаса солнца.

А излучался он постоянно, и все его друзья и даже посторонние грелись в этих ярких по-южному, пышных струях тепла и радости.

Кто таков был Уточкин, каков был его характер, какова была его жизнь — знают многие, а Одесса, пожалуй, — и вся. Эта милая, веселая, любопытная Одесса, этот огромный «журнал Пате, который все видит» сквозь огромные зеркальные окна своих кафе и ресторанов, — вся Одесса

напоминает мне огромное окно в кафе, сидишь уютно у самого стекла, и перед тобой проходит вся жизнь огромного города...

Поэтому Одесса прекрасно знает «своего» Уточкина, и сотни хороших беззлобных анекдотов об Уточкине на устах у всех одесситов.

Теперь бедняга Уточкин уже — область истории, и поэтому я считаю себя вправе внести и свою лепту в сокровищницу рассказов об Уточкине и изложить здесь один случай, который с особенной выпуклостью характеризует этого удивительного человека.

Южное солнце пропекает человека до самого нутра, до самой сути. Вот почему от всего, что делал Уточкин, веет жарким летним загаром пышного богатого июля месяца.

Веселье и юмор искрятся в каждом его шаге, в каждом его трюке. Веселье, юмор, легкая безобидная плутоватость, головокружительная, но спокойная смелость и неожиданная выдумка.

Таков Уточкин, и таков случай с автомобилистом-инженером.

Об этом случае я и пишу.

* * *

Кому-то из неугомонных одесситов пришла в голову мысль — устроить состязание автомобилей между Одессой и Николаевом. Устроили.

Участвовал, конечно, и Уточкин.

До Николаева добрались благополучно, и это неожиданное благополучие так обрадовало гонщиков, что в Николаеве за обедом напились.

У всякого человека опьянение выражается по-разному. Есть милые добродушные люди, которые, размякши, как пуховая перина, плачут восторженными слезами и пытаются зацеловать и облизнуть все окружающее — будь то приятель, лошадь, собака или даже бездушная спокойная дверь, которая не всегда даже взвизгнет при таком вольном обращении.

Но есть пьяные — страшные. Их маленькие свирепые глазки наливаются кровью, и они подозрительно и свире-

по, по-носорожьему, шныряют этими пытливыми глазками по всем лицам — нельзя ли к чему-нибудь придраться и учинить скандал... Тут все годится: простое человеческое слово, движение, даже взгляд.

В характере такого пьяного, действительно, много носорожьего: так же его раздражает все постороннее, все свежее, на все он тупо и злобно набрасывается, только других пьяных он щадит, и их присутствие его не раздражает. Впрочем, и носорог довольно спокойно переносит присутствие другого носорога.

Инженер Зет выехал из Одессы в самом хорошем настроении, в таком же настроении приехал в Николаев, в таком же настроении сел за стол и выпил несколько бокалов вина. Никто его не замечал, никто не обращал на него особенного внимания, а между тем глаза его все краснели да краснели, рот все кривился да кривился. А за сладким рыжие волосы его неожиданно поднялись дыбом, он вскочил, обрушил рыжий веснушчатый кулак на стол и загредел как гром среди ясного неба:

— Ш-што-сс?! Ма-а-алчать! Пр-рошу не шуметь!! Кто тут шумит? Б-бутылкой по голове за это!

— Набрался, — скорбно сказал кто-то. — И как тихо — никто и не заметил.

— М-а-алчать! Что за шум?

— Да ведь это вы сами и шумите, — засмеялся его сосед.

— Што-о-о? Смеешься? Надо мной смеешься? Как собак перестреляю!!!

Хотя он был и пьян, но слово у него строго и гармонично вязалось с делом: в ту же секунду в руках инженера сверкнул новенький семизарядный браунинг.

— Ну, кто хочет? Подходи!!

Вопрос был праздный, потому что не хотел решительно никто. Наоборот, все отхлынуло от предприимчивого инженера и, как теплый квас из откупоренной бутылки, брызнули во все стороны.

* * *

Возвращались обратно в Одессу.

— Господи, — заметил кто-то, — не только наш инженер, но и его шофер не вяжет лыка. Как быть?

— Оставим их здесь. Послушайте, инженер! Вы устали, оставайтесь до завтра, хотите?

— А ты вот этого хочешь?

«Это» — был тот же новенький браунинг, направленный рыжей, чуть-чуть трясущейся рукой в толпу спортсменов.

— Слушайте! Надо отнять у него револьвер... Ведь он нас всех может перестрелять, как куропаток.

— Поп... робуйте, отним... мите, — усмехнулся пьяный, сверкая красными глазками. — Первому, кто подойдет — пуля в глаз.

— Черт с ним, пусть едет.

— И поэ... эду! Ты мне не указ! Зах... хочу и поэ... эду. А? Шофер! Готовь мою машину!

— Хор... шо, — сказал шофер, покачиваясь и совершенно игнорируя хозяйский револьвер. — Готово! Пожалте!

Выехали из Николаева.

Через несколько минут были уже у знаменитого спуска, который так крут, что приходится пускать в ход все тормоза и даже тормозить цепью, что делается только в самых исключительных, опасных случаях...

И вдруг пыхтение и шум моторов покрыл пронзительный пьяный голос:

— Господа! Хотите видеть рекорд? Смотрите! Уже! Ставлю всемирный рекорд!!

Инженер вылез из автомобиля (у него был прекрасный 100-сильный «бенц»), сел верхом на радиатор и командовал шоферу:

— Володя! Шпарь во весь дух.

Общий крик ужаса подавленно прозвенел в воздухе.

— Он с ума сошел!

— Он погибнет!

— Верная смерть!!

— Остановите его! Стащите его с радиатора!

— Кого? — взревел пьяный инженер, весело и грозно оглядывая спутников. — Меня? А это видали? Хотите попробовать?

— Хоть бы он револьвер выронил, — чуть не плакал кто-то.

— Я? Выроню? Нет, брат, я не выроню...

И действительно: хотя инженер сидел на своем радиаторе, как цирковой жокей на крупе лошади, рука его прочно и непоколебимо сжимала рукоятку браунинга.

В это время на сцену впервые выступил Сережа Уточкин, сам влюбленный в разные «рекорды» и сам не шадивший своей головы во многих спортсменских авантюрах.

— В... вот, почему вы, — по обыкновению заикаясь начал он. — Почему вы боитесь за него? Он съедет, ей-Богу.

— Как съедет? Да вы видите, какая крутизна? Тут костей не соберешь!

— В... вот, это для трезвого. А пьяный, ей-Богу, съедет, как по маслу.

— Да почему?!

— Пья-а-аным везет.

Инженер в это время хлопнул в ладоши, пьяный шофер дал почти сразу полный ход, и «бенц» под общий рев ужаса, просвистев, как пуля, слетел вниз по головоломной крутизне.

Все открыли зажмуренные глаза и со страхом взглянули вниз. «Бенц» замер в полуверсте совершенно невредимый, а инженер по-прежнему сидел верхом на радиаторе, раскланивался, пошатываясь, и посылал всем воздушные поцелуи...

* * *

Инженер не только не успокоился после своего «рекорда», а наоборот — успех раззадорил его еще пуще: он решил, что так — просто и спокойно — ехать скучно и поэтому, завладев рулем, принялся «срезывать носы» другим автомобилям.

А когда раздался общий крик протеста, потому что катастрофа висела на волоске, инженер совсем разошелся: обогнал всю компанию, поставил свою машину поперек дороги и заявил, что считает вообще всякие гонки пошлостью и своей властью прекращает эту скуку и безобразие.

— Связать его! — крикнул кто-то из наиболее нетерпеливых.

— Любопытно мне это, — засмеялся инженер, направляя дуло револьвера на инициатора этой затеи. — Подойдите-ка, молодой человек, подойдите... Чего же вы прячетесь за автомобиль?

Теперь вся дорога, озаренная заходящим солнцем, имела такой вид: у поворота сгрудились все автомобили, около которых в нерешимости стояли гонщики, приседая всякий раз, когда на них направлялось зловещее дуло. Шагах в пятидесяти от общей массы стоял одинокий «бенц», к которому прислонился предприимчивый инженер с наведенным на группу озлобленных гонщиков револьвером.

Так простояли минут десять.

— До ночи мы будем так стоять? — спросил кто-то с горькой иронией.

Вдруг заговорил Уточкин:

— П... постойте, господа... О... о... он хороший человек, только пьяный. Я с... с ним поговорю, и все уладится. У него револьвер-то заряжен?

— Заряжен. Я сам видел.

— Сколько зарядов?

— Все. Семь.

— В... вот и чудесно. О, он славный человек, веселый, и я с ним поговорю... Все уладится!

Уточкин вынул из своего мотора две пивные бутылки (очевидно, запас, взятый на дорогу), положил их под мышку и спокойно, с развальцем, зашагал к зловещему «бенцу».

Все притаили дыхание, с ужасом наблюдая за происходящим, потому что в глазах инженера не было ничего, кроме твердой решимости.

— Не подходи!! — заорал он, прицеливаясь. — Убью!!

Так же спокойно и неторопливо остановился Уточкин в пятнадцати шагах от инженера, расставил рядышком свои бутылки и, вынув носовой платок, стал утирать пот со лба.

— В... вот, солнце зашло почти, а жарко!..

— Я стреляю! — заревел инженер.

— И в... все ты хвастаешь, — вдруг засмеялся Уточкин, искоса одним зорким глазом наблюдая за инженером. — «Стреляю, стреляю!» А т... ты раньше мне скажи, умеешь ли ты стрелять...

— Хочешь, между глаз попаду? Хоч... чешь?

— В... вот ты дурак! А вдруг промахнешься? Зачем зря воздух дырывать? Докажи, что умеешь стрелять, пади в бутылку, в... вот я и скажу: д-да, умеешь стрелять.

— И попаду! — угрюмо проворчал инженер, подозрительно глядя на Уточкина.

— Что? — засмеялся добродушно и весело Уточкин. — Ты попадешь? А хочешь на пять рублей пари, что не попадешь? Идет?

И столько было спортсменского задора в словах Уточкина, что спортсменский дух инженера вспыхнул как порох.

— На пять рублей? Идет! Ставь бутылки.

— В... вот они уже стоят. Двадцать шагов. Только смотри, стрелять по команде, а то я вас, шарлатанов, знаю — будешь целиться полчаса.

Уточкин сделал торжественное лицо, вынул из кармана носовой платок и сказал:

— В... вот, когда махну платком. Ну, раз, два, три!

Бац! Бац, бац!..

— Ну, что? В... вот стрелок, нечего сказать, в корову не попадешь! Од... ну бутылку только пробил. А ну! Раз, два, три! Пли!

Бац, бац, бац, бац!..

— Эх, ты! Из семи выстрелов одну бутылку разбил... Сап... пожник! А теперь довольно, едем в Одессу, нечего там. Садись!

— Ш-пгго?

Снова поднял свой револьвер инженер, поглядел с минуты на револьвер, на Уточкина и вдруг осел, как-то обмяк, опустился и, сунув пустой револьвер в карман, покорно и робко полез на своего «бенца».

Несколько гонщиков приблизились к машине, с презрением оглядели инженера, а один сплюнул и сказал:

— Туда же, с револьвером! Пьяница паршивая.

Инженер отвернулся, согнулся еще больше и, жалкий, маленький, застыл так.

Уточкин вернулся к своей машине спокойный, невозмутимый, только глаза его усмехались:

— В... вот, он добрый, хороший, только дурак.

И общий смех вырос и разбежался в похолодевшем воздухе; и никто не хотел сознаться, что в этом смехе топили неловкость перед тем человеком, который только сейчас так мило и с таким юмором рискнул жизнью, чтоб бы вывести несколько десятков человек из глупого положения...

Южное солнце родит светлые мысли и красивые жесты...

СПАСАТЕЛЬНЫЕ КРУГИ

— ... Вообще, эти спасательные круги — чистейший пред-
рассудок, — усмехнулся мой собеседник, выпив одним духом
большую кружку пива.

— Ну! Почему?

— Видели вы когда-нибудь человека, который был бы
спасен спасательным кругом? Разговаривали с таким че-
ловеком?

— Признаться, не видел. Не разговаривал.

— То-то и оно. И я тоже. А что встречаются люди, ко-
торые гибнут из-за этих самых спасательных кругов, — так
это верно.

— Положим, я и этого сорта не встречал.

— А я встречал на своем веку. Двух. Один — мой приятель.
Пил он, знаете ли, пил и допился до того, что спрыгнул однаж-
ды на Фонтанке с моста в воду. Ну, конечно, в холодной воде
сразу отошел, кричит, вопит: «Спасите!» Городовые в Петрограде
понатыканы на каждом углу. Один такой — человек, очевидно,
очень рачительный, старательный — сорвался со своего поста,
прибежал на крик к перилам моста, сорвал спасательный круг
да как шваркнет его в воду! Так что ж вы думаете? Круг-то,
вместо того чтобы упасть около утопающего, возьми да и попади
ему в голову. Можете представить, получив этаким шок, мой
полупьяный утопленник охнул, схватился руками за голову,
нырнул — только его и видели... Вот тебе и спасательный
круг. Спасли... Нечего сказать.

— Утонул?

— Конечно. От этакого-то удара? Ведь круг, он тяжелый,
основательный.

— Та-ак... А кто же второй погиб от спасательного круга?

— Да я.

— Что вы говорите!

— Вот вам и что говорю.

Пиджачишка с чужого плеча, белье грязное, на ногах
опорки и голос такой, что сами все понимаете.

В пивной, где я встретил этого странного человека, кроме
нас, никого не было.

Я сразу же сделал равнодушное лицо (самый верный
способ заставить собеседника говорить).

— Охо-хо! Был я тогда просто голодным человеком. Жена больная лежала, со службы выгнали, ну и прочее, что вы своей фантазией дополнить можете. Бродил, бродил я по улицам, с каждым шагом все больше и больше превращаясь из овечки в волка. Добродился до того, что сам себе поставил такое задание: «украсть надо». То есть, вы знаете, только когда решишь заняться этим — поймешь, как ловко и прочно человечество охраняет свою собственность. Конечно, профессионалам эта охрана — плевое дело, но я ведь тогда был только робкий дебютант, и поэтому меня с первых же шагов поразила такая удивительная постановка буржуазного строя жизни. Все было очень искусно запрятано, все заперто, около всего стояли или люди, или торчали крепкие железные решетки.

Два дня бродил я так около железных засовов, крепких дверей и часовых... И только на третий день нашел один предмет, который не был ни заперт, ни охраняем, ни хотя бы прикреплен к чему-нибудь... Это был прекрасный новенький спасательный круг, висевший на столбе в конце одного безлюдного моста. Я поспешно, дрожащими от страха руками, снял его, спрятал под пальтишко и сломя голову понесся на толкучий рынок. Не идиот ли?!

— А почему?

— А вот слушайте. Обращаюсь к одному: «Дядя, не купите ли кружок хороший спасательный, совсем новенький». Осмотрел его внимательно, спокойно, этакий истовый хладнокровный бородач, и спрашивает, глядя на меня лучезарными глазами: «А для чего он мне?» — «Как для чего?» — «Да так. Ведь тонуть я не собираюсь». — «Ну, уж и тонуть, — смутился я. — А может, в хозяйстве пригодится?..» И сам чувствую, что говорю вздор... «Это круг-то этот? В хозяйстве? Да что ж я в него собаку заставлю прыгать или велисапед сделаю? Проходи, паренек!» До вечера я с этим кругом маялся, пока скучающему фараону на глаза не попался. «Это, говорит, что у тебя?» — «Круг, господин городской». — «А чей?» — «Да мой!» — «Для чего же он тебе? Если взаправду топиться собираешься, так круг ни к чему, а если нет — так тем паче. А?! А промежду прочим, пожалуйста в участок. Там все это распутают».

— Ну?

— Распутали. На два месяца. Взмолился я, когда судья объявил об этой такой мере пресечения. «За что же, помилуйте?» — «За кражу чужой собственности, вот за что». — «Да какое же оно чужое, оно общее». — «Нет, не общее оно, а специально для погибающих предназначено». — «Да я, может быть, и был такой погибающий. Верите — два дня ничего не ел». — «Очень возможно, но только вы сухопутный погибающий, а это для тех, которые морские погибающие, важнее». — «Да ведь я в тюрьме совсем погибну, господин судья!» — «А это уж ваше дело. Вам виднее».

— Посадили?

— Конечно. Вот вам и спасательный круг.

Лгал он или нет — во всяком случае, эта история имела некоторый философский оттенок.

По своей привычке обобщать частные случаи и делать из них выводы я призадумался, а он потрепал меня по плечу и, держа в руках истрепанную грязную фуражку, предостерег на прощанье:

— Во всяком случае, ваше высокоблагородие, если придется вам чем-нибудь когда-либо попользоваться, — остерегайтесь следующего: спасательных кругов, визитных карточек, хотя бы их была тысяча, очень больших бриллиантов и очень маленьких детей. Эти предметы ничего, кроме хлопот и неприятностей, не принесут. Деть их некуда, а попасться легко. Адью!

Так сообщил он мне для сведения, не желая, конечно, меня обидеть.

Так пишу я читателям для сведения, не желая, конечно, их обидеть.

Просто я думаю, что можно иметь в виду все перечисленное.

РУССКИЕ СИМВОЛЫ

В передней прозвонил звонок.

Так как горничную я отпустил, пришлось выйти самому. Время было позднее, поэтому я, не открывая дверей, спросил как можно громче:

— Кто там?

Какой-то странный, неестественный фальцет пропищал за дверью:

— К вам барышня пришла... Очень хорошенькая! Пожалуйста, откройте.

— Кой черт! Какая барышня?

— Очень хорошенькая! Откройте — будете иметь полное удовольствие.

— Это вы барышня и есть?

Дребезжащий фальцет пропищал:

— Я-а-а!

— Что же вам нужно?

— Откройте — узнаете. Ах, такой приятный кавалер и так капризничает! Хи-хи!

Голос был странный, неестественный.

Я приоткрыл дверь и выглянул в переднюю.

На меня смотрела красная худая рожа разносчика телеграмм.

Кроме него, за дверью никого не было.

— Это вы сейчас говорили со мной? — строго спросил я.

— Так точно. Я.

И устало, с деревянным выражением лица он добавил:

— Примите телеграмму. Распишитесь... Вот тут.

— Это еще что за штуки? — сердито нахмурился я. — Почему вы прямо не сказали, что — телеграмма?

Он с хитрым видом поглядел на меня.

— Как же! Скажи я вам, что телеграмма, так вы бы меня и впустили! Дудки! Я уж к некоторым господам по три раза ходил... Только скажешь: «Телеграмма» — сейчас же они это из-за дверей: «Пошел, пошел вон! Никаких телеграмм нам не надо!»

— Господи! Да почему же?

— Эх, барин! Неужто не смекаете? Да телеграмму-то приносят когда?

— Ну?

— Когда с обыском жандармы али там полиция приходит. Это уж у них так водится: «тук-тук!» — «Кто там?» — «Телеграмма!» Откроют дверь, они и ввалятся. А там уж разбирайся сам — телеграмма или не телеграмма. Так теперь — верите? — ни в один дом не пускают с телеграммой! «Бог с тобой, — говорят. — Знаем мы вас, «телеграфистов».

Стараясь по возможности быть серьезным, я спросил:

— Так вы всех «барышнями» соблазните?

— Зачем всех. Мы тоже с понятием... Ежели, скажем, девице депеша, — мы ей мужским голосом что-нибудь этакое скажем; ежели старуха, — очень помогает болонкой за дверью повизжать. Шибко они, старухи, до собак жалостливые... Глядишь, и откроют. Старик идет больше на знакомого, который в карты пришел играть... Замужняя ежели, то уж скажешь: «Ридикюльчик на лестнице нашли — не ваш ли?» Потому, замужние очень ридикюли терять обожают. Кого на что взять. Это тоже понятие нужно иметь.

— Вот ты, братец, и дурак, — рассердился я. — Почему тебе пришло в голову, что я только «барышне» открою. Что ж я, по-твоему, развратник какой, что ли?

Он отпарировал:

— Однако ж, открыли.

— Открыл... я потому, чудак ты человек, и открыл, что было уж очень любопытно: что это за нелепая образина так пищит.

Почтальон с беспокойством взглянул на меня.

— А разве... не похоже?

— Совсем не похоже. Немазаная телега вместо женского голоса.

— Вот горе-то! — искренно огорчился он.

Мне сделалось жаль беднягу. Я похлопал его по плечу и сказал:

— Ничего, не огорчайся. Я тебе дам такой совет: если жандармы говорят «телеграмма», то им не верят и не открывают дверей. Так? А если ты придешь с телеграммой и скажешь: «Обыск!» — тебе тоже не поверят и, конечно, откроют дверь. Понял? Если они притворяются, то и ты притворяйся.

Он сразу повеселел.

— А ведь и верно, барин. Ну, спасибо. Хе-хе! Здорово удумано: «С обыском»... Открыли дверь, ан это телеграмма. Хо-хо. Мерси вас. Желаем здравствовать.

На другой день, вечером, я опять услышал звонок в передней. Улыбнулся... Вышел в переднюю.

Спросил:

— Кто там?

— С обыском.

«Ага! — усмехнулся я. — Догадался мой приятель-рассыльный».

Открыл дверь...

И передняя сразу наполнилась жандармами, дворниками и понятыми...

— Позвольте, — возмущился я. — Чего ж вы не сказали, что «телеграмма»?! Это обман! Обыкновенно говорите: «Телеграмма!» — а теперь... черт знает что такое! Я протестую.

Жандарм подмигнул мне и рассмеялся.

— Уже несколько дней, как мы оставили прием с «телеграммой». Никто не верит. А на «обыск» с непривычки многие попадаются. Хе-хе!

Трудно перехитрить жандарма, господа! Что-то придумает теперь мой друг — бедняга-рассыльный?

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

— Это, наконец, черт знает что такое!! Этому нет границ!!! И редактор вцепился собственной рукой в собственные волосы.

— Что такое? — поинтересовался я. — Опять что-нибудь по министерству народного просвещения?

— Да нет...

— Значит, министерство финансов?

— Да нет же, нет!

— Понимаю. Конечно, министерство внутренних дел?

— Позвольте... Междугородный телефон, это к чему относится?

— Ведомство почт и телеграфов.

— Ну вот... Чтоб им ни дна ни покрышки!! Представьте себе: опять из Москвы ни звука. Потому что у них там что-то такое случилось — газета должна выходить без московского телефона. О, пррр!.. Вот, послушайте: если бы вы были настоящим журналистом, вы бы расследовали причины такого безобразия и довели бы об этом до сведения общества!

— А что ж вы думаете... Не расследую? И расследую.

— Вот это мило. У них там, говорят, телефонную проволоку воруют.

— Кто ворует?
— Тамошние мужики.
— Нынче же и поеду. Я вам покажу, какой я настоящий журналист!

Было раннее холодное утро, когда я, выйдя на маленькой промежуточной между двумя столицами станции, тихо побрел по направлению к ближайшей деревушке.

Догнал какого-то одинокого мужичка.

— Здорово, дядя!

— Здорово, племянничек. Откудова будешь?

— С самого Питербурху, — отвечал я на прекраснейшем русском языке. — Ну, как у вас тут народ... Ничего живет?

— Да будем говорить так, что ничего. Кормимся. Урожай, будем сказать, ничего. Первеющий урожай.

— Цены как на хлеб?

— Да цены средственные. Французские булки, как и допрежь, по пятаку, а сайки по три.

— Я не о том, дядя. Я спрашиваю, как урожай-то продали?

— Урожай-то? Да полтора рубля пуд.

— Это вы насчет ржи говорите?

— Со ржой дешевле. Да только ржи ведь на ней не бывает. Слава Богу, оцинкованная.

— Что оцинкованная?

— Да проволока-та. На ней ржи не бывает.

— Фу ты, Господи! А хлеб-то вы сеете?

— Никак нет. Не балуемся.

Я вгляделся вдаль. Несколько мужиков с косами за плечами брели по направлению к нам.

— Что это они?

— Косить идут.

Все представления о сельском хозяйстве зашатались в моем мозгу и перевернулись вверх ногами.

— Косить?! В январе-то?

— А им што ж. Как навесили, так, значит, и готово.

Поселяне между тем с песнями приблизились к нам...

Пели, очевидно, старинную местную песню:

Эх ты, проволока,
— Д-металлицкая,
Эх, кормилица

Ты мужицкая!..
Срежу я тебя
Со столба долой,
В городу продам —
Парень удалой!..

Увидев меня, все сняли шапки.

— Бог в помощь! — приветливо пожелал я.

— Спасибо на добром слове.

— Работать идете?

— Это уж так, барин. Нешто православному человеку возможно без работы? Не лодыри какие, слава тебе, Господи.

— Косить идете?

— А как же. На Еремином участке еще вчераь проволока взошла.

— Как же вы это делаете?

— Эх, барин, нешто сельских работ не знаешь? Спервоначалу, значит, ямы копают, потом столбы ставят. Мы, конечно, ждем, присматриваемся. А когда, значит, проволока взойдет на столбах, созреет — тут мы ее и косим. Девки в бунты скручивают, парни на подводы грузят, мы в город везем. Дело простое. Сельскохозяйственное.

— Вы бы лучше хлеб сеяли, чем такими делами заниматься, — несмело посоветовал я.

— Эва! Нешто можно сравнить? Тут тебе благодать: ни потравы, ни засухи; семян — ни Боже мой.

— Замолол, — перебил строгий истовый старик. — Тоже ведь, господин, ежели сравнить с хлебным промыслом, то и наше дело тоже не мед. Перво-наперво у них целую зиму на печи лежи, пироги с морковью жуй. А мы круглый год работай, как окаянные. Да и то нынче такие дела пошли, что цены на проволоку падать стали. Потому весь крещеный народ этим заниматься стал.

— А то и еще худшее, — подхватил корявый мужичонка. — Этак иногда по три, по пяти ден проволоку не навешивают. Нешто возможно?

— Это верно: одно безобразие, — поддержал третий мужик. — Нам ведь тоже есть-пить нужно. Выйдешь иногда за околицу на линию, посмотришь — какой тут к черту урожай: одни столбы торчат. Пока еще там они соберутся проволоку подвесить...

— А что же ваша администрация смотрит? — спросил я. — Сельские власти за чем смотрят?!

— Аны смотрят.

— Ого! Еще как... Рази от них укроешься. Теперь такое пошло утеснение, что хучь ложись да помирай. Строгости пошли большие.

— От кого?

— Да от начальства.

— Какие же?

— Да промысловое свидетельство требует, чтоб выбирали в управе. На предмет срезки, как говорится, телефонной проволоки.

— Да еще и такие слухи ходят, что будто начальство в аренду будет участки сдавать на срезку. Не слышали, барин? Как в Питербурхе на этот счет?

— Не знаю.

Седой старикашка нагнулся к моему уху и прохрипел:

— А что, не слышно там — субсидии нам не дадут? Больно уж круто приходится.

— А что? Недород?

— Недорез. Народ-то размножается, а линия все одна.

— В Думе там тоже сидят, — ядовито скривившись, заметил чернобородый, — а чего делают — и неизвестно. Хучь бы еще одну линию провели. Все ж таки послободняе было бы.

— Им что! Свое брюхо только набивают, а о крестьянском горбе нешто вспомнят?

— Ну, айда, ребята. Что там зря языки чесать. Еще за-светло нужно убраться. А то и в бунты не сложим.

И поселяне бодро зашагали к столбам, на которых тонкой, едва заметной паутиной вырисовывались проволочные нити.

Хор грянул, отбивая такт:

Э-эх ты, проволока,

Д-металличка.

Э-эх, кормилица

Ты мужицкая!..

Солнышко выглянуло из-за сизого облака и осветило трудовую черноземную сермяжную Русь.



СИНЕЕ С ЗОЛОТОМ
(1917)

ПОЗОЛОЧЕННЫЕ ПИЛЮЛИ



ПЯТЬ ЭПИЗОДОВ ИЗ ЖИЗНИ БЕРЕГОВА

I. БЕРЕГОВ — ВОСПИТАТЕЛЬ КИСИ

I

Студент-технолог Берегов — в будущем инженер, а пока полуголодное, но веселое существо — поступил в качестве воспитателя единственного сына семьи Талалаевых.

Первое знакомство воспитателя с воспитанником было таково.

— Кися, — сказала Талалаева, — вот твой будущий наставник, Георгий Иванович, — познакомься с ним, Кисенька... Дай ему ручку.

Кися — мальчуган лет шести-семи, худощавый, с низким лбом и колючими глазками — закачал одной ногой, наподобие маятника, и сказал скрипучим голосом:

— Не хочу! Он — рыжий.

— Что ты, деточка, — засмеялась мать. — Какой же он рыжий?.. Он — шатен. Ты его должен любить.

— Не хочу любить!

— Почему, Кисенька?

— Вот еще, всякого любить.

— Чрезвычайно бойкий мальчик, — усмехнулся Берегов. — Как тебя зовут, дружище?

— Не твое дело.

— Фи, Кися! Надо ответить Георгию Ивановичу: меня зовут Костя.

— Для кого Костя, — пропищал ребенок, морща безбровый лоб, — а для кого Константин Филиппович. Ага?..

— Он у нас ужасно бойкий, — потрепала мать по его острому плечу. — Это его отец научил так отвечать. Георгий Иванович, пожалуйста пить чай.

За чайным столом Берегов ближе пригляделся к своему воспитаннику: Кися сидел, болтая ногами и бормоча про себя какое-то непонятное заклинание. Голова его на тонкой, как стебелек, шее качалась из стороны в сторону.

— Что ты, Кисенька? — заботливо спросил отец.

— Отстань.

— Видали? — засмеялся отец, ликующе оглядывая всех сидевших за столом. — Какие мы самостоятельные, а?

— Очень милый мальчик, — кивнул головой Берегов, храня самое непроницаемое выражение на бритом лице. — Только я бы ему посоветовал не болтать ногами под столом. Ноги от этого расшатываются и могут выпасть из своих гнезд.

— Не твоими ногами болтаю, ты и молчи, — резонно возразил Кися, глядя на воспитателя упорным, немигающим взглядом.

— Кися, Кися! — полусмеясь-полусерьезно сказал отец.

— Кому Кися, а тебе дяденька, — тонким голоском, как пичуга, пискнул Кися и торжествующе оглядел всех...

Потом обратился к матери:

— Ты мне мало положила сахара в чай. Положи еще.

Мать положила еще два куска.

— Еще.

— Ну, на тебе еще два!

— Еще!..

— Довольно! И так уже восемь.

— Еще!!

В голосе Киси прозвучали истерические нотки, а рот подозрительно искривился. Было видно, что он не прочь переменить погоду и разразиться бурным плачем с обильным дождем слез и молниями пронзительного визга.

— Ну, на тебе еще! На! Вот тебе еще четыре куска. Довольно!

— Положи еще.

— На! Да ты попробуй... Может, довольно?

Кися попробовал и перекосялся на сторону, как сломанный стул.

- Фи-и! Сироп какой-то... Прямо противно.
- Ну, я тебе налью другого...
- Не хочу! Надо было бы не наваливать столько сахара.
- Чрезвычайно интересный мальчик! — восклицал изредка Берегов, но лицо его было спокойно.

II

За обедом Берегов первый раз услышал, как Кися плачет. Это производило чрезвычайно внушительное впечатление.

Мать наливала ему суп в тарелку, а Кися внимательно следил за каждым ее движением.

- На, Кисенька.
- Мало супу. Подлей.
- Ну, на. Довольно?
- Еще подлей.
- Через край будет литься!..
- Лей!

Мать тоскливо поглядела на сына, вылила в тарелку еще ложку и, когда суп потек по ее руке, выронила тарелку. Села на свое место и зашипела, как раскаленное железо, на которое плюнули.

Кися все время внимательно глядел на нее, как вивисектор на расчлняемого им в целях науки кролика, а когда она схватилась за руку, спросил бесцветным голосом:

- Что, обожглась? Горячо?
- Как он любит свою маму! — воскликнул Берегов.

Голос его был восторженный, но лицо спокойное, безоблачное.

— Кися, — сказал отец, — зачем ты выкладываешь из банки всю горчицу... — Ведь не съешь. Зачем же ее зря портить?

— А я хочу, — сказал Кися, глядя на отца внимательными немигающими глазами.

- Но ведь нам же ничего не останется!
- А я хочу!
- Ну, дай же мне горчицу, дай сюда...
- А я... хочу!

Отец поморщился и со вздохом стал деликатно вынимать горчицу из цепких тоненьких лапок, похожих на слабые коготки воробья...

— А я хо... хо... ччч...

Голос Киси все усиливался и усиливался, заливаемый внутренними, еще не нашедшими выхода слезами; он звенел, как пронзительный колокольчик, острый, проникающий иголками в самую глубину мозга... И вдруг — плотина провалилась, и ужасные, непереносимые человеческим ухом визги и плач хлынули из синего искривленного рта и затопили все... За столом поднялась паника, все вскочили, мать обрушилась на отца с упреками, отец схватился за голову, а сын камнем свалился со стула и упал на пол, завыв протяжно, громко и страшно, так, что, кажется, весь мир наполнился этими звуками, задушив все другие звуки. Казалось, весь дом слышит их, вся улица, весь город заметался в смятении от этих острых, как жало змеи, звуков.

— О, Боже, — сказала мать, — опять соседи прибегут и начнут кричать, что мы убиваем мальчика!

Это соображение придало новые силы Кисе: он уцепился для общей устойчивости за ножку стола, поднял кверху голову и завыл совсем уже по-волчьи.

— Ну, хорошо, хорошо уж! — хлопотала около него мать. — На тебе уж, на тебе горчицу! Делай, что хочешь, мажь ее, молчи только, мое золото, солнышко мое. И перец на, и соль — замолчи же. И в цирк тебя возьмем — только молчи!..

— Да-а, — протянул вдруг громогласный ребенок, прекращая на минуту свой вой. — Ты только так говоришь, чтоб я замолчал, а замолчу, и в цирк не возьмешь.

— Ей-Богу, возьму.

Очевидно, эти слова показались Кисе недостаточными, потому что он помолчал немного, подумал и, облистав языком пересохшие губы, снова завыл с сокрушающей силой.

— Ну, не веришь, на тебе три рубля, вот! Спрячь в карман, после купим вместе билеты. Ну, вот — я тебе сама засовываю в карман!

Хотя деньги мать всунула в карман, но можно было предположить, что они были всунуты ребенку в глотку — так мгновенно прекратился вой.

Кися, захлопнув рот, встал с пола, уселся за стол, и все его спокойно-торжествующее лицо говорило: «А что — будете теперь трогать?..»

— Прямо занимательный ребенок, — крикнул Берегов. — Я с ним позаймусь с большим удовольствием.

III

В тот день, когда Талалаевы собрались ехать к больной тетке в Харьков, Талалаева-мать несколько раз говорила Берегову:

— Послушайте! Я вам еще раз говорю — вся моя надежда на вас. Прислуга — дрянь, и ей нипочем обидеть ребенка. Вы же, я знаю, к нему хорошо относитесь, и я оставляю его только на вас.

— О, будьте покойны! — добродушно говорил Берегов. — На меня можете положиться. Я ребенку вреда не сделаю...

— Вот это только мне и нужно!

В момент отъезда Кисю крестила мать, крестил отец, крестила и другая тетка, ехавшая тоже к харьковской тетке. За компанию перекрестили Берегова, а когда целовали Кисю, то от полноты чувств поцеловали и Берегова:

— Вы нам теперь, как родной!

— О, будьте покойны.

Мать потребовала, чтобы Кися стоял в окне, дабы она могла бросить на него с извозчика последний взгляд.

Кисю утвердили на подоконнике, воспитатель стал подле него, и они оба стали размахивать руками самым приветливым образом.

— Я хочу, чтоб открыть окно, — сказал Кися.

— Нельзя, брат. Холодно, — благодушно возразил воспитатель.

— А я хочу!

— А я тебе говорю, что нельзя... Слышишь?

И первый раз в голосе Берегова прозвучало какое-то железо.

Кися удивленно оглянулся на него и сказал:

— А то я кричать начну...

Родители уже садились на извозчика, салютуя окну платком и ручным саквояжем.

— А то я кричать начну...

В ту же секунду Кися почувствовал, что железная рука сдавила ему затылок, сбросила его с подоконника и железный голос лязгнул над ним:

— Молчать, щенок! Убью, как собаку!!

От ужаса и удивления Кися даже забыл заплакать... Он стоял перед воспитателем с прыгающей нижней челюстью и широко открытыми остановившимися глазами.

— Вы... не смеете так, — прошептал он. — Я маме скажу.

И опять заговорил Берегов железным голосом, и лицо у него было железное, твердое:

— Вот что, дорогой мой... ты уже не такой младенец, чтобы не понимать. Вот тебе мой сказ: пока ты будешь делать все по-моему, я с тобой буду в дружеских отношениях, во мне ты найдешь приятеля... Без толку я тебя не обижу... Но! если! только! позволишь! себе! одну! из твоих! штук! — Я! спущу! с тебя! шкуру! и засуну! эту шкуру! тебе в рот! Чтобы ты не орал!

«Врешь, — подумал Кися, — запугиваешь. А подниму крик, да сбегутся соседи — тебе же хуже будет».

Рот Киси скривился самым предостерегающим образом. Так первые редкие капли дождя на крыше предвещают тяжелый обильный ливень.

Действительно, непосредственно за этим Кися упал на ковер и, колотя по нему ногами, завизжал самым первоклассным по силе и пронзительности манером...

Серьезность положения придала ему новые силы и новую изощренность.

Берегов вскочил, поднял, как перышко, Кисю, заткнул отверстие рот носовым платком и, скрутив Кисе назад руки, прогремел над ним:

— Ты знаешь, что визг неприятен, и поэтому работаешь, главным образом, этим номером. Но у меня есть свой номер: я затыкаю тебе рот, связываю руки-ноги и кладу на диван. Теперь: в тот момент, как ты кивнешь головой, я пойму, что ты больше визжать не будешь, и сейчас же развяжу тебя. Но если это будет с твоей стороны подвох и ты снова заорешь — пеняй на себя. Снова скручу, заткну рот и продержу так — час. Понимаешь? Час по моим часам — это очень много.

С невыразимым ужасом глядел Кися на своего строгого воспитателя. Потом промывчал что-то и кивнул головой.

— Сдаешься, значит? Развязываю.

Испуганный, истерзанный и измятый, Кися молча отошел в угол и сел на кончик стула.

— Вообще, Кися, — начал Берегов, и железо исчезло в его голосе, дав место чему-то среднему между сотовым медом и лебяжьим пухом. — Вообще, Кися, я думаю, что ты не такой уж плохой мальчик, и мы с тобой поладим. А теперь бери книжку, и мы займемся складами...

— Я не знаю, где книжка, — угрюмо сказал Кися.

— Нет, ты знаешь, где она.

— А я не знаю!

— Кися!!!

Снова загремело железо, и снова прорвалась плотина, и хлынул нечеловеческий визг Киси, старающегося повернуть отверстый рот в ту сторону, где предполагались сердобольные квартиранты.

Кричал он секунды три-четыре.

Снова Берегов заткнул ему рот, перевязал его, кроме того, платком и, закатав извивающееся тело в небольшой текинский ковер, поднял упакованного таким образом мальчика.

— Видишь ли, — обратился он к нему. — Я с тобой говорил, как с человеком, а ты относишься ко мне, как свинья. Поэтому я сейчас отнесу тебя в ванную, положу там на полчаса и уйду. На свободе ты можешь размышлять, что тебе выгоднее — враждовать со мной или слушаться. Ну вот. Тут тепло и безвредно. Лежи.

IV

Когда, полчаса спустя, Берегов распаковывал молчащего Кисю, тот сделал над собой усилие и, подняв страдальческие глаза, спросил:

— Вы меня, вероятно, убьете?

— Нет, что ты. Заметь — пока ты ничего дурного не делаешь, и я ничего дурного не делаю... Но если ты еще раз закричишь, я снова заткну тебе рот и закатаю в ковер — и так всякий раз. Уж я, брат, такой человек!

Перед сном пили чай и ужинали.

— Кушай, — сказал Берегов самым доброжелательным тоном. — Вот котлеты, вот сардины.

— Я не могу есть котлет, — сказал Кися. — Они пахнут мылом.

— Неправда. А впрочем, ешь сардины.

— И сардины не могу есть, они какие-то плоские...

— Эх ты, — потрепал его по плечу Берегов. — Скажи просто, что есть не хочешь.

— Нет, хочу. Я бы съел яичницу и хлеб с вареньем.

— Не получишь! (Снова это железо в голосе. Кися стал вздрагивать, когда оно лязгало.) Если ты не хочешь есть, не стану тебя упрашивать. Проголодаешься — съешь. Я тут все оставлю до утра на столе. А теперь пойдем спать.

— Я боюсь спать один в комнате.

— Чепуха. Моя комната рядом: можно открыть дверь. А если начнешь капризничать — снова в ванную! Там, брат, страшнее.

— А если я маме потом скажу, что вы со мною делаете...

— Что ж, говори. Я найду себе тогда другое место.

Кися свесил голову на грудь и молча побрел в свою комнату.

V

Утром, когда Берегов вышел в столовую, он увидел Кисю, сидящего за столом и с видом молодого волчонка пожирающего холодные котлеты и сардины.

— Вкусно?

Кися промычал что-то набитым ртом.

— Чудак ты! Я ж тебе говорил. Просто ты вчера не был голоден. Ты, вообще, меня слушайся — я всегда говорю правду и все знаю. Поел? А теперь принеси книжку, будем учить склады.

Кися принес книжку, развернул ее, прислонился к плечу Берегова и погрузился в пучину науки.

.....

— Ну вот, молодцом. На сегодня довольно. А теперь отдохнем. И знаешь как? Я тебе нарисую картинку...

Глаза Киси сверкнули.

— Как... картинку...

— Очень, брат, просто. У меня есть краски и прочее. Нарисую, что хочешь, — дом, лошадь с экипажем, лес, а потом подарю тебе. Сделаем рамку и повесим в твоей комнате.

— Ну, скорей! А где краски?

— В моей комнате. Я принесу.

— Да зачем вы, я сам. Вы сидите. Сам сбегая. Это действительно здорово!

VI

Прошла неделя со времени отъезда Талалаевых в Харьков.

Ясным солнечным днем Берегов и Кися сидели в городском сквере и ели из бумажной коробочки пирожки с говядиной.

— Я вам, Георгий Иванович, за свою половину пирожков отдам, — сказал Кися. — У меня рубль есть дома.

— Ну, вот еще глупости. У меня больше есть. Я тебя угощаю. Лучше мы на этот рубль купим книжку, и я тебе почитаю.

— Вот это здорово!

— Только надо успеть прочесть до приезда папы и мамы.

— А разве они мешают?

— Не то что мешают. Но мне придется уйти, когда мама узнает, что я тебя в ковер закатывал, морил голодом.

— А откуда она узнает? — с тайным ужасом спросил Кися.

— Ты же говорил тогда, что сам скажешь...

И тонкий, как серебро, голосок прозвенел в потеплевшем воздухе:

— С ума я сошел, что ли?!

II. БЕРЕГОВ И КАШИЦЫН

К инженеру Берегову зашел знакомый — Иван Иванович. Посидел немного, покурил, а потом спросил:

— Кашицын — приятель вам?

— Приятель.

— Погибает.

- Чепуха. От чего Кашицыну погибать?..
- От глупости.
- Вы были у него?
- Вчера. Целыми днями валяется в постели нечесаный, а в комнате кругом — выгребная яма.
- У Кашицына?
- У него.
- Не может быть. У вас, наверное, вчера был тиф, и вам почудилось.
- Глупости! Вчера был тиф, а сегодня куда он девался?
- Да, это, конечно... резонно. Надо будет сходить к нему.
- Сходите, сходите.

* * *

Стук в дверь.

- Кашицын, можно к вам?
- А зачем?
- Приветливо, нечего сказать.
- Ну, входите уж. Подавитесь моей благосклонностью.

Берегов вошел в большую комнату, меблированную двумя столами, креслами и диваном. В углу стояла кровать с грязными подушками, а на кровати лежал в брюках и ночной сорочке сам хозяин Кашицын...

На всем, включая и хозяина, был значительный налет пыли, грязи и запустения. Преддиванный стол, покрытый бывшей белой скатертью, украшался разбитым стаканом с высохшими остатками чаю, коробкой из-под сардинок, набитой окурками, отекшей свечой, приклеенной прямо к скатерти, и огрызком копченой колбасы, напоминающей отрубленный зад крысы. Этому сходству способствовал кусочек веревки на спинке огрызка, очень похожий издали на крысиный хвост. Всюду валялись объедки окаменелого хлеба, крошки и пепел, пепел — в ужащающем количестве пепел, — будто хозяин был одним из редких счастливых, дешево отделавшихся при гибели Геркуланума.

Воздух в комнате висел каким-то сплошным плотным покровом, насыщенным старым табачным дымом и всеми миазмами непрветриваемой комнаты.

Берегов огляделся, сбросил со стула старую запыленную газету, грязный воротничок и, усевшись против лежащего хозяина, долго и пристально глядел на его угрюмое, заросшее, щетинистое лицо.

Так они с минуту молча глядели друг на друга.

— Хорош. — укоризненно сказал Берегов.

— Да-с

— Глядеть тошно.

— А вы отвернитесь.

Берегов прошелся по комнате и, энергично повернувшись к Кашицыну, спросил в упор:

— Что с вами случилось?

Кашицын ответил бесцветным, полинявшим голосом:

— Настроение плохое.

— Только?

— А то что же.

— Сегодня обедали?

— А то как же?

— Вот таким крысиным огрызком?

— Что вы! Мне каждый день приносят из ресторана.

— Гм... ну, ладно. Вы меня чаем угостите?

— Чаем... это бы можно, да дело в том, что сахара нет.

То есть не у меня, а в нашей проклятой мелочной лавочке. Я уже посылал, говорят, только завтра будет.

— Ну, Бог с ним! Вы знаете, какое число?

— 18-е, что ли?

— 24-е, пустынный вы анафемский — 24 декабря!!! Завтра Рождество, понимаете?

— Да неужели, — пробормотал хозяин, но смысл слов не вязался с тоном, ленивым и безразличным.

— Ну, довольно мямлить! Первым долгом, как зовут вашу рабыню?

— Горничную? Устя.

— Устя-я-я! — диким голосом заорал Берегов, приоткрыв дверь. — Пойди сюда, Устя; здравствуй, Устя. Какая ты красавица, Устя... Пошлет же Господь... Устя, сходи и немедленно же приведи парикмахера.

— Постойте, — привскочил Кашицын. — Зачем парикмахера?!

— Ну можно ли быть таким недогадливым...

— Послушайте, Берегов, — зашептал Кашицын, склонив к своему рту ухо Берегова. — Лучше не надо парикмахера.

— Почему?

— Да так. Он тут еще что-нибудь разобьет, беспорядок наделает.

— Тут? Вот тут? В этой комнате?! Кашицын... Не надо вилить. В чем дело?

— Дело в том, что ведь ему рублей пять платить надо, а у меня...

— Пять? Рубль его обеспечит на все праздники.

— Да дело в том, что...

— Ну?

— У меня и рубля нет!!!

Он упал на подушку и стыдливо зарылся в нее головой.

— Устя-я-я! У тебя поразительный цвет лица и вообще фигура... сходи за парикмахером.

— Да черт с ним, — слабо запротестовал Кашицын, выглядывая из-за угла подушки.

Берегов пожал плечами и, молчаливо подойдя к окну, открыл обе форточки.

— Ой, холодно! — завопил хозяин.

— Что вы говорите! Вот не подозревал. А помните, я в мае открывал эту же форточку и тогда не было холодно. Вы помните май, Кашицын? Помните, я у вас был в гостях... Это было 7 месяцев тому назад... Помните, вы тогда пришли домой возбужденный и стали выбрасывать из всех карманов деньги... Тысячу рублей, еще тысячу, пачку в пять тысяч, еще такую же пачку. Что-то, помнится мне, всего было около 15 тысяч?!

— Да, около этого, — прогудел в подушку хозяин...

— Помнится, тогда же вы послали Устю за каким-то особенным портным и заказали ему всякой чепухи тысячи на полторы... вы позвонили в экипажное заведение и наняли себе месячный экипаж, вы...

— Да, я это все помню, — перебил хозяин с легким нетерпением. — Теперь, если бы у меня была одна десятая, сотая этих денег, я бы уже не был таким дураком.

— Это меня радует, — сказал Берегов, глядя на него загадочными глазами. — Вы сделались мудры... А вот и парикмахер! Устя! Умыться барину! Чистую сорочку, Устя!

Такая красивая женщина, как вы, не может не быть доброй. О, не смейтесь так увлекательно, а закройте лучше форточку. Так... Теперь эту скатерть со всем, что на ней, — к черту! Пока барина бреют, принесите свежую, накройте стол, перемените наволочки, приберите постель и затопите печь... Когда барина постригут и побреют, подметите пол, сотрите со всего пыль и наладьте нам самоварчик. Устя, да что вы, в самом деле, делаете, что у вас такой чудесный цвет лица? Ничего? Поразительно. Ну, действуйте!

Когда Устя, сметая со стола, взялась за знаменитый огрызок колбасы, напоминавший заднюю часть крысы, Кашицын поглядел на происходящее испуганными глазами и уже раскрыл рот с целью протеста, но парикмахер пригрозил:

— Не шевелитесь, а то обрежу.

* * *

Через полчаса чистенький, умытый и переодетый Кашицын сидел за самоваром против Берегова, жадно прихлебывал горячий чай и в одну из пауз, окинув взглядом комнату, засмеялся и сказал:

— А действительно, точно праздник. Чего вы молчите?

— А уж не знаю, — усмехнулся Берегов, — каяться мне перед вами или нет? Духу не хватает.

— В чем каяться?

— Скажите: у вас сейчас денег совсем нет?

— Есть. Четыре копейки.

— А какая сумма вас устроила бы?..

— Да мне бы рубликов двести. Прожил бы я скромненько праздники, а после Крещения — приискал бы и место. Господи! Ведь я три языка знаю, коммерческую корреспонденцию могу вести, уж не такое же я чудовище, в самом деле...

— Двести рублей, — задумчиво повторил Берегов.

— У вас я не возьму, — сказал, нахмурившись, Кашицын. — Я знаю, вы живете в обрез...

— В обрез, — усмехнулся Берегов. — А вы знаете, я вас обокрал.

— Что?!

— Скажите, вы хорошо помните последнее наше свидание в этой комнате?

— В мае? Помню.

— Вы пришли тогда от нотариуса с этим дурацким наследством, и деньги, как я уже говорил, торчали у вас нелепо, не по-деловому, изо всех карманов... Помните?

Кашицын усмехнулся.

— Теперь, если у вас память хорошая, вы должны вспомнить и последующее: сняв пальто, вы стали выгружать деньги: часть бросили на комод, тысяч десять сунули в комод, пачку положили в боковой карман, а кроме того, у вас было всюду понатыкано: и в жилетных карманах, и в брючных. И вы даже не заметили, как из жилетного кармана упала на пол двадцатипятирублевая бумажка. Хе-хе. Я ее поднял, конечно. Теперь — помните, когда я уходил, я вам передавал что-нибудь?

— Да... да, кажется, помню. Запечатанный конверт. И прошили запереть в шкатулку до вашего востребования.

— Верно. Так слушайте: когда вы пошли к телефону насчет месячного экипажа и оставили меня одного, я открыл ящик комода, вынул из ящика одну пятисотрублевку, приложил к ней поднятые на полу и, запечатав в конверт, передал вам.

Изумленный хозяин привстал с места.

— За... чем же вы это сделали?

— Из симпатии к вам. Я ведь видел, что при вашем отношении к деньгам их вам ненадолго хватит. И был уверен, что пересчитывать не будете. Теперь-то вы, кажется, исправились?

— Да ведь конверт этот до сих пор в шкатулке валяется, — ахнул хозяин.

— Ну вот и пользуйтесь краденым, — усмехнулся Берегов.

— Георгий Иваныч, милый... Да ведь это что ж такое!! Ведь я спасен! Я возрожден. Где этот конверт?.. Вот! Глядите — вот он!! Одна бумажка и другая... Пятьсот двадцать пять рублей! Ну, я вас нынче так не отпущу. Не-ет... Мы встретим праздничек... Устя-я! Устя! Пойди к хозяйке и заплати ей за месяц...

— За два, красавица, — крикнул Берегов.

— Что? Ну, за два, так за два... Деньжищ-то все равно уйма... Потом, Устя! Сходи к Сидорову, купи там ты вот чего... гм!.. Окорок ветчины, телятинки купи, икорки паюсной...

впрочем, можно и свежей. Ну, сардин, колбасы, конечно... фруктов. Да постой! Вот тебе записочка с адресом. По этой записке дадут тебе вина красного и белого... да и что уж там толковать... возьми парочку шипучего...

Хозяин совсем оживился; он чуть не прыгал на месте, потирал руки, причмокивал, смеялся, и глаза его блистали, как алмазы...

Подперши голову руками, молча сидел Берегов и глядел, глядел на хозяина, не сводя глаз.

* * *

Весь стол был уставлен бутылками, стаканами и тарелками с закуской...

Хозяин смеялся, подмигивал и трепал приятеля по плечу.

— Вот это праздник, я понимаю! Комната чистенькая, свежая, всего вдоволь...

И вдруг вскочил хозяин, как ужаленный.

— Что с вами? — испугался Берегов.

— Вспомнил... Скажите, магазины еще не заперты?

— Нет, нынче до одиннадцати.

— Ну, слава Богу. Чуть не забыл. Ведь у меня нет ни капли: ни одеколону, ни духов...

— Да, это, конечно, большой удар.

— Смейтесь, смейтесь. А я все-таки пойду сейчас, позвоню по телефону, чтобы прислали...

Он резво выскочил из комнаты.

Оставшись один, Берегов разгладил усы, подошел к комоду, на котором лежала принесенная Устей сдача, вынул из кучи скомканных бумажек пятьдесят рублей, открыл крышку шкатулки и всунул деньги в пачку каких-то старых пожелтевших писем.

Когда хозяин вернулся, Берегов сидел у стола, задумчиво прихлебывая из бокала вино...

— Кашицын, — сказал он, улыбаясь печально и ласково, — а не поступите ли вы и с этими деньгами так, как с теми пятнадцатью тысячами?

— Что вы, что вы, — кричал Кашицын, заливаясь смехом, — нет уж, знаете, я, спасибо, поумнел с тех пор. Да! Какая удача! В том магазине, где одеколон, оказались и ан-

глийские галстуки... Я велел себе прислать штучки три..
Все-таки, как-никак, такой праздник!!! Как вы думаете?

.....

— Месяца через полтора я к вам зайду, — уклончиво ответил Берегов.

III. ЛОШАДИНОЕ СРЕДСТВО

— Вот сигара. Вот спички. Вот вино. Курите, пейте и слушайте.

Инженер Берегов сказал:

— Ваш торжественный вид и тон меня пугают. Зачем вам вздумалось поднять меня с постели в час ночи и притащить к себе? Что случилось? Похоже, будто вы собираетесь делать предсмертное завещание.

— Берегов! Знаете, зачем я вас позвал ночью к себе? Потому что вы человек без предрассудков.

— Это верно.

— И что вы серьезно можете отнестись к тому, что вам серьезно скажут.

— И это верно.

— И вы не будете хныкать и плакать, а примете всякое известие, как мужчина.

— И это верно.

— Ну, так вот, милый, спокойный, рассудительный Берегов: я решил умереть.

— Гм!

— Вы, кажется, сказали: гм! Это что — возражение?

— Нет, так просто. Это громкое выражение тихого размышления.

— А каким образом вы размышляете?

— Думаю я сейчас так: вот человек, который, очевидно, твердо решил покончить счеты с жизнью. Отговаривать его было бы смешно, глупо и бесполезно..

— О, Берегов! Как вы все понимаете и как с вами легко, — воскликнул хозяин, пожимая руку невозмутимого

гостя. — Вы сразу учуяли всю железную решимость мою, всю невозвратность.

— Еще бы. Это сразу видно. Теперь выкладывайте, что вам нужно от меня?

— Помнится, вы говорили мне, что у вас есть яд, купленный вами у спившегося фармацевта. И будто яд этот убивает быстро и без боли.

— Есть. Верно.

— И вы... могли бы дать мне его?

— Да. Отчего же?

— Вы истинный друг, Берегов!

— Ну?..

— Можете завтра утром... прислать?

— Могу. Теперь все?

— Все. Но вы все-таки удивительный человек... Поразительный! Другой бы пытался уговаривать, просил бы, хныкал...

Берегов пронзительно взглянул на хозяина:

— А может быть, вы хотели бы в глубине души, чтобы я... вас... отговорил?..

— Боже сохрани вас! Что решено, то решено. Поглядите в мои глаза... Видите? Можно отговорить такого человека?

— Нет. Не стоит и пытаться.

— Спасибо, Берегов.

Берегов закурил сигару, откинувшись на спинку дивана. Взглянул перед собой. Проямлил:

— А чудесная картина у вас эта... Куинджи?

— Да. Я ее очень любил.

— Надо будет захватить ее с собою, когда пойду домой.

— Как... захватить?

— Да так, возьму. Ведь у вас наследников нет?

— Нет, — усмехнулся хозяин. — Выморочное наследство.

— Ну вот я и возьму. Можно?

— Берите. На что она мне, если завтра утром я уже буду куском мертвой говядины.

— Конечно. Я и письменный прибор возьму. Хотя у меня комнатка не ахти какая, а все-таки прибор пусть себе красуется. Это яшма?

— Яшма.

— Возьму. Хорошие сигары... А позвольте их... я возьму всю коробку, а вам до утра оставлю штук пять... Хватит?

Хозяин бледно улыбнулся.

— С избытком.

— Спасибо. Кстати уж и портсигар возьму. Благо монограммы наши сходятся: вы — Билевич, я — Берегов.

— Позвольте... Портсигар этот для меня память...

— Ну так что же? В гроб же с собой не положите?..

— Так-то оно так. Это ведь золотой портсигар. Четыреста рублей стоит.

— Гарно, как говорят хохлы.

Помолчали.

— Яд как думаете принять, — с любопытством спросил Берегов. — Лежа в постели или так, сидя за столом?

— Бог знает, какие вы вопросы задаете, — недовольно заметил Билевич. — Будто вам не все равно.

— Действительно, — заметил Берегов. — К чему я это спросил? Так просто, язык повернулся. А вы знаете, как его принимать?

— Кого?

— Яд.

— Нет. А разве есть особый способ?

— Да. Наименьше мучений. Разбавить на две трети водой и выпить залпом. Сейчас же свалитесь, как подкошенный.

— Спасибо.

— Не стоит.

— Может быть, поговорим о чем-нибудь другом?

— Неужели вам так неприятно? А по-моему, если уж решили, так все равно.

Берегов посидел, покурил, потом встал и неторопливо запустил руку в боковой карман хозяина.

— Что вы это?!

— А? Деньги. Хочу поглядеть, много ли у вас денег.

— Какой вы странный!.. Для чего вам это?

— Взять их хочу.

— Так не сейчас же, Господи!!!

— Вы нервничаете. Это плохо. Почему не сейчас? Ведь вам до завтра ничего не понадобится. Сколько здесь? 800? Смачно, как говорят хохлы. Кольцо дайте тоже. Все равно завтра сторож анатомического театра свистнет. Лучше уж мне!

— Послушайте, Берегов... Меня немного удивляет ваша... ваша... хладнокровие... И простота, с которой вы...

— Ну вот! Давеча сам же восхищался, что я человек без предрассудков, а теперь ему 800 рублей жалко...

— Мне не жалко, а только... неприятно.

— Ну, хорошо. Не буду, не буду. О чем же с вами говорить? Вот на будущей неделе премьеры в опере — вам это уже неинтересно?

— Почему неинтересно?

— Да ведь завтра утром скапуститесь, как говорят хохлы, — чего ж вам...

— Вы циник, Берегов.

— Не был бы циником, не получили бы от меня яду... А то ведь я такой человек: «Дай!» — «На». Вот я какой человек.

— Да довольно вам об этом яде!..

— Спокойно! Не надо нервничать. Поговорим о другом... Хорошая у вас квартирка. Сколько платите?

— Полтора ста.

— По третям?

— Нет, по полугодиям.

— Давно платили?

— В прошлом месяце. Я вперед плачу.

— Билевич! Идея. Ведь я, несчастный, сирый бобыль, могу устроиться, как князь. Передайте мне контракт. Я поселюсь в этой квартирке.

— Пожалуйста, — кисло сказал хозяин.

— Вот спасибо! Чудесно заживу! Кабинет я так и оставлю, гостиную сдам кому-нибудь, а из той пустой комнатки устрою чудо какой уголок!! Вот те оттоманки поставлю углом, тут у меня будет тумба, всюду разбросаю подушки, а под ноги перетащу вашего белого медведя.

— Вы... и с обстановкой хотите взять мою квартиру?

— Ну а как же? Ведь не всунуть же ее вам в гроб!.. Ведь это что за жизнь будет! Ведь у вас библиотека — сердце радуется! До тысячи книг будет?

— Около полуторы тысячи.

— Чудесно! Буду валяться на оттоманке, читать Дюма или там Чехова, что ли, потягивать винцо... Да, кстати! Погреб-то у вас в порядке?

— Шампанского мало. А так красного, мадеры старой, венгерского — штук восемьсот наберется.

— Билевич, милый! Я вас расцеловать готов за все, что вы для меня делаете. Получаю квартиру, дешевенький погреб, библиотеку — за что? За бутылочку беловатой жидкости!!..

— Хорошо... Только теперь вы оставьте меня, — угрюмо, глядя куда-то вбок, пробормотал хозяин.

— Конечно, конечно. Только последняя просьба: сядьте вот сюда за письменный столик и пишите: «За проданную инженеру Берегову мою квартирную обстановку и переданный контракт семь тысяч получено наличными». Поняли? Это чтобы придинок не было...

— Мне противна ваша деловитость... в такие минуты.

— Чудак вы! Вам-то хорошо: выпили флакончик — и готово, а у меня-то вся жизнь впереди. Надо же устроиваться! Это персидский ковер?

— Персидский.

— Приятно. Только вы знаете что? Я ведь точно не знаю действия своей этой микстуры... Вдруг с вами перед смертью рвота случится...

— Ну?

— Ковер мне можете испортить. Послушайте, Билевич, голубчик, что я вас попрошу... ну не делайте такого лица! Вам ведь все равно...

— Что вам еще от меня надо!

— Травитесь не дома... хорошо? Ей-Богу же, вам безразлично, а мне меньше хлопот. Подумайте, как будет мило: на одном конце города поднимают мертвого человека Билевича, продавшего свою квартиру и всякие земные блага инженеру Берегову; на другом конце города инженер Берегов входит в чистенькую устроенную квартирку и начинает в ней жить, как король... Инженер лежит на теплой оттоманочке, читает Дюма, курит сигару, мертвого человека поднимают, везут в покойницкую...

— К дьяволу покойницкие, — вскричал, скрежеща зубами и утирая мокрый лоб, Билевич. — Я умру дома!

— Да ведь в покойницкую все равно стащат... Раз самоубийца — резать должны. Что, дескать, и как? Що воно таке, как говорят хохлы. Да разве вам не все равно? Я буду в вашей квартирке пить ваше вино, спать на вашей мягкой постели, любоваться вашими картинами, а вы, голый, с номером на ноге, будете лежать в сырой мертвецкой около зеленого

от времени мальчишки с отрезанной головой и ободранного безымянного пьяницы, издохшего от белой горячки. Ведь вам уже будет все равно! У вас красивое тело, широкая грудь и мускулистые белые руки — но вам, мертвому, синему, будет уже это все равно!.. К вам на квартиру по инерции забежит одна из ваших дам, и, может быть, я уговорю ее остаться со мной — но ведь вам уже будет все равно!

— Вы не смеее этого делать!!

— Но ведь это капризы! Ведь вам уже будет все равно!!

— Не все равно мне это, чтоб вас черти побрали!! — истерически закричал хозяин. — Вы не смеее меня грабить! Вы не смеее считать деньги в моем бумажнике и... и...

— Однако раз вы решили отравиться...

— Не смейте мне этого говорить! Я решил умереть, я же могу решить и остаться живым! Никому я не обязан давать отчета! А-а! Вы уже распределили мою квартиру по-своему, переставили мебель, пересчитали мои деньги — так вот же вам! Не надо мне вашего яда! Я буду жить! А вы — уходите отсюда! Сию минуту, слышите?!

* * *

Была черная глухая ночь... Фонари в этой части города почти не горели, и Берегову приходилось то и дело отыскивать увязшие в лужах липкой глины калоши.

Падал резкий, холодный дождик, будто небо отплеывалось, съев что-то невкусное.

Несмотря на это, Берегов шагал по грязи довольно бодро, и только раз приостановившись, чтобы извлечь из расщелины деревянного тротуара калошу, засмеялся и сказал вслух:

— Экой дьявол! Первый раз вижу такого больного, который спускает с лестницы врача, спасшего его от смерти.

IV. СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ БЕРЕГОВА

Помявшись немного, разгладив белой пухлой рукой рыжие усы и побарабанив пальцами по ручке кресла, Симакович наконец решил:

— Скажи: считаешь ли ты меня своим другом?

Хозяин кабинета, в котором происходил разговор, — инженер Берегов пожал незаметно плечами и отвечал безо всякого колебания:

— Конечно, считаю.

— Ну вот, — волнуясь, продолжал гость. — Как друг, я должен тебя предупредить: о твоих отношениях к Марье Антоновне Лимоновой говорит весь город.

— Ну-с?

— Того и гляди дойдет до жены.

— Едва ли, — хладнокровно улыбнулся инженер Берегов. — Моя жена нигде не бывает.

— О, милый друг! Ты забываешь об анонимных письмах. Не было еще случая, чтобы услужливые друзья не прибегли к этому простому и удобному способу. Анонимное письмо, анонимное сообщение по телефону — держу пари, что это случится не сегодня завтра. Слишком уж вы оба мозолите всем глаза.

Берегов закусил зубами костяной ножик для разрезывания книг и сказал задумчиво:

— Ну, хорошо. Я приму свои меры.

В тот же день вечером Берегов, сидя за письменным столом, писал на сером листке оберточной бумаги прямыми печатными буквами следующее послание:

«Дорогая госпожа Берегова! Я вовсе не поклонник разврата и поэтому как друг должен предупредить вас, что ваш муж изменяет вам. Конечно, вы можете не поверить анонимному письму, но мои слова легко проверить: в день получения этого письма вечером ваш муж уйдет якобы к своему другу Симаковичу, на самом же деле пойдет на Харьковскую, седьмой номер, где живет «она». Можете его проследить и накрыть. Ваш доброжелатель».

Написав письмо, Берегов аккуратно запечатал его, написал печатными буквами адрес и, выйдя на улицу, опустил в ближайший ящик.

Был скучный дождливый вечер.

Закутавшись в халат и покрыв ноги пледом, Берегов лежал в кабинете на диване и мирно читал что-то очень сухое по своей специальности — об однопролетных балках.

Скрипнула дверь, и спокойное, холодное лицо жены заглянуло в кабинет.

— Как? Ты дома?

— Ну конечно, — ласково отвечал Берегов. — Входи.

— Ты разве никуда не собираешься?

— Никуда. А что?

Жена присела на краешек дивана, на котором лежал Берегов, и, помолчав, сказала неуверенно:

— Мне показалось, что ты сегодня собираешься к Симаковичу?

— Ничего подобного. И в мыслях не имел.

— Значит, ты из дому не выйдешь?

— Не собирался. Но если тебе куда-нибудь надо — могу сопровождать.

Жена впиалась острым взглядом в задумчивое лицо Берегова и сказала значительно:

— Мне нужно на Харьковскую улицу!

И, помедлив, закончила тоном ниже:

— К портнихе.

— Добре. Если недолго, я подожду там, а потом вернемся вместе домой.

Жена вдруг заплакала.

— Послушай! Я скажу тебе правду: мне прислали анонимное письмо. Я сама не своя... Что мне делать? Я с ума схожу!

Берегов засвистал.

— Вот оно что! Ну, мы, знаешь ли, разные люди. Две недели тому назад я получил тоже анонимное письмо насчет тебя и, однако, что же? Я молчал.

Жена, как мячик, подпрыгнула на месте.

— Где оно? Покажи мне его! Это ложь!

— Ну конечно, ложь, — усмехнулся Берегов. — Я так к нему и отнесся. Получил его в конторе и бросил в ящик письменного стола безо всякого внимания. Если бы ты не сказала о своем письме, я бы о моем и не вспомнил.

— Ах, негодяи, негодяи! Что же они обо мне написали?

— Какой то «доброжелатель» сообщает, что ты находишься в близких отношениях с Симаковичем.

— Это ложь, ложь! Трижды ложь!

— Милая, чего ж ты волнуешься? Конечно, ложь! Кто же верит анонимным письмам?

Жена встала и с опущенной головой, пристыженная вышла из кабинета.

В этот вечер у инженера Берегова было больше работы, чем в предыдущий. По уходе жены он присел к столу и принялся прилежно выводить печатные буквы на листке почтовой бумаги:

«Господин инженер! Ваша супруга не прочь вам наставить рога и партнером себе избрала вашего же приятеля Симаковича. Вот тебе и приятели. Проследите их, потому что известные украшения носить никому не приятно. Ваш дружески настроенный доброжелатель».

Сунув это письмо в бумажник, Берегов принялся за другое:»

«Милостивая государыня! Ваш муж вас перехитрил и остался дома. Не верьте ему! Сегодня он взял два билета в оперу и будет *обязательно*, непременно — с ней! Со своей пассией! Заметьте: под каким-нибудь предлогом удерет из дому, а там, конечно, и опера. Для вас это будет плохая опера. Возьмите тайком себе тоже билет и накройте их. Доброжелатель».

На другой день за обедом Берегов неожиданно обратился к жене:

— А я тебе приготовил сюрприз...

— Какой? — спросила печально жена.

— Взял на сегодня билеты в оперу. Я знаю, что «Пиковая дама» — твоя любимая опера.

Жена вскочила растерянная.

— Сколько ты взял билетов?

— Конечно, два. Для тебя и для меня. А что?

— А я... я тоже взяла билет на сегодня.

— Зачем?

Жена заплакала, вынула из-за корсажа измятое письмо и протянула его Берегову.

— Ага... Вот оно что... И тебе не стыдно? Смотри! Вот то письмо, которое прислали мне относительно тебя. Разве я этому поверил? Придал значение? Стыдись!

Жена спрятала раскрасневшееся лицо на груди мужа и прошептала смущенно:

— Ты на меня не сердись? Нет? Ведь не виновата же я, что люблю тебя...

— Ну, Бог с тобой. Ты пока постарайся исправиться, а я пойду побреюсь. Надо к восьми.

Напевая что-то, Берегов сбежал с лестницы и, бодрый, энергичный, вышел на улицу.

В ближайшей парикмахерской побрился и завил усы. Потом вошел в телефонную будку, плотно притворил дверь и позвонил домой.

— Алло! — слышался голос жены. — Кто говорит?

— Послушайте, — прохрипел Берегов простуженным басом. — Ну что, купили билет?

— Кто это говорит?

— Ваш доброжелатель. Ваш муж сегодня обязательно будет с ней. Так уж вы не зевайте, хи-хи.

— Вы грязный подлец! — донеслось издали. — Оставьте нас с мужем в покое. Ваши письма я буду рвать, не читая.

«Так-то лучше», — пробормотал про себя Берегов, тихонько вешая трубку.

Два дня прошли благополучно.

А на третий за утренним чаем жене Берегова подали письмо.

Она распечатала его, пожала плечами, рассмеялась и, протягивая Берегову, сказала:

— Еще один экземпляр. Ну уж, я не такая дура. Даже читать не буду.

— И слава Богу, — усмехнулся Берегов, быстро пробега глазами письмо. В нем кто-то незнакомым почерком «ставил в известность госпожу Берегову», что муж ее сегодня вечером должен быть с Марьей Антоновной Лимоновой в «Аркадии»...

— Да-с, да-с, да-с, — рассеянно улыбнулся Берегов. — Много нынче всякой чепушенции пишут.

Порвал письмо на клочки и придвинул к себе свежий стакан чаю.

— Ты нынче что вечером делаешь? — спросила жена.

— В «Аркадии» буду ужинать. Сегодня начальника дороги чествуем.

— И прекрасно, — сказала жена, приглаживая его растрепавшиеся волосы. — А то ты совсем у меня заработался.

V. БЕРЕГОВ УСТРАИВАЕТСЯ ПО-СВОЕМУ

Был уже час ночи, когда инженер Берегов, войдя черным ходом в свою собственную квартиру, тихонько положил саквояж и чемодан в угол коридора, снял пальто, шляпу и затем неслышными шагами прокрался в спальню.

Спальня была освещена лишь слабым голубым светом маленькой ночной лампочки. Однако при этом свете можно было разобрать все: разбросанное по стульям и дивану мужское и женское платье, ботинки — весь тот милый беспорядок, который производится поспешностью и любовью.

На столе лежал котелок.

Инженер Берегов улыбнулся уголком рта, бесшумно поставил у самой кровати стул, опустился на него и, закурив папиросу, погрузился в ожидание.

Женская кудрявая головка, так тепло и доверчиво прильнувшая к мужскому плечу, вдруг зашевелилась, поднялась из волны кружевных подушек, и заспанные, еще туго понимающие глазки бессмысленно взглянули на спокойную фигуру, сидевшую на стуле у кровати.

Раздался подавленный крик — и женская головка снова упала на плечо безмятежно спавшего человека.

— Коля!.. Проснись же... Он вернулся... Сидит на стуле.

— А? Что такое? Где такое?..

Спавший мужчина тоже поднял голову, тоже бессмысленно оглянулся по сторонам и вдруг, пробудившись, как от электрического удара, бессильно откинулся на подушки.

Инженер Берегов еще раз затянулся папиросой, выпустил витиеватый клуб дыма и обернулся к кровати.

— Проснулись? — спокойно приветствовал он лежащих. — А я тут уже папиросу выкурил...

— Послушайте... — сдвинув брови, сказал лежавший мужчина. — Если вы джентльмен, то вы сами понимаете...

— А, это вы, Николай Иванович? — воскликнул Берегов. Я, было, вас и не узнал сначала. Тень от подушки падала. Здравствуйте.

Кивнул головой очень приветливо.

— Послушайте, Берегов! Вы меня можете убить, но издевательств над собой я не потерплю!..

— Вот тебе раз! — поднял брови инженер Берегов. — Да разве я издеваюсь? Сажу себе спокойно на стуле, курю папироску...

— Выйдите в другую комнату и дайте мне одеться.

— Милый мой! Зачем такие церемонии? Одевайтесь при мне.

— О, чч-ерт! Не можем же мы... если вы тут торчите!

— А почему? Вы, Николай Иванович, мужчина... Ведь в бане или на реке, если бы мы оба купались, вы ведь одевались бы при мне, даже не поведя ухом. Жена моя Соня... Чего ей меня стесняться? Ведь мы уже 6 лет как муж и жена. Она не должна меня стесняться.

— Чего вы от нас хотите? — закусывая губу, спросил Николай Иваныч.

Он, очевидно, смертельно страдал от всей этой глупой истории, но не видел из нее выхода, пока серенький пиджачный костюм — символ его мужского достоинства и чести — не облакал его тела.

— Чего вы от нас хотите?

— Я? Ничего не хочу. Чего мне от вас хотеть?

— Так не будете же вы сидеть у кровати целый час и курить свою дурацкую папиросу?!..

Жена, лежавшая до того, как мертвая, зашевелилась, подняла голову и, сверкая глазами, сказала:

— Ты следил, значит, за мною, как подлый шпион!! Красиво, нечего сказать. Ты лгун, самый последний лгун — слышишь ли? Солгал, что уезжаешь в Москву, устроил комедию с чемоданами и вернулся, чтобы уличить меня! Очень красиво! Достоинно подражания!.. Лжец и шпион!

— Ну, уж это извини, матушка, — полусмеясь, полусердито вскричал Берегов. — Мог я опоздать на пятичасовой поезд или нет? Мог! Мог я встретить на вокзале Замятина и Волкодавченко? Мог! Мог я поехать с ними в ресторан и отделаться от них только полчаса тому назад? Мог. Ага! Вот тебе и шпион. А после этого куда же мне было ехать. Конечно, домой.

— Ну, вот что, Берегов, — приподнявшись на одном локте, сказал Николай Иваныч. — Во всяком случае, я всегда к вашим услугам.

— А зачем мне ваши услуги?

— Ну так убейте меня, черт вас подери! Но тянуть жилы из себя я не позволю!..

— Ну вот, — печально улыбнулся инженер Берегов. — Теперь вы на меня начинаете кричать. То она, то — вы... Чем я перед вами провинился? Ну, опоздал на поезд. Так ведь это со всяким может случиться... Ну, явился после этого домой, а куда ж мне было идти — на утилизационный завод, что ли? Войдите в мое положение, что же мне было делать?

— На вас никто не кричит... Но дайте нам встать — тогда я буду говорить с вами.

— А разве вам так неудобно?

— Я не желаю быть в глупом положении.

— Ну хорошо... Теперь скажите вы мне: что бы я, по-вашему, должен был сделать, войдя в спальню и застав вас, ну... вдвоем. Что?

— Позвольте, я вовсе не обязан давать вам советы...

— Нет, Николай Иванович, так же нельзя! Вам не нравится моя манера держать себя при таком казусе — так укажите же, что я должен был сделать?

— Уж лучше бы вы сразу убили меня, — угрюмо пробормотал Николай Иванович, натягивая одеяло до самого подбородка.

— Или меня! — сверкнула глазами жена инженера Берегова. — Ведь вот я же неверная жена — что ж ты меня не убиваешь?

— А хотите, я буду с вами драться честно у барьера, — предложил Николай Иванович, поправляя сдвинувшуюся подушку.

— Тоже вы какой... А вдруг ухлопаете меня?

— Но ведь у нас шансы равны. И вы тоже можете, как вы выражаетесь, «ухлопать меня».

— Так-то оно так... Но если я буду с вами стреляться, у меня только 50 процентов на сто, что я останусь в живых. А если не буду стреляться — у меня все сто процентов на жизнь.

— Так убейте меня сейчас!!! — завопил Николай Иванович. — Уверяю вас, закон будет на вашей стороне! Вас оправдают.

— Ей-Богу, вы смешной народ, — с неудовольствием пробормотал Берегов, вынимая из портсигара новую па-

пиросу, — хотите?.. Не курите? Да, я забыл. Ну, так вот: смешите вы меня только — будто маленькие. Не такой же я дурак, в самом деле. Разберемся...

— Слушай, — сердито вскричала жена. — Если ты сейчас не уйдешь, я при тебе встану.

— Вставай.

— Вот не знала, что ты такой негодяй!

— Ну вот. Опять ругается. Итак, я говорю: разберемся. Начнем с вас, Николай Иванович... Вы уже в третий раз, как знаменитая сорока Якова, предлагаете одно и то же: убейте меня! За что я вас буду убивать? Вы думаете, я не вхожу в ваше положение? Вхожу. Что я для вас такое? Не больше как обыкновенный знакомый — здравствуй, прощай, — вот и все. Я не спасал вам жизнь, не пожертвовал для вас своим состоянием — что я вам? Нуль. Значит, вы не обязаны были заботиться обо мне. А тут встречается на вашем пути хорошенькая женщина (не красней, Соня, не скромничай); она неглупа, жизнерадостна, молода, красивое личико, очень недурно сложена — дурак вы, что ли, чтобы пройти мимо того, что на некоторое время может украсить вашу жизнь? Нет, вы не дурак! Никогда я этого не скажу! Не мог же бы я от вас требовать, чтобы вы, встретив мою жену и влюбившись в нее, сказали: «Э, не надо за ней ухаживать, нехорошо. Ведь у нее муж есть — за что же его обижать?» Первым дураком вы были бы, если бы так рассуждали... Значит, все случилось нормально. За что же мне вас убивать, Николай Иванович, ну, посудите сами?!

Берегов зажег потухшую папиросу и, разгладив усы, продолжал:

— Теперь перейдем к моей жене... Мы женаты уже 6 лет... Ведь не могу же я думать, что я самый лучший человек на свете... Я не такой самонадеянный дурак. Значит, есть на свете другие люди — лучше меня. Скажем, вы, например. Конечно, вы красивее меня, с вами просто веселее. Теперь выходит так, что, если бы я требовал от жены любви к себе, равнодушия к вам, я совершал бы над ее душой самое отвратительное насилие. Разве это благородно? А сейчас не могу же я убивать жену только за то, что у нее хороший вкус, что она предпочла вас мне?! Не могу же я поднять скандал, топтать ногами: я, мол, лучше Николая Ивановича,

не смей его целовать, целуй меня!! Ведь на свете не существует такой пробирной палаты, которая поставила бы на нас с вами бесспорную пробу. Все дело, значит, во взгляде жены. Ей виднее. Я, может быть, в душе огорчен ее выбором, но от этого до убийства молодого, полного сил и хорошего человека — далеко. Значит, и ее убивать нельзя.

— Что же делать теперь? — прошептала жена, слушающая с широко открытыми глазами спокойные рассуждения мужа.

— Ты это у меня спрашиваешь?

— Да!

— А я у вас обоих хотел об этом спросить...

Все трое помолчали.

— Господа, — прижимая руку к сердцу, снова заговорил Берегов, — будем же справедливы: ведь не я заварил всю эту кашу, а вы. По-моему, вы и должны найти выход.

Он откинулся на спинку стула и принялся хладнокровно разглядывать давно знакомый потолок.

— А чего бы ты хотел? — робко спросила жена.

— Я? — усмехнулся печально и кротко Берегов. — Что же я могу хотеть? Дело теперь приняло такой оборот, что разрешение его зависит не от одного человека, а от всех троих или, вернее, дело уже имеет свою внутреннюю логику и развитие, независимое от нас. Впрочем, если ты хочешь, я, как инженер, могу все привести в систему и сделать некоторые выводы. Что случилось? Берегов, опоздав на поезд, вернулся ночью домой и застал у жены в спальне молодого человека, Николая Ивановича.

Берегов настолько уважает свою жену, что ни одной минуты не допустит мысли, чтобы его жена приблизила к себе человека, которого не любит. Теперь: оттого что муж застал их вдвоем, жена не перестанет любить Николая Иваныча? Верно, не перестанет. Теперь: не захотят же оба — и жена и Николай Иваныч, — чтобы муж, Берегов, нелюбимый, уже посторонний жене, продолжал жить с ней, уходя из дому на то время, как Николай Иваныч будет приходить к любимой и любящей женщине? Вот и все. Теперь сделайте вывод...

— Я сделаю! — мужественно сказала жена. — Николай Иванович, вы меня не прогоните? Я сейчас же еду к вам!

— Не прогоню, — со вздохом сказал Николай Иванович.
— Вот, — кивнул головой Берегов, — вопрос разрешен. А теперь, так как с этой минуты Соня уже делается мне чужим человеком, я не имею права присутствовать при ее туалете и потому ухожу в кабинет. Прощайте!

Он пожал руку совершенно растерявшегося Николая Ивановича, поцеловал ручку жены и твердыми шагами вышел из спальни.

— Мы... уходим, — раздался через 20 минут неуверенный голос жены за дверью.

— Всего хорошего, — доброжелательно откликнулся Берегов. — Завтра я пришлю все ваши вещи, Софья Никитична.

Он прислушался к удалявшимся шагам, потом подошел к окну, прижался к нему лбом и, с трудом разглядев сквозь заплаканное стекло стоявший в стороне от подъезда автомобиль, поставил на подоконник лампу.

Темный автомобиль тоже на мгновение осветился изнутри, потом все погасло, потом из автомобиля выпрыгнула темная закутанная фигура, потом через минуту прозвенел звонок в передней, а еще через минуту красивая черноволосая женщина, еще не успев сбросить меховой шапочки и калош, лежала в объятиях Берегова.

— Готово? Все готово? — лихорадочно спрашивала она, и плача и смеясь в одно и то же время. — Я так за вас боялась.

— А чего ж за меня бояться? Вся сложная и трудная операция произведена безболезненно... Теперь вся квартира в твоём распоряжении.

— Заминок никаких не было?

— Нет. Все было рассчитано до последнего винтика...

— Ах ты, мой инженер прекрасный!

— Ну что ж, — засмеялся Берегов, — инженер так инженер... Теперь, значит, начнем новую постройку.

ОТЕЦ МАРЬИ МИХАЙЛОВНЫ

... А когда разговор перешел на другие темы, Гриняев сказал:

— Доброта и добро — не одно и то же.

— Почему? — возразил Капелюхин. — Доброта относится к добру так же, как телячья котлета к целому теленку. Другими словами: доброта — это маленький отросток добра.

— Ничего подобного, — в свою очередь возразила и Марья Михайловна. — Добро прекрасно, возвышенно, абсолютно и бесспорно, а доброта может быть вздорной, несправедливой, мелкой и односторонней.

— Не согласен! — замотал головой Капелюхин. — Добрый человек всегда и творит добро!..

— Хорошо, — перебил Гриняев. — В таком случае я приведу пример, из которого вы едва ли выпутаетесь... Скажем, путешествуете вы по какой-нибудь там пустыне Сахара со своими двумя детьми и со слугой... И вдруг оба ваших мальчика заболевают какой-нибудь туземной лихорадкой... У вашего слуги есть вполне достаточный для спасения жизни детей запас хины, но слуга вдруг уперся и ни за что не хочет отдать этого лекарства. Выхода у вас, конечно, только два: или убить слугу и этим спасти двоих детей, или махнуть на слугу рукой — и тогда дети ваши в мучениях умрут. Что бы вы сделали?..

— Я бы убила этого подлеца слугу и взяла бы его лекарство, — мужественно сказала Марья Михайловна.

— А вы, Капелюхин? — спросил Гринев. — Ведь пример-то сооружен для вас.

— Что бы сделал я? Ну, я бы пообещал слуге все свое состояние, пошел бы сам к нему слугой, стоял бы перед ним на коленях...

— Пример предполагает полную непреклонность слуги...

— Ну, тогда бы я... Да уж не знаю, что... Тогда бы я все предоставил воле Божьей. Значит, уж деткам моим так суждено, чтобы умереть...

— Но ведь если бы вы убили слугу и отняли у него лекарство — дети ваши выздоровели бы!.. При чем же тут «суждено»?

— Ну, я бы убежал в пустыню подальше и повесился бы там на первом дереве...

— А детей бросили бы больными, беспомощными, умирающими?

— Чего вы, собственно, от меня хотите? — нахмурившись огрызнулся Капелюхин...

— Я просто хочу доказать вам, что доброта и добро — вещи совершенно разные. Все то, что вы предполагали сделать в моем примере с вашими детьми, — это типичная доброта!

— Что же в таком случае добро?

— А вот... Человек, понимающий, что такое добро, рассуждал бы так: на одной чашке весов лежат две жизни, на другой — одна. Значит, колебаний никаких. И при этом одна жизнь — жизнь скверная, злая, эгоистическая, следовательно, для Божьего мира отрицательная. Она не нужна. Ценой ее нужно спасти две жизни, которые лучше, моложе и, следовательно, имеют большее право на существование...

— И вы бы... — с легким трепетом недоговорил Капелюхин.

— И я бы... Конечно! Преспокойно подкрался бы сзади к слуге, ткнул бы ему нож между лопаток, взял хину, вылечил детей, и на другой день бодрые, освеженные сном мы бы двинулись дальше.

— Ну, знаете ли...

— Почему вы возмущаетесь? Потому что вы обыкновенный добрый человек... А я человек не добрый, но координирующий все свои поступки с требованиями добра.

— И ничего бы у вас не дрогнуло, в то время как вы тыкали бы вашему слуге ножом в спину?!

— Ну, как сказать... Было бы неприятно, чувствовалась бы некоторая неловкость; но это — единственно от непривычки.

— Хорошее добро!.. Тьфу!

— Нечего вам плевать, добрый вы человек! Все дело в том, что я умею рассуждать, а вы весь во власти сердца и нервов...

* * *

Марья Михайловна все это время сидела, свернувшись калачиком на диване, и молчала.

А когда все замолчали, вдруг заговорила:

— Теперь Рождество. И вспоминается мне золотое детство и вспоминается мне то самое веселое и милое в моем детстве Рождество, когда у папы отнялись ноги и язык.

— У кого? — удивленно спросили все.

— У папы.

— У вашего?!!

- Не у римского же. Конечно, у моего.
- Ну, это гадость.
- Что?
- Говорить так об отце. Если бы даже он был тиран, зверь, и то нельзя так говорить о родном отце!..
- Он не был ни тираном, ни зверем.
- В таком случае, вы были скверной девчонкой?
- А вот я вам расскажу о своем отце, тогда и судите.

* * *

В будние дни отец все время был на службе и домой являлся только вечером, усталый, думающий лишь о постели.

Но перед праздниками, дня за два до Рождества, занятия у них прекращались и отец являлся домой часов в двенадцать дня — до 28 декабря.

Надевал халат и принимался бродить по всем комнатам.

— Мариша! — вдруг раздавался его тонкий не по росту и сложению голос. — Почему это тут в углу валяется бумажка?!

— Не знаю, барин...

— Ах, так-с. Вы не знаете? Интересно, кто же должен знать? На чьей это обязанности лежит: градского головы, брендмейстера или мещанского старосты? Значит, я должен убрать эту бумажку, да? Я у вас служу, да? Вы платите мне жалованье?

— Поехал, — слышался из другой комнаты голос старшей сестры.

До чуткого слуха отца долетало это слово.

— Ах, по-вашему, я «поехал», — бросался он в ту комнату, где сестра переписывала ноты. — Так-с. Это вы говорите отцу вашему или водовозу Никите? Тебя кто кормит, кто поит, кто обувает? Принц монакский, градской голова или брендмейстер? Ты что думаешь, что если учишься музыке, так выше всех? Отца можешь с грязью смешивать?

Из дверей выглядывала мать.

— Ну что ты пристал к девушке? Ей нужно к концерту готовиться, а ты жилы из нее выматываешь.

— Так-с. Мерси. Удостоился от супруги приветствия. Хм! Концерт... Что это еще за такие концерты-манцерты —

кому это нужно? Выйдет такая вот орясина и начнет глотку драть — и чего, и что, спрашивается? Дома лучше нужно сидеть, чем хвосты трепать...

Он плотно усаживался на стул, показывая всем своим видом, что осенний дождик зарядил надолго, и продолжал:

— Воображаю, что это там за концерты такие хромоногие. Придут полтора дурака, скучно, холодно... И чего, и что, спрашивается?.. Сидела бы ты дома и не рыпалась!

— Папа, — рыдала сестра. — Что тебе от меня надо?

— Это еще что — слезы? Нечего сказать — устроили праздничек! В кои веки собрался отдохнуть — на тебе! Могу уж поблагодарить...

Через комнату пробежал, стараясь проскользнуть бочком, братишка Костя.

— Ты куда? Куда? Почему в комнате в шапке? Это конюшня тебе? Так ты бы шел к лошадям, а тут люди... Куда ты идешь?

— К товарищу, — робко лепетал Костя, стараясь прошмыгнуть в дверь.

— Нет, стой!.. Что это еще за товарищи? Откуда? Знаю я этих товарищ ей: испортят костюм, запачкают всего, учебники порвут... А тебе учебники кто покупает — товарищи? Или, может быть, здешний градской голова или монакский король? И него, и что мальчишка по улицам шатается? Сиди дома и не рыпайся...

Плачут уже двое: старшая сестра и Костя.

— Так-с. Благодарности достойно! Отцу бесплатный концерт устроили. Отдохнул на праздничках!

Шел потом на кухню, запахиваясь в оранжевый халат и поджав нижнюю небритую губу.

— Окорок запекаете? А ну, покажи. Это вы так запекли? Хорошее дело... Ну, что же, будем на праздниках сырой окорок есть. Ничего... желудочки-то луженые — вытерпят.

— Где же он сырой? — нетерпеливо говорила мать. — С одной стороны совсем пригорел.

— Пригорел? Так-с. Впрочем, нам наплевать... конечно... ведь платил-то за окорок не я, а монакский посланник.

Теперь плакали уже четверо: к первым двум присоединились мать и кухарка.

.....

* * *

На Рождество зажигалась елка.

— Вот вам елка, — говорит отец, поджимая губы... — Помните, что она мне не даром досталась, и поэтому вы обязаны веселиться... Котька, не смей подходить к елке, серебряную цепь порвешь! А бусы! Кто бусы рассыпал?! Что-о? Сами рассыпались? То есть как это сами? Живые они, что ли? Или их рассыпал брандмейстер? Кто без меня подходил к елке, признавайтесь?! Кто отломал хвостик этой серебряной рыбке? Вы думаете, эта рыбка ни копейки не стоит? Монацкий посланник мне ее подарил? Так-то вам, паршивцам, устраивать елки? И я тоже — дурак: «деточек порадовать, елочку устроить»?! Осину нужно этим каторжникам, а не елку!.. Хм!.. Устроил! И чего, и что, спрашивается — бегал, хлопотал, деньги тратил... Сидел бы дома и не рыпался... Маруська — плакать? На елке плакать? Елка, значит, для того устраивается, чтобы на ней плакать? Хорошо-с... Так и запишем. И Котька ревет? Ладно же: вы мне устроили праздничек — я вам... В цирк вы нынче не пойдете!

— Да ведь билеты уже взяты! — говорила мать, хмурая нервное, хронически расстроенное лицо.

— Билеты можно продать. А то тоже... хм (отец усаживался довольно плотно на один из стульев). Выдумали разные цирки-мырки — кому это нужно? Какие-то дураки на лошадях скачут, другие смотрят. И чего и что, спрашивается? Сидите-ка дома и не рыпайтесь!

* * *

Мне было девять лет, когда однажды — это было перед Рождеством — отец кричал-кричал на Маришу, да вдруг ка-ак хлопнется на диван! Подскочили к нему, перенесли на кровать, а у него ноги отнялись и язык... Пришел доктор, успокоил мать, что все пройдет, а мать вышла к нам, говорит:

— Ну, дети, отца не беспокойте, он нездоров, а я вам елку сама нынчу устрою — увидите, как будет весело.

И действительно: никогда так весело и мило не было

Правда, отец пытался звать нас поочередно к себе и знаками показывать, что ему и то не нравится, и это не нравится.

Но знаками ничего не выходило. Пробовал он и записочки нам писать вроде: «Котьку на горы не пускать. Что это за горы такие еще... Пусть зря не рыпается». Но в записках уже не было того тягостного впечатления, того яда, какой получался в интонации слов. Написанные слова побледнели, потеряли краски, и мы относились к ним совершенно равнодушно... А в ядовитое мнение отца, что «порванный о гвоздь башлык я, вероятно, получила от градского головы», я просто завернула карамельки и пряник для дворницкого мальчишки.

Да! Чудесное было это Рождество.

* * *

— Все-таки жестоко и грустно все это, — вздохнул добряк Капелюхин. — Мог же бы кто-нибудь из вас пойти и посидеть около кровати отца. Вы-то... сидели или нет?

— Нет, — простодушно ответила Марья Михайловна. — Он бы извел меня. Да вы знаете, что он выдумал? Чтобы мы, дети, поочередно чистили ему ваксой башмаки... Во-первых, у нас была прислуга для этого, а во-вторых, он все равно лежал раздетый, и башмаки ему были не нужны.

— И вы чистили?

— Чистила. И однажды, помню, сидела одна на кухне, чистила-чистила тяжелый неуклюжий отцовский башмак да вдруг взяла его и поцеловала!

Она грустно улыбнулась, опустила голову и с забытой на губах улыбкой задумалась — вероятно, об отце.

И это было так не в тоне рассказа, так неожиданно, что все растерянно замолчали.

Надолго.

ПЫЛЕСОС

Все мы страдаем от дураков. Если бы вам когда-нибудь предложили на выбор: с кем вы желаете иметь дело — с дураком или мошенником? — смело выбирайте мошенника.

Против мошенника у вас есть собственная сообразительность, ум и такт, есть законы, которые вас защитят, есть

ваша хитрость, которую вы можете обратить против его хитрости. В конце концов, это честная, достойная борьба.

Но что может вас защитить против дурака? Никогда в предыдущую минуту вы не знаете, что он выкинет в последующую. Упадет ли он вам с крыши на голову, бросится ли под ноги, укусит ли вас, или заключит в объятия... — кто проникнет в тайны темной дурацкой психики?

— Мошенник — математика, повинующаяся известным законам, дурак — лотерея, которая никаким законам и системам не повинуетя.

Самый типичный дурак — это тот человек из детской хрестоматии, который зарезал курицу, несущую ему золотые яйца.

Все проиграли от этой комбинации: и курица, и ее владелец, и государство, на котором, конечно, отражается благосостояние ничтожнейшего из его подданных.

А вздумайте — так ли бы поступил с курицей мошенник? Да он бы ее на руках носил, а пылинке бы не дал на нее сесть, кормил бы отборным зерном. Мошенник прекрасно знает, что зерно не отборное, пополам с разной дрянью — вдвое дешевле... Осмелился ли бы он подсунуть своей курице такое зерно? Нет!

Он бы, может быть, подсунул торговцу зерном фальшивый двугривенный или обсчитал бы его, но обидеть свою курицу — на это не способен самый отъявленный мошенник.

Почти всякий из нас, читатели, — курица, несущая кому-нибудь золотые яйца, и потому всякий из нас рискует быть зарезанным рукой дурака.

Поэтому — долой дураков!

Видели вы когда-нибудь, как магнит, сунутый в кучу самых разнородных мелочей, вытягивает из всего этого только железные опилки, как он чисто, ловко и аккуратно это делает! Всунули вы чистенький, гладкий, полированный стержень... момент — и вытаскивается из кучи густо облипший опилками и железной пылью потерявший форму комок.

И еще: видели ли вы, как работает так называемый «пылесос»?

Прекрасное, волшебное зрелище.

Как будто одаренный человеческим умом и энергией, нашупывает хобот аппарата залежи пыли. Глядишь:

только прикоснулся к ним — и уже сверкает белизной грязное, загаженное место... Ни одной пылинки не оставит жадный хобот, все втянет аппарат своими могучими легкими.

И ни чашотки не знает он, ни даже простого кашля.

Однажды, когда я, сидя на диване, наблюдал из другой комнаты работу чудесного аппарата, ко мне пришел знакомый и сказал:

— А я вчера очень заинтриговал Елену Сергеевну...

— Каким образом?

— Да сказал, что видели вас в «Аквариуме» с одной блондинкой. Она долго допытывалась, да я — не дурак ведь — помучил, помучил ее, однако не сказал. Очень было весело.

— Кто же вас просил говорить об этом?

— Никто. Я просто заинтриговать хотел. Она чуть не плакала, да я-то не дурак, слава Богу, хе-хе... Не выдал вас.

Пылесос свистел и шумел, ощупывая хоботом своим пыльный карниз.

Я глядел на его работу и думал:

«Отчего никто не выдумает такой пылесос для дураков? Хорошо бы сразу высосать всех дураков из нашего города, втянуть их куда-нибудь всех до последней крошечки. Жизнь сразу бы посветлела, воздух очистился, и дышать сделалось бы легче».

Эта мысль — придумать пылесос для дураков — гвоздем засела во мне, и я часто к ней возвращался...

* * *

— Что я с ними буду делать, ты подумай! — плакался как-то, сидя у меня, один из моих друзей, получивший недавно наследство. — На что они мне, эти проклятые пятьсот десятин?! Место сырое, топкое, лесу нет, только песок и камень, вода за двадцать верст, дорог нет. Ближайший город за двести верст.

Я потер рукой голову.

— Вот что... Садись за стол и пиши объявление в газеты...

Он сел.

— Ну?

— Пиши: «В сырой холодной местности, лишенной питьевой воды, продаются участки для постройки на них домов и усадеб. Полное отсутствие леса; почва — песок и глина. Ближайший город за двести верст. Полное бездорожье, отсутствие медицинской помощи, лихорадочная, малярийная местность. Квадратная сажень земли стоит 50 коп. При больших покупках — дороже. Лиц, желающих приобрести землю и поселиться в этом месте, просят обращаться туда-то. Контора по продаже земли в поселке Каруд».

— Господи Иисусе, — ахнул мой друг. — Кто же может откликнуться на это предложение?.. Разве только круглый дурак.

— Ну да же! Подумай, какая прелесть: это будет единственное место, где дураки соберутся в этакую плотную компактную массу. Твоя земля — это пылесос, который сразу вытянет всех дураков из нашей округи... То-то хорошо дышать будет.

— Да ведь они там помирать шибко будут. Жалко...

— Дураков-то? Да пусть мрут на здоровье. Боже ты мой!

— Ну, так я хоть припишу, что летом там очень прохладно.

— Ни за что! Пиши так: «Холодная бесснежная зима, жаркое, душное лето, полное отсутствие растительности...» Есть?

— Есть. Да только уж и не знаю — выйдет ли что-нибудь из этого?

* * *

Вышло.

В «Контору по продаже земель поселка Каруд» посыпались письменные запросы.

Спрашивали:

«Действительно ли нет лесу поблизости, а если нет, то я прошу записать на мое имя четыре десятины, побыстрее, потому что у меня часто пересыхает горло, и вообще в лесу мало ли что может быть!»

Один господин писал:

«Если публикация говорит правду в параграфе о песчаной каменистой почве, то я покупаю 10 десятин: мне песок и камень нужны для постройки дома. Сообщите также, как

понимать выражение «лихорадочная местность»? Не в смысле ли это «лихорадочной деятельности в этой местности»?

Дама писала:

«Меня очень соблазняет отсутствие медицинской помощи. Действительно, эти доктора так дерут за визиты, а пользы ни на грош. Хорошо также, что нет воды: от нее страшно толстеешь; я пью лимонный сок и остаюсь с почтением Василиса Чиркина».

* * *

Через два месяца половина участков в поселке Каруд была распродана.

Пылесос работал вовсю.

ОБЫКНОВЕННАЯ ЖЕНЩИНА

Звали эту женщину Зоя, имя легкое, не имеющее веса, золотистое, все насквозь пронизанное желтыми лучами солнца, вызывающее мысль о светлых, коротко подстриженных кудрях и тонкой атласной коже с голубыми жилками; губки розовые, ножки маленькие, голосок, как серебряная ниточка.

Вот какое представление вызывает у меня имя Зоя. А может быть, все это потому, что носительница имени Зоя была действительно такова по внешности.

Мы с ней жили вместе, и не могу сказать, чтобы жили плохо...

Но я никак не мог отделаться от мысли, что она не настоящий человек, втайне смотрел на нее, как на забавную игрушку, и однажды, когда она, наморщив лоб, спросила меня в упор:

— Скажи, ты уважаешь меня? — Я упал с оттоманки на диван и стал корчиться от невыносимого смеха, отчасти утрированного, отчасти — настоящего.

— Чудак ты, человечина, — отвечал я ей, успокаивая. — На что тебе мое уважение? Ты бы ревела от муки и тоски, если бы я тебя уважал. Ну, за что тебя уважать, скажи на милость?

— За что?

Она немного растерялась.

— Как за что? Ну, за то, что я... гм! Порядочный человек. За то, что я к тебе хорошо отношусь... Ну, за то, что я... тебе нравлюсь.

— Замечательный ты человечина! Разве за это уважают? За это любят.

— Так ты меня любишь?

— Ну конечно.

— Значит, я лучше всех?

— Помилуй, как так ты лучше всех? Не дай Бог, если бы ты была лучше всех... Тогда все мужчины повлюблялись бы в тебя, и я уж никак не мог бы протолпиться к твоему сердцу... Нет, конечно, есть на свете женщины лучше тебя.

Она опечалилась... Опустила голову и сказала, растерянно разглаживая пальчиком шов диванной подушки:

— Вот тебе и раз... я этого от тебя не ожидала...

А я рассматривал ее близко-близко, как естествоиспытатель — редкого зверька, и мне было смешно-смешно.

— Ну, посуди сама, голубь мой золотой: не может же быть, чтобы ты была лучше всех... Есть женщины лучше тебя? Есть. Красивее? Есть. Обаятельнее? Есть.

Она криво усмехнулась:

— Ну, в таком случае я счастливее тебя: ты, по-моему, самый умный, самый красивый, самый обаятельный...

— Ты так думаешь? А по-моему, я вот что: я человек тридцати пяти лет, шатен, лицо приятное, особых примет нет, ум не государственный, а так, для домашнего обихода, а что касается обаяния, то почему же, черт возьми, меня окружают десятки женщин, которым даже в голову не придет обратить на меня благосклонное внимание?

— Господи ты мой. Господи, какой вздор несет этот человек! Знаешь, какой ты? Я тебя опишу: у тебя глаза горят, как две звездочки, улыбка твоя туманит голову, а голос твой проникает в самое сердце и прямо переворачивает его. Знаешь, на кого ты похож? На серебряного тигра, вот на кого.

— Не видал таких. Они что ж, эти серебряные тигры, также носят визитку, темный галстук и по будним дням ходят на службу?

— Ты — глупый.

— Не скажу. Недалекий — пожалуй, но глупый — это уже крайность.

— Слушай, — прошелестела она мне на ухо, прижимаясь ко мне. — Я сказала тебе, какой ты...

— Ну?

— Теперь же скажи мне, какая я?

— Ты? Зовут тебя Зоя, ты ниже среднего женского роста, волосы у тебя очень хорошие, грудь немного полнее, чем бы следовало, а ноги немного короче, чем это требуется правилами женского сложения. Но и то и другое — следствие твоего роста. Таковы уж все маленькие женщины. Глаза красивые, но поставлены друг к другу ближе, чем следует. Ручка малюсенькая, но ногти хотелось бы, чтобы были поуже.

Она встала и отшатнулась от меня, бледная, с широко раскрытыми, остановившимися глазами.

— Пстой! И ты осмеливаешься говорить, что любишь меня?! Меня, с большой грудью, с короткими ногами, с широкими ногтями — ты говоришь, что любишь меня?!!

Она упала на диван, и слезы, как вешние воды с гор, хлынули из глаз ее.

А я сидел, задумчиво опершись подбородком о свою спокойную холодную руку, и внимательно рассматривал плачущую женщину.

И думал:

«Понять женщину легко, но объяснить ее трудно. Какое это нечеловеческое, выдуманное чьей-то разгоряченной фантазией существо! Что может быть общего между мной и ею, кроме физической близости и примитивных домашних интересов?» А она рыдала, исходила слезами, изредка ударяясь головой о собственные сложенные на спинке дивана руки:

— А я-то, глупая, думала все время, что мы созданы друг для друга!! Еще давеча когда к чаю подали печенье и ты выбирал только соленое, то я подумала: Господи, как много между нами общего, хым... хым...

— Между нами — общее?! Что за ересь говоришь ты? С какой стороны мы похожи друг на друга? Я — большой, толстый, сильный, ты — маленькая, хрупкая, закутанная в кружевные тряпки и ленты. Я дымлю папиросами, как фабричная труба. Ты задыхаешься от этого дыма, как моль от нафталина. Попробуй надеть на меня то, что но-

сите вы: туфли на высоченных каблуках, паутинные панталоны, кофточку из кисеи, корсет. Я сделаю несколько шагов и последовательно упаду, простужусь насмерть и задохнусь от корсета, одним словом — погибну. Ну, что же общего между нами? А попробуй надеть мужской костюм на хорошо сложенную женщину — и спереди и сзади это будет так нехудожественно, так неэстетично... Правда, худые женщины могут надевать мужской костюм, но это только тогда, когда у них нет ни груди, ни бедер, то есть когда они похожи на мужчину.

Она подняла на меня страдающие, заплаканные глаза...

— Это все пустяки, все внешние различия, а я говорю о духовном средстве.

— Увы, где оно?.. Мужчина почти всегда духовно и умственно превосходит женщину...

Ее глаза засверкали.

— Да?!! Ты так думаешь? А что, если я тебе скажу, что у нас в Киеве были муж и жена Тиняковы, и — знаешь ли ты это? — Она окончила университет, была адвокатом, а он имел рыбную торговлю!! Вот тебе!

— Дитя ты мое неразумное, — засмеялся я, ласково, как ребенка, усаживая ее на колени. — Да ведь ты сама сейчас подчеркнула разницу между нами. Заметь, что я, мужчина, всегда говорю о правиле, а ты — бедная логикой, обыкновенная женщина — сейчас же подносишь мне исключение. Бедная головушка! Все люди имеют на руках десять пальцев — и я говорю об этом... А ты видела в паноптикуме мальчишку с двенадцатью пальцами — и думаешь, что в этом мальчишке заключено опровержение всех моих теорий о десяти пальцах.

— Ну конечно, — удивилась она. — Как же можно говорить о том, что правило — десять пальцев, когда (ты же сам говоришь!) существуют люди с двенадцатью пальцами.

Говоря это, она деловито бегала по комнате, уже забыв о своих горьких слезах, и деловито переставляла какие-то фарфоровые фигурки и какие-то цветы в вазочках. И вся она в своих туфельках на высоких каблуках, в нечеловеческом пеньюаре из кружев и ленточек, с золотистой подстриженной кудрявой головкой и еще не высохшими от слез глазами, с ее покровительственным тоном, которым она произнесла

последние слова, — вся она, эта спокойно чирикающая птица, не ведающая надвигающейся грозы моего к ней равнодушия, — вся она, как вихрем, неожиданно закружила мое сердце.

Лопнула какая-то плотина, и жалость к ней, острая и неизбытная жалость, которая сильнее любви, — затопила меня всего.

«Вот я сейчас только решил в душе своей, что не люблю ее и прогоню от себя... А куда пойдет она, эта глупая, жалкая, нелепая пичуга, которая видит в моих глазах звезды, а в манере держаться — какого-то не существующего в природе серебристого тигра? Что она знает? Каким богам, кроме меня, она может молиться? Она, назвавшая меня вчера своим голубым сияющим принцем (и чина такого нет, прости ее Господи!).

А она, постукивая каблучками, подошла ко мне, толкнула розовой ладонью в лоб и торжествуя сказала:

— Ага, задумался! Убедила я тебя? Такой большой — и так легко тебя переспорить...

Жалость, жалость, огромная жалость к ней огненными языками лизала мое черствое, одеревеневшее сердце.

Я привлек ее к себе и стал целовать. Никогда не целовал я ее более нежно и пламенно.

— Ой, оставь, — вдруг тихонько застонала она. — Больно.

— Что такое?!

— Вот видишь, какой ты большой и глупый... Я хотела тебе сделать сюрприз, а ты... Ну да! Что ты так смотришь? Через семь месяцев нас будет уже трое... Ты доволен?

* * *

Я долго не мог опомниться.

Потом нежно посадил ее к себе на колени и, разглядывая ее лицо с тем же напряженным любопытством, с каким вивисектор разглядывает кролика, спросил недоверчиво:

— Слушай, и ты не боишься?

— Чего?..

— Да вот этого... ребенка... Ведь роды вообще опасная штука.

— Бояться твоего ребенка? — мягко, непривычно мягко усмехнулась она. — Что ты, опомнись... Ведь это же твой ребенок.

— Послушай... Можно еще устроить все это...

— Нет!

Это прозвучало как выстрел. Последующее было мягче, шутивее:

— А ты прав: между мужчиной и женщиной большая разница...

— Почему?

— Да я думаю так: если бы детей должны были рожать не женщины, а мужчины, — они бежали бы от женщин, как от чумы...

— Нет, — серьезно возразил я. — Мы бы от женщин, конечно, не бегали. Но детей бы у нас не было — это факт.

— О, я знаю. Мы, женщины, гораздо храбрее, мужественнее вас. И знаешь, это будет превесело: нас было двое — станет трое.

Потом она долго, испытующе поглядела на меня:

— Скажи, ты меня не прогонишь?

Я смутился:

— С чего ты это взяла? Разве я говорил тебе о чем-нибудь подобном?

— Ты не говорил, а подумал. Я это почувствовала.

— Когда?

— Когда переставляла цветы, а ты сидел тут на оттоманке и думал. Думал ты: на что она мне — прогоню-ка я ее.

Я промолчал, а про себя подумал другое: «Черт знает кто их сочинил, таких...» Умом уверена, что люди о двенадцати пальцах, а чутьем знает то, что на секунду мелькнуло в темных глубинах моего мозга...»

— Ты опять задумался, но на этот раз хорошо. Вот теперь ты миляга.

Разгладила мои усы, поцеловала их кончики и в раздумье сказала:

— Пожалуй, что ты больше всего похож на зайца: у тебя такие же усики...

— Нет, уж извини: мне — серебристый тигр больше по душе!..

— Ну, не надо плакать, — покровительственно хлопнула она меня по плечу. — Конечно, ты тигр серебряный, а усики из золота с бриллиантами.

Я глядел на нее и думал:

«Ну, кому она нужна, такая? Нет, нельзя ее прогнать. Пусть живет со мной».

— Ну послушай... Ну посуди сам: разве это не весело? Нас сейчас двое, а через семь месяцев будет трое.

* * *

И тут она ошиблась, как ошибалась во многом: через семь месяцев нас было по-прежнему двое — я и сын. Она умерла от родов.

* * *

Мне очень жалко ее.

КРАСИЛЬНИКОВ И МЫ ТРОЕ

Все мы меряем только на свой аршин, и каждый из нас стоит только на своей точке зрения.

И как стоит! Уцепившись за эту точку зрения, как коршун, цепкими, крючковатыми когтями. Даже тычками и побоями не стонишь его с принадлежащей ему точки зрения. Тепло ему на ней и уютно.

«Моя точка зрения» — больше ему ничего не нужно, ничьей другой точки. И кто возвысится до многоточия — тот мудрец.

Но мало мудрецов, и поэтому жизнь эгоистична, скупа и жестка, как солдатская подошва:

— С моей точки зрения, я прав; с моей точки зрения, вы дурак; с моей точки зрения, это весело; с моей точки зрения, так вам и надо!

У нас у троих были свои точки зрения, у Красильников — своя. Никто из нас даже на минуту не подумал стать на его точку зрения — потому все и произошло.

* * *

В жаркий ленивый полдень мы трое изнывали в безделье, расположившись, как кто хотел, в моей редакторской комнате: поэт Кувшинов лежал на широкой оттоманке;

художник Крысаков в углу, сидя на маленькой скамейке, зарисовывал чей-то профиль; я, откинувшись в кресле, боком к письменному столу и положив ноги на подоконник, лениво просматривал кипу рукописей.

— Этот проклятый Красильников никогда не отвыкнет от безграмотности, — пробормотал я. — У него в рассказе есть такая фраза: «Сидя с Леночкой на кушетке, он целовал ее ножки». Чьи ножки, черт его возьми?

— А вот он и сам идет, — заметил Кувшинов, оборачивая лицо к открытой двери.

У нас уже так установилось, что с Красильниковым — человеком недалеким — никто серьезно не разговаривал: или сообщали ему тут же измышленные сенсационные новости, или просто замечали:

— Чудесный рассказ у вас был в «Ниве».

— Да я там не пишу, что вы!

— Как не пишете? А рассказ «Веревка», подписанный «Н. Крутиков», разве не ваш?

— Нет, что вы! Он же Крутиков, а я Красильников.

— А ведь верно! А мы нынче получили от редактора парижской «Temps» письмо... Спрашивает, кто такой Красильников и не может ли он у них сотрудничать? Заинтересовался.

— Ну? А я же по-французски не пишу.

— Ну, и пеняйте на себя. Значит, все дело расстроилось.

Но в этот томительный жаркий полдень даже такие разговоры с Красильниковым не шли на ум.

Только поэт Кувшинов по привычке лениво заметил:

— А, Красильников... Так-с, так-с... Слыхали! Нечего сказать, хорош!

— А что такое? Что вы слыхали? — забеспокоился Красильников.

Так как поэт вообще ничего не слышал, а придумывать ему было лень, то он ограничился тем, что перебросил мяч дальше.

— Да уж знаем! Нечего притворяться удивленным... Вот вам Крысаков может рассказать все подробно... Не ожидал я этого от вас, не ожидал...

— В чем дело, Крысаков? — повернулся к нему встревоженный Красильников. — Что случилось?

Но и Крысакову было лень вытягивать самому этот неуклюжий воз.

— Что случилось? — патетически воскликнул он. — Эх, Красильников, Красильников! И вы это спрашиваете у *меня*? Да можете ли вы смотреть мне прямо в глаза? Нет, Красильников! Или вы издеваетесь над нами, или... или... нет, я просто не нахожу слов!..

— Да в чем же, наконец, дело? — завопил Красильников, побледневший, как бумага, на которой он писал свои топорные рассказы. — Я, наконец, требую, чтобы вы сказали... Если я в чем-нибудь виноват, я извинюсь, конечно, но...

— Послушайте, — тихо сказал Крысаков, и в голосе его дрогнула слеза. — Все это так тяжело, так невыносимо, что... Да что там говорить об этом! Вот тут, видите? Вот тут бьется сердце, которое вас, может быть, любило — и что же!.. Да нет, не могу я... Вот тут давит... Пусть вам редактор сам скажет...

По обыкновению, эти негодяи всю фактическую часть постарались свалить на меня. Они запутывали, а я всегда должен был распутывать.

Но на этот раз никакая мысль не рождалась в разваренной зноем голове...

— «Редактор, редактор»... — вскричал я. — А редактор не человек, что ли? Если вам обоим так тяжело говорить об этой ужасной истории, то почему мне легко?..

— О какой истории? — спросил дрожавший Красильников, бессильно опускаясь на стул. — Какая история?

— И вы это спрашиваете — *меня*? *Меня*? — захныкал я. — И вы можете мне прямо посмотреть в глаза? О, Красильников! Ну, глядите же в эти честные глаза... Ага! Вы не можете смотреть! Ваш взгляд бегаёт... Довольно! Теперь я уверился...

— В чем, в чем? — чуть не рыдал Красильников.

— В чем? Я не хотел поднимать разговора об этой тяжелой для вас и для меня истории, но начал разговор бестактный Кувшинов. Пусть же он и объяснит все.

— Кувшинов! Ради Бога, в чем дело?..

Кувшинов спустил ноги с дивана, сложил руки на груди и, опустив голову, торжественно и мрачно начал:

— Господин Красильников! Вы сами понимаете, что... не время да и не место говорить обо всем этом. Здесь редакторский кабинет, а не... а не какая-нибудь другая комната!.. Это — храм! А в храме о таких поступках, как ваш, не говорят! Это осквернение святыни! Вы спрашиваете: «В чем дело?» — ха-ха! Вы это спрашиваете у меня? Но почему вы не спрашиваете у художника Крысакова, который сам из первых уст узнал об этом страшном эпизоде!

— Крысаков! Я вас умоляю — в чем дело? Я ведь спать не буду, если не узнаю!

— И не спите! — истерически закричал Крысаков, стуча кулаком по столу. — И не спите! Вам теперь нельзя спать. Я бы удивился, если бы вы спокойно спали... Боже мой, Боже мой... Будь это еще мужчина, а то ведь женщина... Слабая, прекрасная женщина...

— Что женщина? Какая женщина? Что с ней случилось?

— Вам это лучше знать, — криво улыбнулся Крысаков. — Вам и... и редактору. Он ведь тоже немного в этом замешан.

И опять этот дурацкий запутанный клубок без начала и конца вернулся ко мне...

— Да, я замешан! — воскликнул я. — Но как? В самом благородном смысле. Я даже дал слово ничего об этом не говорить... И я сдержу это слово!.. Впрочем, вот что, Красильников. Ответьте мне только на один вопрос: вы ведь бывали в Киеве?

— Да... я там жил четыре года... А что?

— Ага! — сказал поэт. — Уже он сознается! Он уже это признал!

— И там у вас были знакомые? — нахмурившись, спросил я.

— Д... да, были.

— Ну вот! Больше нам ничего и не надо... Ах, Красильников, Красильников.

— О каких знакомых вы говорите? — взволнованно спросил Красильников. — О Маевских?

— Да-с! — загремел Крысаков. — Именно, о Маевских! Теперь вы все понимаете?

— Ей-Богу, не понимаю...

— О-о, Красильников... Вы хитрая штучка, и вас не всякий раскусит... но я вас понимаю! Довольно!

— Послушайте!! — простирая руки, бросился ко мне Красильников. — Вы обязаны сказать мне; так же нельзя...

— Как?! Вы спрашиваете меня? *Меня?* Но ведь я же связан словом, вы знаете...

— Я не знаю, ей-Богу!!

— Хорошо: я вам скажу только два слова: золотой медальон! Белокурые волосы!

— К... к-какой медальон?!

— Довольно, — сказал поэт, которому уже захотелось спать. — Больше вы от нас не услышите ни слова. Остальное — дело вашей совести. Если редактор устроит товарищеский суд сотрудииков, то... впрочем, что об этом говорить, когда так болит сердце!..

Он лег на оттоманку и отвернулся к стене.

Красильников бросился к Крысакову, но тот сурово отвел его рукой, вооруженной карандашом... Красильников обратил на меня растерянный взор, но я только молча пожал плечами...

Он постоял еще с минуту и вышел, спотыкаясь.

— Здорово мы его разогрели, — заметил Крысаков. — Что это за медальон, о котором вы ему говорили?

— Так просто, на язык подвернулось.

— Жаль, что ничего лучшего не придумалось. Вообрази себе, Кувшинов...

Но Кувшинов уже ничего не мог вообразить себе: он спал.

* * *

Прошло две недели.

Снова мы трое собрались в моем редакторском кабинете. Только на этот раз на оттоманке лежал я, а поэт Кувшинов за моим письменным столом переписывал стихи...

— Скучно как, — заметил Крысаков.

— Хотя бы Красильников пришел, — буркнул под нос поэт. — Все-таки какую-нибудь штуkenцию выкинули бы...

А я промолвил:

— Давно уж он не показывался.

* * *

В сентябре вся редакция устраивала какую-то юбилейную вечеринку.

Было около 11 часов... Веселье и смех уже достигли апогея, когда в комнату как-то бочком, робко протиснулся Красильников.

Он остановился посредине комнаты и принялся оглядывать всех нас близорукими глазами.

— Красильников, дуся! — вскричал Крысаков. — Что это вы запропали? Да Боже мой, что с вами? Вы так похудели, что на вас смотреть страшно.

— Больны вы были? — спросил Кувшинов. — Случилось что-нибудь? Влюбились?

— Нет, что вы, — неуверенно улыбнулся Красильников. — Только я все это время не находил себе места. Скажите, господа, хоть сейчас — в чем дело?

— Какое дело? Что такое?

— В чем я провинился? Что за история? Какой медальон? — умоляюще поглядел на нас Красильников.

— Медальон? — спросил полный недоумения Крысаков. — Кой черт вы толкуете о медальоне?

Очевидно, все мы трое так добросовестно забыли о вялом июльском разговоре, что Красильникову пришлось долго напоминать нам:

— Ну как же! Я ведь с тех пор сам не свой... Ездил даже в Киев, виделся с Маевскими, но они божатся, что ничего не знают... Я заснуть не могу! Может быть, теперь это наконец можно выяснить...

Я бросил взгляд на Кувшинова: он, отвернувшись, прочищал мундштук; поглядел на Крысакова... Он с любопытством разглядывал картину на стене. Я был предоставлен самому себе.

— Видите ли, Красильников... Оказалось, что вы в это ужасное дело были замешаны случайно... Простое совпадение: того человека звали Крашенинников. Понимаете? Теперь все выяснилось, и вы можете быть спокойны. Поверьте, что нами... гм!.. руководило только товарищеское чувство, и все мы... Я сейчас! Мне тут нужно к одному человеку...

Я повернулся и ушел, вернее убежал — домой.

* * *

Проклятая штука — точка зрения.

С нашей точки зрения, все это тогда, в жаркий полдень, казалось таким веселым, забавным, непринужденным...
У Красильникова же оказалась своя точка зрения.

ИНКВИЗИЦИЯ

Я гляжу на них сверху вниз...

И не потому, чтобы я их презирал, а просто я выше их, хотя и сижу в кресле: Лиля высотой не более аршина, Котька — вершка на два выше.

Каждый из них опирается обеими руками о мое колено, и оба не мигая глядят в мои бегающие глаза.

— Я у Шуры книжку видел, — сообщает Котька и умолкает, ожидая, чтобы я спросил: «Какую?»

— Какую?

— Называется: «Мальчик у Христа на елке».

— Мда-а, — неопределенно мычу я.

Молчание.

Лиля решает поддержать брата:

— А я стихи новые знаю.

И замирает вся, напрягается, трепетно ожидая одного только словечка: «Какие?»

— Какие?

Обыкновенно около нее нужно работать целый час, чтобы вытянуть хоть какие-нибудь стишонки.

Но тут она, как обильный весенний дождик по крыше, прорывается сразу:

У нашей елки
Иголки — колки,
В дверную щелку
Мы видим елку...
Звезда, хлопушки.
Орехи, пушки.

— Все. Вчера в журнале читала.

— Так-с, — снова мямлю я. — Стишки хоть куда. А это знаешь: «Зима. Крестьянин, торжествуя...»?

Но такой оборот разговора обоим невыгоден.

— Мы это знаем. Слушай, дядя... А бывают елки выше потолка?

— Бывают.

— А как же тогда?

— Делают дырку в потолке и просовывают конец в верхний этаж. Если там живут не дураки — они убирают просунутый конец игрушками, золочеными орехами и веселятся напропалую.

Котька отворачивает плутоватую мордочку в сторону и задает многозначительный вопрос:

— А кто живет этажом ниже нас — у них есть дети?

— Не знаю. Кажется, там старик какой-то.

— Жаль. А знаешь что, — неопределенно говорит Котька, — я на Рождество буду слушаться.

— И я! И я! — ревниво кричит Лиля.

— Важное кушанье! — пожимаю я плечами. — Вы всегда должны слушаться. А нет — я сдеру с вас шкуру, набью ее ватой, и уж эти-то детки будут сидеть тихо.

Котька приподнимает одну ногу, осматривает ботинок, который у него в полном порядке, и, казалось бы бесцельно, сообщает:

— У наших соседей, говорят, нынче елка будет.

— Не соседей, а соседей.

— Ну, пусть соседей. Но елка-то все-таки будет.

Положение создается тягостное.

— Елки... — мычу я. — Елки... Гм!.. Тоже, знаете, и от елок иногда радости мало. Вон, у одних моих знакомых тоже как-то устроили елку, а свечка одна горела, горела, потом покосилась да кисейную гардину и подожгла... Как порох вспыхнул дом! Восемь человек сгорело.

— Елку нужно посредине ставить. Рази к окну ставят, — замечает многоопытная Лиля.

— Посредине... — горько усмехаюсь я. — Оно и посредине бывает тоже не сладко. В одном тоже вот... знакомом доме... у Петровых... Петровы были у меня такие... знакомые... Так у них — поставили елку посредине, а она стояла, стояла да как бухнет на пол, так одну девочку напололам! Голова к роялю отлетела, ноги к дверям.

К моему удивлению, этот ужасный случай не производит никакого впечатления. Будто не живой ребенок погиб, а муху на стене прихлопнули.

— Подставку нужно делать больше и тяжельше — тогда и не упадет елка, — деловито сипит Котька.

— На подставке одной далеко не уедешь, — возражаю я. — Главная опасность — это хлопушки. Знал я такую одну семью... как бишь их? Да! Тоже Петровы. Так вот один из мальчуганов взял хлопушку, поднес к глазам, дернул где следует — бац! Глаз пополам, и ухо на ниточке!

Мы все трое замолкаем и думаем — каждый о своем.

— А вот я тоже знала семью, — вдруг начинает задумчиво и тихо, опустив голову, Лиля. — Ихняя фамилия была Курицыхины. И тоже, когда было Рождество, так ихний папа говорит: «Не будет вам завтра елки!» Они завтра тоже легли спать днем, и ихний папа тоже лег спать днем... Нет, перед вечером, когда бы была зажгита елка, если б он сделал. Так они тогда легли. Ну, легли все и спят, потому елки нет, делать нечего. А воры видят, что все спят, забрались и все покрали, что было, чего и не было — все взяли. Ну, проснулись, понятно, и плакали все.

— Это, наверное, был такой случай? — спрашиваю я, делая встревоженное лицо.

— Д... да, — не совсем убежденно отвечает Лиля.

— Значит, если я не устрою елки, к нам тоже заберутся воры?

— Заберутся, — таинственно шепчут оба.

— А если вы не ляжете спать в это время?

— Нет, мы ляжем!!!

Дольше терзать их жалко. И так на лицах застыла мучительная гримаса трепетного ожидания, а глаза выражают то страх, то надежду, то уныние и разочарование.

Не желая, однако, сразу сдать позицию, я задаю преглупый вопрос:

— А вы какую бы хотели елку: зеленого цвета или розового?

— Зеленую...

— Ну, раз зеленую — тогда можно. А розовую уж никак бы нельзя.

* * *

Как щедры дети: поцелуи, которыми меня осыпают, совсем не заслужены.

В ОЖИДАНИИ УЖИНА

Обращая свои усталые взоры к восходу моей жизни, я вижу ярче всего себя — крохотного ребенка с бледным серьезным личиком и робким тихим голоском — за беседой с пришедшими к родителям гостями.

Беседа эта была очень коротка, но оставляла она по себе впечатление сухого унылого самума, мертвящего все живое.

Большой, широкий гость с твердыми руками и жесткой, пахнувшей табаком бородой глупо тыкался из угла в угол в истерическом ожидании ужина и, исчерпав все мотивы в ленивой беседе с отцом и матерью, наконец обращал свои скучающие взоры на меня...

— Ну-с, молодой человек, — с небрежной развязностью спрашивал он. — Как мы живем?

Первое время я относился к такому вопросу очень серьезно... Мне казалось, что если такой большой гость задает этот вопрос — значит, ему мой ответ очень для чего-то нужен.

И я, подумав некоторое время, чтобы осведомить гостя как можно точнее о своих делах, вежливо отвечал:

— Ничего себе, благодарю вас. Живу себе помаленьку.

— Так-с, так-с. Это хорошо. А ты не шалишь?

Нужно быть большим дураком, чтобы ждать на такой вопрос утвердительного ответа. Конечно, я отвечал отрицательно:

— Нет, не шалю.

— Тэк-с, тэк-с. Ну, молодец.

Постояв надо мной минуту в тупом раздумье (что бы еще спросить?), он поворачивался к родителям и начинал говорить, стараясь засыпать всякой дрянью широкий овраг, отделяющий его от ужина:

— А он у вас совсем мужчина!

— Да, растет так, что прямо и незаметно. Ведь ему уже девятый год.

— Что вы говорите?! — восклицал гость с таким изумлением, как будто бы он узнал, что мне восемьдесят лет. — Вот уж никак не предполагал!

— Да, да, представьте.

Первое время моему самолюбию очень льстило, что все обращали такое лихорадочное внимание на меня, но скоро

я понял эту нехитрую механику, диктуемую законами гостеприимства: родители очень боялись, чтобы гости в ожидании ужина не скучали, а гости, в свою очередь, никак не хотели показать, что они пришли только ради ужина и что им мой возраст да и я сам так же интересны, как прошлогодний снег.

И все же после первого гостя передо мной — скромно забившимся в темный уголок за роялем — выросстал другой гость с худыми узловатыми руками и небритой щетиной на щеках (эти особенности гостей прежде всего запоминались мною благодаря многочисленным фальшивым поцелуям и объятиям):

— А, вы тут, молодой человек. Ну что — мечтаешь все?

— Нет, — робко шептал я. — Так... сижу.

— Так... сидишь?!. Ха-ха! Это очень мило! Он «так сидит». Ну, сиди. Маму любишь?

— Люблю...

— Правильно.

Он делал движение, чтобы отойти от меня, но тут же, вспомнив, что до желанного ужина добрых десять минут, раскачавшись на длинных ногах, томительно спрашивал:

— Ну, как наши дела?

— Ничего себе, спасибо.

— Учишься?

— Учусь.

Он скучающе отходил от меня, но едва лицо его поворачивалось к родителям — оно совершенно преображалось: восторг был написан на этом лице...

— Прямо замечательный мальчик! Я спрашиваю: учишься? А он, представьте: учусь, говорит. Сколько ему?

— Девятый.

Остальные гости тоже поворачивали ко мне скучающие лица, и разговор начинал тлеть, чадить и дымить, как плохой костер из сырых веток.

— Неужели девятый? А я думал — семь.

— Время-то как идет!

— И не говорите! Только в позапрошлом году был седьмой год, а теперь уже девятый.

Он говорил это, а в то же время одно ухо его настороженно приподнималось, как у кошки, услышавшей царапанье

крысы под полом: в соседней комнате, накрывая на стол, лягнули ножом о тарелку.

— Дети очень быстро растут.

— Да, он потому такой и худенький. Это от роста.

— Вырастешь — большой будешь, — делает меткое замечание рыжий гость, продвигаясь ближе к дверям, ведущим в столовую.

Выходит горничная, шепчет что-то матери; все вздрагивают, как от электрического тока, но в силу законов гостеприимства не показывают вида, что готовы сорваться и побежать в столовую. Наоборот, у всех простодушные лица, и игра в спокойствие достигает апогея:

— Вы его в гимназию думаете или в реальное?

— Не знаю еще... Реальное, я думаю, лучше.

— О, безусловно! Реальное — это такая прелесть. Если вы хотите его счастья, я позволю дать вам такой совет...

— Пожалуйста, господа, закусить, — раздается голос отца из столовой.

И вот — ужас! — совет, от которого зависит все мое счастье, так и не дается благожелательным гостем. Он подсакивает, будто бы кресло им выстрелило, но сейчас же спохватывается и говорит:

— Ну зачем это, право! Такое беспокойство вам, ей-Богу.

На всех лицах как будто отражается невидимое солнце; все потирают руки, все переминаются с ноги на ногу, с тоской давая дорогу дамам, которых они в глубине души готовы сшибить ударом кулака и, перепрыгнув через них, на крыльях ветра помчаться в столовую; у всех лица, помимо воли, растягиваются в такую широкую улыбку, что губы входят в берега только после первого куса отправленной в рот семги...

Подумать только, что все это, все эти неуловимые для грубого глаза штрихи я подметил в детстве, только в моем нежном восприимчивом детстве, когда все так важно, так значительно. Теперь наблюдательность огрубела, и все, что казалось раньше достойным пристального внимания, теперь сделалось обычным, ординарным.

Чистая, нежная пленка, на которой раньше отражался каждый волосок, так исцарапалась за эти десятки лет, так огрубела, загрязнилась, что только грубое помело способно оставить на этой пленке заметный чувствительный след.

Вот странно: почему, бишь, это я вспомнил сейчас все рассказанное выше...

Что заставило меня из пыльной мглы забытого вытащить маленького тихого мальчика с худым бледным личиком, вытащить всех этих черных и рыжих гостей с колючими бородами и широкими твердыми руками — всех этих больших скучающих людей, которые, тупо уставившись на меня, спрашивали в тоскливом ожидании заветного ужина:

— Ну, как мы живем?

Почему я все это вспомнил?

Ах, да!

Дело вот в чем: сейчас я стою — большой взрослый человек — перед маленьким мальчиком, сыном хозяина дома, и спрашиваю его, покачиваясь на ленивых ногах:

— Ну, как мы живем?

Со взрослыми у меня разговоры все исчерпаны, ужин будет только через полчаса, а ждать его так тоскливо...

— Маму свою любишь?..

ЦВЕТЫ ПОД ГРАДОМ

Эта картина своей идилличностью могла умилить кого угодно: сумерки; на диване в углу уютно примостилась Клавдия Михайловна; около нее сидел Выпуклов и читал ей вполголоса какую-то книжку; у полупотухшего камина — я; у моих ног играл маленький сын Клавдии Михайловны — Жоржик. Было тихо, только в камине изредка потрескивало не совсем догоревшее полено.

— Дядя, что это? — спрашивал Жоржик, протягивая мне книжку.

— Это? Слон.

— А зачем он такой?

— Маму не слушался, — отвечал я, стараясь из всего извлечь для ребенка нравоучение. — Не слушался маму, ел одно сладкое — вот и растолстел!

— А вот это желтенькое — слушалось маму?

— Жирафа? Обязательно.

Умиленный ребенок наклонился и поцеловал добродетельную жирафу в ее желтую с пятнами шею.

— Как вас любит Жоржик, — заметила Клавдия Михайловна, поворачивая ко мне лицо с большими загадочно мерцавшими глазами.

— Я думаю! — самодовольно улыбнулся я. — Ко мне дети так и льнут.

— Вам его бы свести в кинематограф.

— Когда-нибудь сведу.

— А вы сейчас бы его повели.

— Сейчас? Хорошо. Мы пойдем все вместе?

— О, нет. Что касается меня, так я устала дьявольски.

— Я тоже, — сказал Выпуклов, отрываясь от книги.

— Впрочем, я не знаю, — нерешительно промычал я, — есть ли тут детские кинематографы?..

— Глупости! Будто мальчику не все равно. Ему лишь бы лошадки бегали, собачки... кошечки разные... Жоржик! Хочешь поглядеть, как слоники бегают?

— Позвольте, но ведь слонов там может и не быть!

— Ну, это не важно. Другое что-нибудь будет бегать. Скажите няне, чтобы она его одела.

* * *

Жоржик семенил рядом со мной, уцепившись за мою руку с такой завидной прочностью, что я умилился: этот ребенок чувствовал ко мне полное доверие и считал меня самой надежной опорой в окружавшем нас эгоистическом мире.

— Постой! — сказал я, приостанавливаясь. — Вот тут тебе и кинематограф, оказывается, есть. На вашей же улице. Ну, что тут такое? «Жизнь на пляже» — веселая комедия в 2-х частях. «Где-то теперь твое личико смуглое?» — роскошная драма. Жоржик! Хочешь видеть роскошную драму?

— Хочу, — согласился покладистый Жоржик. — А драма какая будет?

— Я ж тебе говорю — роскошная.

— А я люблю, когда петух бывает.

— Какой петух?

— А я не знаю. Картины все какие-то нехорошие, серые. А как картина окончится — петух всегда появляется. Крас-

ный. Я, как с мамой был, — только этого петуха и ждал. В углу он всегда.

— Гм... да... — пробормотал я. — Это его ставят в угол за то, что он шалит. Ну, пойдем, брат, за билетами.

— Пойдем, брат, — пропищал Жоржик, уцепившись за мою ногу... (руку свою я с трудом высвободил для производства билетной операции).

Было тесно и душно. Я протиснулся куда-то, наступая на невидимые ноги, уселся и облегченно вздохнул.

— Ну, Жоржик, — смотри, брат.

— Буду смотреть, брат, — согласился Жоржик. — Что это тут будет?

— «Жизнь на пляже», комедия. Начало уже — видишь?

— Дядя!

— Ну?

— А зачем эта женщина ходит с голыми руками и с ногами?

— Да это, видишь ли, — очень просто. Да-а... Штука, братец ты мой, простая: она маму не слушалась, рвала башмачки и платье — мама ее и раздела.

— А куда это она входит? Что это за домичек такой?

— Это кабинка. Да ты смотри!

— Да я смотрю. А это какой это дядя идет?

— Так себе, обыкновенный. Гуляет.

— А зачем он смотрит в щелочку?

— Он? Да ведь тут море близко, вот он и смотрит... боится, чтобы она не утонула.

Сзади меня кто-то сказал соседу довольно явственно:

— Слышали вы когда-нибудь более idiotские объяснения?

— Жоржик, — сказал я не менее явственно. — Жоржик! Можешь себе представить, что бывают на свете тупоголовые лошади, совершенно не понимающие психологии и умственного уровня ребенка?

— А петух скоро будет? — осведомился Жоржик, совершенно игнорируя непонятную для него фразу.

— Петух! А Бог его знает... Видишь, вон, еще дядя идет.

— Ой, смотри: он этого, который в щелочку смотрит, палкой бьет. Зачем это он?

— За то, что тот по песку валяется. Видишь, никогда не нужно по песку валяться.

Хронологически мое соображение было не совсем правильно: следствие у меня было впереди причины — подсматривавший господин сначала получил удар палкой, а потом уже повалился на песок. Но простодушный ребенок свято мне верил.

— Ага! Он, значит, раньше валялся по песку, а тот это увидел и говорит: «Ты зачем это?» И палкой его побил. А куда это они бегут?

Я решил идти по раз намеченному пути:

— Чай пить. А то опоздают — мама бранить будет.

— А вот смотри — первый-то опять идет обратно.

— Ну да же! Его оставили без чаю за то, что он по песку валялся. Так, брат, поступать не полагается. Этак всякий будет по песку валяться — так что ж оно получится...

— А вот смотри — она уже из этого домика выходит уже в платье... А ты говорил — мама ей не дает.

— Да, конечно! Она, видишь ли... Гм! Нехорошая женщина. Она украла это платье.

В этот момент молодой повеса, скрывавшийся за кабинкой, выскочил из-за угла, бросился к вышедшей даме и, обняв ее, впился ей в губы страстным поцелуем.

— Что это он? — забеспокоился Жоржик.

— Она его дочка, понимаешь? Он ее любит. Это ее папа. Ну, значит, любит и, как полагается, целует.

— А вон смотри: опять тот бежит. Опять ее папу палкой бьет. За что?

— Он это не бьет, видишь ли. А так просто. Тот по песку давеча валялся, ну, костюм, конечно, в песке — вот тот и выколачивает. Это его слуга. Понял, брат?

— Понял, брат, — кротко согласился Жоржик.

— Как можно поручать ребенка такому кретину, — искренно удивился кто-то сзади.

— Жоржик! — громко заметил я. — Когда ты вырастешь, так не будь дураком и старайся понять следующее: то, что подходящее для взрослого, не всегда подходящее для маленького.

Сзади из темноты неизвестный голос возразил:

— Знаете, Петр Иванович, я не понимаю: если детям такие картины не подходят, так почему взрослые остолопы водят их сюда?

Кровь во мне закипела.

— Жоржик! — сказал я. — Обрати внимание на то, что самая худшая порода ослов, это та, которая...

— Смотри-ка, — перебил Жоржик. — Папа побежал, а его слуга остался с ней, с его дочкой. Смотри, она плачет, становится перед ним на колени. К чему это?

— Ну, как же... Неужели ты не понимаешь? Она бегала голыми ногами по песку, могла простудиться... Вот слуга на нее и кричит.

Мне решительно не везло с объяснениями: в тот момент, когда «слуга» кричал на коленопреклоненную «дочку», она вскочила и бросилась в его объятия.

— Что это он ей делает? — спросил сбитый с толку предыдущими объяснениями Жоржик.

— Кусает ее. Видишь, укусил ей щеку... теперь ухо... губу... в глаз теперь вцепился.

— Чего же она не плачет?

— Ну, что она, маленькая, что ли! Терпит. Вот и ты теперь старайся — если ушибешься или что другое — не плачь. Видишь, она даже улыбается.

— Смотри-ка, они уже дома... А вот слуга под еёнюю кровать лезет — зачем?

— Ну, это уже они спать ложатся, уже, значит, кончено. Пойдем, брат.

— А давай, брат, до петуха посидим.

— Поздно уже будет, какие там петухи. Пойдем!

Я вскочил и, стараясь заслонить от Жоржика совсем разнуздавшийся экран, повлек доверчивого малютку к выходу.

Вдогонку нам несколько голосов сказали удовлетворенно:

— Давно бы так!

* * *

Поднимаясь по лестнице, мы увидели парадную дверь квартиры Жоржика открытой. На пороге стояла горничная, припавши к швейцару и впившись губами в его бритую щеку.

— Кусаются, — сказал Жоржик. — Вот еще дурные.

Горничная подавленно взвизгнула и умчалась, а мы

прошли в столовую, из столовой в кабинет, из кабинета в будуар, и тут я на пороге, тихонько откинув портьеру, задержал Жоржика.

— Тссс! Не мешай, Жоржик, не надо. Мама занята. Пойдем лучше сюда, в столовую.

— А что мы будем тут делать? Скучно. Я хочу к маме.

— Не стоит, Жоржик. Люди — звери, Жоржик... Знаешь, что, брат? Мы сейчас вдвоем, а теперь я один — видел: им ничего не стоит укусить совершенно постороннего человека.

— Не люблю я, брат, когда кусаются, — согласилось со мной это покладистое дитя.

И мы долго сидели в темной столовой, прижавшись друг к другу...

О РУССКИХ КАПИТАЛИСТАХ

Дуракам на поучение, людям среднего сорта на потеху, умникам на одну минуту тихой задумчивости — расскажу я нижеследующую правдивую историю...

Кошкомоев получил по наследству двадцать тысяч... Эти двадцать тысяч сделались любимой темой его разговора:

— Хорошо иметь двадцать тысяч. Сидишь ты себе, где хочешь, палец о палец не ударяешь, и что же! Имеешь в год тысячу рублей процентов.

И неизменно заканчивал:

— Жаль только, что у меня не сорок тысяч.

— Почему?

— Потому что тогда я имел бы две тысячи в год.

— Тогда, — советовал ему кто-нибудь из друзей, — тебе бы нужно было пожалеть, что ты имеешь не шестьдесят тысяч.

— Почему?

— Три тысячи имел бы в год.

— А ведь верно!

— На твоём месте, — говорил все тот же сообразительный приятель, — я бы не ограничился какими-то жалкими пятью процентами, а затеял бы какое-нибудь дело. Процентом сорок можно было бы получать.

— Да что ж, — поглаживая усы, говорил Кошкомоев.

Если бы подвернулось верное дело, я вошел бы в него.

Кроме Кошкмоева жил на свете еще один человек — Ерыгин.

Не следует дурно отзываться о людях. Поэтому о Ерыгине можно сказать только то, что он был деловым человеком по преимуществу.

Однажды он приехал к Кошкмоеву и сказал:

— Нынче такое время, что инициатива должна приходиться на помощь и на службу к капиталу. Согласны вы с этим?

— Совершенно, — кивнул головой капиталист Кошкмоев, играя пальцами.

— Вот мы уже почти и договорились, — весело усмехнулся Ерыгин. — Дело вот какое: если вы вложите в него тысяч пять или восемь капиталу...

— Лучше пять, — перебил Кошкмоев с самым деловым видом.

— Ну, пять. Ладно. Так если вы вложите в это дело пять тысяч, вы получите на них процентов 80 в год.

— Значит, четыре тысячи получу?

— Ясно.

— Вы меня заинтриговали.

— А еще бы. Ну, слушайте, что я вам скажу. Читали ли вы когда-нибудь, что в Америке существуют этакие, знаете, сельскохозяйственные мортиры, из которых во время засухи стреляют в небо.

— Как же! В календарях об этом часто говорится.

— Ну, вот видите. Даже в календарях. Принцип этой стрельбы из пушек по небесам тоже вам ясен: благодаря сотрясению воздуха в верхних слоях атмосферы происходят изменения...

— Атмосферические.

— Чего-с?

— Я говорю, изменения... атмосферические. Происходят.

— Совершенно правильно. На небе постепенно собираются тучи, и в конце концов возникает дождь.

— Да, это все верно. Возникает.

— Хорошо-с. Известно ли вам, что в настоящее время происходит громадная мировая война?

— Бесспорно.

— Ну вот. Теперь я хватаю быка прямо за рога: хотите вы где-нибудь под Минском совокупно со мною открыть большую фабрику зонтиков?

Оба — и гость и хозяин — откинулись на спинки кресел и, разинув рты, поглядели друг на друга. Первый поглядел победоносно, второй — изумленно.

— Зо... зонтиков?

— Да!!

— Фа... фабрику?

— Ну да!

— Понимаю, — кивнул головой хозяин. — Предвидите громадные дожди в том районе. Зонтики — нарасхват!

— То есть как быстро один умный человек понимает другого умного человека! — умилился Ерыгин. — Вы тоже умеете хватать быка за рога. Вы сразу поняли, что при такой пальбе стране грозит потоп и единственное противоядие против него — это зонтики, целый лес зонтиков!!

Потрясенный, с влажными от слез глазами, Кошкормоев обнимал Ерыгина.

— Дорогой мой! Само небо прислало вас ко мне.

— Добавьте: дождливое небо! Итак — по рукам?

— Он еще спрашивает! Подождите, сейчас устрою вам пять тысяч, а потом поговорим о подробностях.

* * *

Первое письмо «с места», адресованное Кошкормоеву, гласило следующее:

«Район Минска. Помещение нанято, машины закуплены. Хлопочу, как сумасшедший. Завтра еду закупать материал для работы. Остаюсь с уважением ваш компаньон Ерыгин».

На другой день потрясенный Кошкормоев получил второе и последнее письмо:

«Разбит. Уничтожен. Все против нас. Оказывается, все окрестные леса в военных целях вырублены и сожжены. Ввиду этого материала для зонтиковых ручек достать нельзя. Можно бы, конечно, в крайнем случае, выпустить зонтики без ручек (нужда в зонтиках тут страшная), но сию минуту я с ужасом узнал, что и материи для покрышек тоже нельзя достать ни за какие деньги — все материи закуплены

для нужд армии. Конечно, можно бы выпустить зонтики и без покрышек, но таковые зонтики протекали бы и ношение их не достигло бы той цели, которую мы преследовали... Нет! Не могу писать больше. Руку сводит, к горлу подкатывает ком. Прощайте! Ваш несчастный, бывший компаньон Ерыгин».

* * *

— Хорошо иметь пятнадцать тысяч, — говорил Кошкочмоев кому-нибудь из приятелей. — Не сеешь, не жнешь, а 750 рублей в год получаешь.

— Мог бы втрое получать, — возражал приятель. — Нужно только вложить деньги в какое-нибудь дело.

— Да если бы верное дело, то — отчего же... Только я пошел бы уж, конечно, в самое верное дело.

Верное дело нашлось.

* * *

Кроме Кошкочмоева и Ерыгина жил на свете еще человек по имени Чебурдаев.

Нехорошо плохо говорить о людях. Поэтому о Чебурдаеве только и можно сказать то, что он был многосторонний человек.

Это свойство его натуры наиболее ярко выразилось в предприятии с булавками, затеянном им совместно с Кошкочмоевым.

— Под лежащий камень вода не течет, — заявил он, явившись однажды к Кошкочмоеву. — Вы, русские капиталисты, и злите меня, и смешите. Бельгиец или англичанин давно бы уже сделали из своих денег миллион... А вы — что? В чулке, небось, их держите?

— Я пойду только в самое верное дело, — осторожно вставил Кошкочмоев.

— Спасибо, что сказали, — иронически усмехнулся Чебурдаев. — Значит, по-вашему, мое дело — неверное дело?

— Вы еще не изволили сказать — что именно.

— Сейчас изволю. Как вы думаете, что сейчас больше всего нужно?

— Зон... тики?.. — робко поглядел на него Кошкочмоев.

— Что-о-о? Какие зонтики? Для чего? Смеетесь вы надо мной, батенька? Булавки сейчас нужнее всего, вот что, а не зонтики, вот что!

— Бу... булавки?

— Не бубулавки, а просто — булавки. Вы поглядите — куда теперь только не идут булавки? Только что в суп-рассольник их не кладут! Для флажков на географических картах что нужнее всего? Булавки! Для благотворительных жетонов и цветков что наимеобходимее? Булавки! В армию, где с пуговицами некогда возиться, что посылается в громадном количестве? Булавки! В лазаретах при перевязках? Булавки! Согласны вы с этим?

— Со... согласен.

— Вот видите. Такое ужасающее поглощение булавок истощило, конечно, уже все запасы, а никто об этом и не думает... Верно?

— Пожалуй...

— Так если вы согласны, я вам скажу больше: знаете ли вы, что я нашел способ увеличивать полезные свойства каждой булавки вдвое?

— Что вы говорите?

— Вот вам и что! Подумайте: каждую булавку можно эксплуатировать, как две булавки. Это мой секрет, который я, конечно, пока не могу открыть, но...

— Так вы согласны взять меня в компанию? — быстро спросил Кошкормоев, боясь, что Чебурдаев передумает.

— Возьму. Пять тысяч — и мы загремим на всю Россию. Завтра же я еду на Урал — в центр металлургической промышленности.

* * *

Первое письмо из «района Урала» заключало в себе несколько бодрых строк о покупке машин, переговорах с рабочими и коммивояжерами, а второе письмо гласило вот что:

«Человек предполагает, а Бог располагает. Коммивояжеры отказываются брать булавки моей системы. Неужели немецкие товары до сих пор еще душат русскую промышленность? Теперь я могу сообщить вам сущность моего изобретения, увеличивающего полезные свойства булавок

вдвое. Я рассуждал так: самое полезное в булавке — ее острие. Головка булавки непосредственной пользы не приносит. Итак, что нужно было сделать, чтобы повысить полезные свойства булавки без затраты материала? И я придумал... У меня каждый конец, каждая сторона булавки имеет по острию... Но когда я изготовил первые десять миллионов, выяснилось, что двусторонние булавки при вкалывании во что-нибудь втыкаются одной стороной в палец. Тогда я экстренно выпустил несколько тысяч наперстков, являющихся, как вам известно, лучшим предохранителем против острых предметов, соприкасающихся с пальцем, но тут-то коммивояжеры и заявили, что моего товара брать не будут. Я льстил, угрожал, делал им всяческие льготы — не берут. Да... Много еще косности и темноты в тебе, матушка Россия! Надеюсь, что вы на меня не в претензии, ибо нет дела, не сопряженного с риском. Во всяком случае, сама сущность моего изобретения гарантирует меня от упрека в односторонности... Ваш огорченный Чебурдаев».

* * *

— Хорошо иметь десять тысяч, — сказал мне недавно Кошкомоев. — Ты себе и ухом не поведешь, а у тебя в год, гляди, и есть пятьсот рублей.

Я долго ходил по комнате, слушая его речи. Когда он рассказал мне о двух неудавшихся предприятиях с зонтиками и булавками, я усмехнулся и, похлопав его по плечу, сказал:

— Я вижу, что ты, Кошкомоев, деловой человек, но, к сожалению, дела тебе все время подвертывались неподходящие... У меня есть для тебя дело... Дело самое верное, и, главное — никаких разочарований!

— Честное слово?

— Уверяю тебя. Вот в чем оно заключается: дай мне три тысячи.

— Для чего?

— Не для чего, а для кого... Для меня.

— А какая мне от этого польза будет? Сколько процентов?

— Не хочу тебя обольщать. Нисколько процентов тебе не будет. Просто давай мне три тысячи — и конец.

— Значит, дела никакого нет?

— Чудак ты! Да ведь это и есть дело: ты даешь мне три тысячи.

— А что я наживу на этом?!

— Ну... Наживешь ты две тысячи.

— Каким образом?

— Потому что я беру всего три тысячи. А мог бы взять пять. Как другие.

— Не хочу, — твердо сказал Кошкомоев. — Ты смеешься надо мной.

— Смотри, — пригрозил я. — Потом будешь плакаться. «Лучше бы уж, — скажешь ты, — я ему отдал зря эти три тысячи, чем потерял на глупейшем деле пять». Да уж поздно будет.

— Ну, теперь-то уж я поумнел, братец. Теперь меня не поймашь.

Я многозначительно пожал плечами и ушел.

* * *

В тот же день к Кошкомоеву пришел мой приятель Фuffyкин с предложением крайне заманчивого дела, идея которого принадлежала мне.

— Попадались ли вам в газетах фразы военных корреспондентов: «около нас разорвался чемодан», «чемоданы рвались безостановочно», «это был редкий экземпляр неразорвавшегося чемодана»?

— Читал, — сказал Кошкомоев.

— Что же это доказывает?

— А что же это, действительно, доказывает? — прищурился Кошкомоев.

— Доказывает, что теперь дорожные офицерские вещи стали выделывать крайне небрежно, и офицер не может нигде купить хорошего, прочного чемодана, не рискуя, что он разорвется в первом бою. Если бы мы открыли с вами на паях фабрику прочных, не рвущихся чемоданов...

* * *

— Хотел бы я знать, — жаловался мне Кошкомоев, — какой это негодяй выдумал, что рвущиеся чемоданы — это те, в которые кладутся разные вещи? Открыли фабрику, нечего

сказать. Зря на этом деле пять тысяч потерял. Лучше бы я тебе тогда три тысячи дал.

— Не беспокойся, — серьезно сказал я. — Я их уже получил.

— Что ты говоришь?!

— Конечно. Идея о чемоданах — моя. Жаль только, что посреднику пришлось отдать две тысячи.

— Зачем же ты это сделал?

— Зачем? Потому что вы, дураки, странный народ! На простое, честное предложение вы не откликаетесь, а если вам поднести то же самое предложение под невероятным гарниром лжи, нахальной выдумки и заманчивого золотого дождя — вы готовы отдать себя со всеми потрохами!..

Кошкомоев задумался.

Потом — знаете, что он спросил?

— Что ты хочешь этим сказать?

* * *

Читатели! У Кошкомоева, Ивана Андреевича, есть еще пять тысяч...

Понимаете?

Адрес его всегда можно узнать в адресном столе.

Понимаете?

ХВОСТ ЖЕНЩИНЫ

Недавно мне показывали ручную гранату: очень невинный, простодушный на вид снаряд; этакий металлический цилиндр с ручкой. Если случайно найти на улице такой цилиндр, можно только пожать плечами и пробормотать словами крыловского петуха: «Куда оно? Какая вещь пустая...»

Так кажется на первый взгляд. Но если вы возьметесь рукой за ручку, да размахнетесь поэнергичнее, да бросите подальше, да попадете в компанию из десяти человек, то от этих десяти человек останется человека три, и то — не полных: или руки не будет хватать, или ноги.

Всякая женщина, мило постукивающая своими тоненькими каблучками по тротуарным плитам, очень напоми-

нает мне ручную гранату в спокойном состоянии: идет, мило улыбается знакомым, лицо кроткое, безмятежное, наружность уютная, безопасная, славная такая; хочется обнять эту женщину за талию, поцеловать в розовые полуоткрытые губки и прошептать на ушко: «Ах, если бы ты была моей, птичка моя ты райская». Можно ли подозревать, что в женщине таятся такие взрывчатые возможности, которые способны разнести, разметать всю вашу налаженную мужскую жизнь на кусочки, на жалкие обрывки.

Страшная штука — женщина, и обращаться с ней нужно, как с ручной гранатой.

* * *

Когда впервые моя уютная холостая квартирка огласилась ее смехом (Елена Александровна пришла пить чай), мое сердце запрыгало, как золотой зайчик на стене, комнаты сделалось сразу уютнее, и почудилось, что единственное место для моего счастья — эти четыре комнаты, при условии, если в них совет гнездо Елена Александровна.

— О чем вы задумались? — тихо спросила она.

— Кажется, что я тебя люблю, — радостно и неуверенно сообщил я, прислушиваясь к толчкам своего сердца. — А... ты?..

Как-то так случилось, что она меня поцеловала — это было вполне подходящим, уместным ответом.

— О чем же ты все-таки задумался? — спросила она, тихо перебирая волосы на моих висках.

— Я хотел бы, чтобы ты была здесь, у меня; чтобы мы жили, как две птицы в тесном, но теплом гнезде.

— Значит, ты хочешь, чтобы я разошлась с мужем?

— Милая, неужели ты могла предполагать хоть одну минуту, чтобы я примирился с его близостью к тебе? Конечно, раз ты меня любишь — с мужем все должно быть кончено. Завтра же переезжай ко мне.

— Послушай... но у меня есть ребенок. Я ведь его тоже должна взять с собой.

— Ребенок... Ах да, ребенок!., кажется, Марусей зовут?

— Марусей.

— Хорошее имя. Такое... звучное! «Маруся». Как это Пушкин сказал? «И нет красавицы, Марии равной»... Очень славные стишки.

— Так вот... Ты, конечно, понимаешь, что с Марусей я расстаться не могу.

— Конечно, конечно. Но может быть, отец ее не отдаст?

— Нет, отдаст.

— Как же это так? — кротко упрекнул я. — Разве можно свою собственную дочь отдавать? Даже звери, и те...

— Нет, он отдаст. Я знаю.

— Нехорошо, нехорошо. А может быть, он втайне страдать будет? Этак в глубине сердца. По-христиански ли это будет с нашей стороны?

— Что же делать? Зато я думаю, что девочке у меня будет лучше.

— Ты думаешь — лучше? А вот я курю сигары. Детям, говорят, это вредно. А отец не курит.

— Ну, ты не будешь курить в этой комнате, где она, — вот и все.

— Ага. Значит, в другой курить?

— Ну да. Или в третьей.

— Или в третьей. Верно. Ну, что ж... (я глубоко вздохнул). Если уж так получается, будем жить втроем. Будет у нас свое теплое гнездышко.

Две нежные руки ласковым кольцом обвилились вокруг моей шеи. Вокруг той самой шеи, на которую в этот момент невидимо, незримо уселись пять женщин.

* * *

Я вбежал в свой кабинет, который мы общими усилиями превратили в будуар Елены Александровны, и испуганно зашептал:

— Послушай, Лена... Там кто-то сидит.

— Где сидит?

— А вот там, в столовой.

— Так это Маруся, вероятно, приехала.

— Какая Маруся?! Ей лет тридцать, она в желтом платке. Сидит за столом и мешает что-то в кастрюльке. Лицо широкое, сама толстая. Мне страшно.

— Глупый, — засмеялась Елена Александровна. — Это няня Марусина. Она ей кашку, вероятно, приготовила.

— Ня... ня? Какая ня... ня? Зачем ня... ня?

— Как зачем? Марусю-то ведь кто-нибудь должен нянчить?

— Ах, да... действительно. Этого я не предусмотрел. Впрочем, Марусю мог бы нянчить и мой Никифор.

— Что ты, глупенький! Ведь он мужчина. Вообще, мужская прислуга — такой ужас...

— Няня, значит?

— Няня.

— Сидит и что-то размешивает ложечкой.

— Кашку изготвила.

— Кашку?

— Ну да, чего ты так взбудоражился?

— Взбудоражился?

— Какой у тебя странный вид!

— Странный? Да. Это ничего. Я большой оригинал...

Хи-хи.

Я потоптался на месте и потом тихонько поплелся в спальню.

Выбежал оттуда испуганный.

— Лена!!!

— Что ты? Что случилось?

— Там... В спальне... Тоже какая-то худая, черная... стоит около кровати и в подушку кулаком тычет. Забралась в спальню. Наверное, воровка... Худая, ворчит что-то. Леночка, мне страшно.

— Господи, какой ты ребенок. Это горничная наша, Ульяша. Она и там у меня служила.

— Ульяша. Там. Служила. Зачем?

— Деточка моя, разве могу я без горничной? Ну, посуду сам.

— Хорошо. Посудю. Нет, и... что я хотел сказать?.. Ульяша?

— Да.

— Хорошее имя. Пышное такое. Ульяния. Хи-хи. Служить, значит, будет? Так. Послушай: а что же нянька?

— Как ты не понимаешь: нянька для Маруси, Ульяша для меня.

— Ага! Ну-ну.

Огромная лапа сдавила мое испуганное сердце. Я еще больше осунулся, спрятал голову в плечи и поплелся: хотелось посидеть где-нибудь в одиночестве, привести в порядок свои мысли.

— Пойду на кухню. Единственная свободная комната.

* * *

— Лена!!!

— Господи... Что там еще? Пожар?

— Тоже сидит!

— Кто сидит? Где сидит?

— Какая-то старая. В черном платке. На кухне сидит. Пришла, уселась и сидит. В руках какую-то кривую ложку держит, с дырочками. Украла, наверное, да не успела убежать.

— Кто? Что за вздор?!

— Там. Тоже. Сидит какая-то. Старая. Ей-Богу.

— На кухне? Кому ж там сидеть? Кухарка моя, Николаевна, сидит там.

— Николаевна? Ага... Хорошее имя. Уютное такое. Послушай: а зачем Николаевна? Обедали бы мы в ресторане, как прежде. Вкусно, чисто, без хлопот.

— Нет, ты решительное дитя!

— Решительное? Нет, нерешительное. Послушай: в ресторанчик бы...

— Кто? Ты и я? Хорошо-с. А няньку кто будет кормить? А Ульяну? А Марусе если котлеточку нажарить или яичко? А если моя сестра Катя к нам погостить приедет?! Кто же в ресторан целой семьей ходит?

— Катя? Хорошее имя — Катя. Закат солнца на реке напоминает. Хи-хи.

* * *

Сложив руки на груди и прижавшись спиной к углу, сидел на сундуке в передней мой Никифор. Вид у него был неприятный, загнанный, вызывавший слезы.

Я повертелся около него, потом молча уселся рядом и задумался: бедные мы оба с Никифором... Убежать куда-нибудь вдвоем, что ли? Куда нам тут деваться? В кабинете — Лена, в столовой — няня, в спальне — Маруся,

в гостиной — Уляша, в кухне — Николаевна. Гнездышко... хотел я свить, гнездышко на двоих, а потянулся такой хвост, что и конца ему не видно. Катя, вон, тоже придет. Корабль сразу оброс ракушками, и уже на дно тянет, тянет его собственная тяжесть. Эх, Лена, Лена!..

— Ну что, брат Никифор! — робко пробормотал я непослушным языком.

— Что прикажете? — вздохнул Никифор.

— Ну вот, брат, и устроились.

— Так точно, устроились. Вот сижу и думаю себе: на-верное, скоро расчет дадите.

— Никифор, Никифор... Есть ли участь завиднее твоей: получишь ты расчет, наденешь шапку набекрень, возьмешь в руки свой чемоданчик, засвистишь, как птица, и порхнешь к другому холостому барину. Заживете оба на славу. А я...

Никифор ничего не ответил. Только нашел в полутьме мою руку и тихо пожал ее.

Может быть, это фамильярность? Э, что там говорить!.. Просто приятно, когда руку жмет тебе понимающий человек.

* * *

Когда вы смотрите на изящную, красивую женщину, бойко стучащую каблучками по тротуару, вы думаете: «Как-кая милая! Как бы хорошо свить с ней вдвоем гнездышко».

А когда я смотрю на такую женщину, я вижу не только женщину — бледный, призрачный тянется за ней хвост: маленькая девочка, за ней толстая женщина, за ней худая, черная женщина, за ней старая женщина с кривой ложкой, усеянной дырочками, а там дальше, совсем тая в воздухе, несутся еще и еще: сестра Катя, сестра Бася, тетя Аня, тетя Варя, кузина Меря, Подстега Сидоровна и Ведьма Ивановна... Матушка, матушка, пожалей своего бедного сына!..

* * *

Невинный, безопасный, кроткий вид имеет ручная граната, мирно лежащая перед вами.

Возьмите ее, взмахните и подбросьте: на клочки разметется вся ваша так уютно налаженная жизнь, и не будете знать, где ваша рука, где ваша нога!

О голове я уже и не говорю.

ДАМА В СЕРОМ

Когда пароход отходил из Александрии, мы уже чувствовали себя тесно сплоченной однородного состава компанией.

Свела нас вместе и сдружила общая страсть к тому, что на нашем языке называлось «розыгрыш». «Разыграть» кого-нибудь, поставить в дурацкое положение каждый считал своей преимущественной специальностью, и поэтому за трехдневное пребывание в Каире из нас четверых составила солидная, хорошо сыгравшаяся группа.

Четверо: молодая, живая, как ртуть, певица, художник с очень серьезным лицом и вечно смеющимися жульническими глазами, молодой, но многообещающий коммерсант — и я.

Первое наше знакомство началось с того, что все трое подошли ко мне на веранде «Гелиополиса» с самыми серьезными лицами и озабоченно спросили, в первый ли я раз попадаю в эти края?

— В первый. А что?

— Видите ли, тут очень часто бывают такие сильные тропические ливни, что вода заливает дома до самых крыш; поэтому все ложатся спать, надев на себя предварительно спасательный пояс. Советуем и вам.

Я с чувством пожал всем троем руки.

— Спасибо! — пролепетал я растроганно. — Я никогда не забуду вашего милого отношения, но дело-то в том, что я для того специально сюда и приехал...

— Для чего?! — спросили все в один голос.

Из груди моей вырвался стон.

— Чтобы умереть! Я уже слышал о здешних ливнях и решил, что это место будет моей могилой... Поверьте, господа, что жизнь так тускла, сера и бессодержательна, что я... и вам советую... тоже... бросить свои пояса и... то-во...

— Та-ак, — разочарованно протянула певица. — Свой человек, оказывается. Ну, в таком разе, будем знакомы.

— То-то и оно, — рассмеялся я, по-новому пожимая всем руки.

С тех пор мы стали неразлучны...

Когда пароход вышел из александрийской гавани, мы, еще скучающие на новом месте, вдруг заметили молодого

господина — рыжеватую веснушчатую личность с тщательно закрученными усиками и остолбенелыми глазами навывкате. Он, выпятив грудь, важно вышагивал по палубе тощими длинными ногами, облаченными в изумительной белизны фланелевые брюки, через каждые десять шагов останавливался, нагибался к этим брюкам и каждый раз осматривал их, прищулив один глаз, с затаенным восторгом и удивлением. Видимо, белизна и свежесть этих брюк доставляли ему много невинной радости.

Мы сразу обратили внимание на этого элегантного молодого господина, и певица после третьего тура белоногого незнакомца заявила нам самым категорическим тоном:

— Есть работа.

— Заметано! — отвечали мы, кивнув головами.

Художник, ни секунды не медля, взял меня под руку и повлек вслед за восторженно настроенным юношей.

— Какие чудесные брюки! — громко сказал я.

— Да, изумительные. Глаз нельзя отвести, — подхватил художник.

Долговязый юноша вздрогнул, как лошадь, получившая поощрительный удар хлыста, и его белые брюки еще быстрее замелькали на фоне бирюзового моря.

— По-моему, нужно иметь большой вкус, чтобы отыскать такие прекрасные брюки.

— У человека хорошего общества, батенька, вкус — всегда природное свойство. Этого одними деньгами не достигнешь.

— По-моему, это граф.

— Голубая кровь, сразу видно!

Изнемогая от этих восторженных похвал, белоногий юноша прислонился к перилам и бросил на нас самый приветливый взгляд.

— Вам, господа, кажется, понравились мои брюки, — начал он, — хотя в обществе и не принято заговаривать с незнакомыми, но вы чрезвычайно симпатичные, и потом — тут пароход — значит, некоторая вольность допускается. Позвольте представиться: Лев Михайлович Цепкин, помощник провизора из Херсона. Да, брюки хорошие. Я таких брюк в Каире купил пятеро. Почти все деньги на них, проклятых, истратил.

Но в этом слове «проклятых» вместо ненависти прозвучала такая нежность, которая может вырваться только у матери, говорящей о своем чрезмерно шаловливом ребенке.

— Да, — сказал художник, восторженно глядя на юношеские ноги, — с такими брюками можно больших дел наделать.

Очевидно, художник коснулся самой чувствительной струны.

— Вы думаете? — радостно взвизгнул элегантный Цепкин. — Представьте себе, что я надеюсь тоже. Вы знаете, тут одна дама, полная такая, так она так на меня посмотрела, что я чуть не упал. Вы не знаете — она богатая?

— А вы бы женились на ней?

Цепкин скривился самым аристократическим образом.

— Ммм... Н-не знаю. Я, видите ли, кроме богатства ищу в женщине и красоту — как духовную, так и физическую.

— И вы совершенно правы! — подхватили мы оба. — На мелочи размениваться не стоит. Эта полная дама — чепуха. У нее, мы точно узнали, и капиталов-то всего тысяч триста.

Цепкин погрузился в задумчивость.

— Вы думаете, это мало?

— Для вас? Конечно, гроши. Нет, вы эту полную даму бросьте. Собственно, я уже знаю, кто на вас обратил внимание...

— Ой, слушайте, кто?! — как сухой стог от огня вспыхнул юноша. — Где она?

— Кто, вы спрашиваете? Дама в сером, вот кто.

— Что вы говорите? Та, которая в английском сером костюме? Которая тоже села в Александрии? Красивая такая блондинка? Та, за которой несли два чемодана желтой кожи и серый шагреновый саквояжик?

— Ну да, эта самая. На нее весь пароход обратил внимание. А она, ни на кого не смотря, взглянула только на вас, вздохнула и прошла в каюту. А потом мы слышали, как она спросила у горничной: «Вы не знаете, кто это тот интересный господин в таких прекрасных брюках?»

Глаза Цепкина загорелись. Он погладил ладонью свои брюки с видом хозяина, который гладит собаку, сослужившую ему службу, — и вскричал:

— Но ведь она же замечательно красивая!!

— Еще бы.

— Слушайте, вы заметили, у нее в ушах какие камни, а? Слушайте, как вы думаете — они настоящие?

— Фи, господин Цепкин! Вы ведь человек светский, а задаете такие вопросы. Разве дама, так одетая и с такими чемоданами, наденет фальшивые бриллианты?

— Положим, верно. Слушайте! А вдруг она иностранка?

— Ну так что же?

— А как я с ней буду тогда разговаривать, если я ни на одном языке, кроме немножко по-латыни, не разговариваю.

— Попробуйте по-латыни, — посоветовал я, — корни общие, может быть, и разберетесь.

— Что такое корни? — опечалился Цепкин. — С одними корнями далеко не уедешь. И об чем я буду с ней говорить по-латыни? Об лекарствах?

— Успокойтесь, мой молодой друг, — хлопнул его по плечу художник. — Я все узнал! Она русская, была замужем за венгерским миллионером, теперь вдова.

— Слушайте! Это же замечательно! Вы знаете, я подойду к ней и познакомлюсь...

— Конечно. Чего там зевать.

— Только я пойду переодену брюки. Эти уже немного, кажется, запылились, а?

— Обязательно. Ну, успеха вам!

* * *

Молодая, очень красивая дама сидела в одиночестве на палубе в шезлонге, и ее печально-задумчивые глаза бесцельно бродили по далекому ярко-синему горизонту.

Наша «труппа» столпилась у перил в трех шагах от нее, а Цепкин, уже переодевшийся, как коршун, делал круги вокруг одинокого шезлонга, приближаясь с каждым кругом к молодой красавице.

Наконец он приблизился к ней вплотную и заговорил. Мы насторожились.

— Мадам, — шаркнул он ослепительно белой ногой. — Хотите, я вам принесу лимон?

Когда дама, вздрогнув, обернулась к нему, на лице ее было написано самое откровенное изумление.

— Лимон? Боже мой, зачем?

- Да знаете... Если у кого морская болезнь, так поможет. Дама в сером улыбнулась.
- Но ведь сейчас качки нет. Море совершенно спокойно.
- Да, положим, верно. Далеко изволите ехать?
- В Киев.
- Хороший город.

Наступила долгая пауза.

— Вы знаете, мадам, как я смотрю на женщин? Для меня важно не только тело, но и душа. Можете представить?

— Это очень благородный взгляд.

— Верно? Ну, вот видите. А в нашем обществе на женщину смотрят, как на красивый кусок мяса.

— А вы человек общества? — рассеянно спросила дама в сером, очевидно думая о чем-то другом.

— Да, знаете. Я иногда вращаюсь. Вы любите читать книги?

— Изредка.

— Я много читаю. Мне нравятся больше рассказы или романы из великосветского быта. Чистенькая жизнь, не то что пролетариат. Верно?

— Мм... не знаю.

— Вы читали роман Апраксина «Алзаковы»? Нет? Я читаю сейчас. Знаете, тут на пароходе общество смешанное, а там в своей каюте, когда читаешь, так будто сам ведешь светскую жизнь. Сколько стоят такие серьги, мадам?

— Не помню. Тысяч шесть, кажется.

— Здорово! Двадцать коров можно купить на эти деньги. Двадцать коров висят на таких маленьких ушках, хе-хе!

.....

— Ну, что? — подошел к нам Цепкин, поглядывая на нас довольно снисходительно. — Не познакомился? Видите, как просто.

— А вы на нее произвели впечатление, это видно. Вообще, много значит, светский человек! Вы теперь только не зевайте — действуйте энергичнее, и через две недели она будет madame Цепкина.

Юношу точно щекотали — так он смеялся.

— А что вы думаете! Я с ней вечером буду гулять по палубе.

— Скажите, — обратился к нему коммерсант. — Вы ведь хорошо знаете светскую жизнь.

— Немножко, — скромно усмехнулся Цепкин.

— Скажите: можно рыбу есть ножом?

На лице Цепкина отразился неподдельный ужас.

— Боже вас сохрани! Ни под каким видом!! Вилкой! Только вилкой.

— А к смокингу белый галстук можно надеть?

— Можно. Только если едете на большой вечер. На маленький вечер надо надеть что-нибудь интименькое. С крапинками. Только не регат. Боже вас сохрани от регата.

— Спасибо, — пожал коммерсант юношеву руку. — Вы разрешите изредка обращаться к вам за такими справками?

— Сколько угодно! Я очень рад.

— Славный парень! Недаром вдова, когда вы с ней разговаривали, глаз с вас не сводила.

— Серьезно?

— Уверяю. Действуйте, действуйте, мой молодой друг! Нажимайте педали. За вас ваша молодость и красота!

* * *

Эта странная игра продолжалась все время, пока пароход шел к Пирею. Постепенно все пассажиры обратили внимание на вольты юноши в белых брюках и на наше во всем этом участие.

Нам даже стали помогать. Даму в сером намеренно оставляли в одиночестве, чтобы дать возможность предприимчивому Цепкину начать новую атаку.

Часть пассажиров принялась усиленно и громко восхищаться Цепкиным, а другая часть, зацапав предприимчивого юношу где-нибудь в уголке, начинала указывать ему на тот или иной симптом пробуждения к нему любви со стороны серой дамы.

— Вы заметили, Цепкин, как она на вас поглядела, когда вы ей за обедом передавали горчицу?.. Она намеренно хотела коснуться своими пальцами ваших пальцев...

— Ну?.. Серьезно? Хи-хи!

— Конечно. А вечером нарочно сидела дальше, чтобы вы к ней подошли...

Работа кипела вовсю.

Многие добровольцы по неопытности пересаливали, но юноша в белых брюках был так самодовольно глуп, что ничего не замечал.

Удивительнее всего, что дама в сером тоже ничего не замечала, хотя мы и недоумевали — почему? Была она очень не глупа, и все ее разговоры с другими, более солидными пассажирами, постоянно доказывали это.

Была она как будто «не от мира сего», как говорила певица, часто совсем не понимала, что ей нашептывал белоногий юноша, и от этого пикантная комбинация, задуманная нами, казалась еще уморительнее.

* * *

Кончилась вся затея с «розыгрышем» ровно за два часа до Пирея, когда все пассажиры сидели за обеденным столом.

Цепкин, которого по общему молчаливому уговору усаживали рядом с дамой в сером, покончив с рыбой (только вилка! Боже сохрани нож!), потер руки и обратился к своей соседке с самым светским видом:

— Ну-с, вот вам и Пирейчик! Знаете что, мадам? Давайте мы устроим маленький кутеж, а? От Пирея до Афин десять минут езды — поедем в Афины. И художник с нами, и певица, и вообще вся наша тесная компания, а?

Вот мой план: в Афинах пойдем в кинематограф, я вам буду объяснять на армянском языке картины — вы увидите, как смешно! А потом — в какой-нибудь шантанчик! Покушаем чего-нибудь вкусенького, велит заморозить бутылочку, посмотрим на певичек и после этакого тарарама, взвинтив, как следует, свои нервочки, — домой, баиньки! Я буду вашим кавалером, мадам, хотите?

— Что? — спросила дама в сером, будто очнувшись от дремоты.

Цепкин аккуратно повторил весь свой соблазнительный план: кинематограф с армянскими объяснениями, шантанчик, бутылочка замороженного, а потом — баиньки. Я ваш кавалер — компренэ?

Все насторожились, ожидая ее ответа, потому что на эту авантюру Цепкин возлагал очень крупные, солидные надежды.

— Нет, — вдруг сказала дама с какой-то мягкой решительностью. — Ни в шантан, ни в кинематограф я с вами не поеду.

— Почему, почему же? — завопил Цепкин. — Нас ведь никто там не знает — чего стесняться? Конечно, в России я бы этого не предложил, но тут? Среди грекосов!.. Ну, мадам! Скажите же вашими розовыми губками: да!

— Я не могу поехать...

— Но почему же? Вот и поговорите вы с ней!

— Потому что я везу на этом пароходе труп моего бедного мужа, скончавшегося на прошлой неделе... Понимаете?

Гром среди ясного неба. Мина, попавшая в борт парохода. Бомба, разорвавшаяся среди нас, — все это слабо выразило бы то впечатление, которое произвели простые, полные достоинства и глубокой внутренней тоски слова дамы.

Молчание воцарилось надолго.

Никто не смотрел друг на друга, а когда кончился этот проклятый обед, все вздохнули с таким облегчением, будто им отпустили веревочные петли, сжимавшие шеи.

ЧЕЛОВЕК ОБ ОДНОЙ ИСТОРИИ

Скрипачев.

Так его звали.

А больше ничем, решительно ничем он не отличался от миллионов других Скрипачевых, Григорьевых, Пинкиных и Васильевых, населяющих нашу необъятную матушку-Россию.

Трудно сказать что-либо о таком человеке.

Прежде всего, как найти его, как выхватить из миллионов других Скрипачевых и Пинкиных, если все эти Григорьевы, Пинкины и Васильевы так печально похожи друг на друга, так единообразны: небольшая бородка, стриженные волосы, нос не большой, не маленький, глаза обыкновенные, какого-то грязноватого цвета, рот как рот, фигура как фигура, рост, что называется, средний — черт знает что такое!

Среди Григорьевых, Васильевых и Пинкиных не бывает ни горбатых, ни дерзких преступников, ни пианистов —

для этого есть фамилии Полуляховых, Падеревских, Гофманов...

В одном ресторане среди других официантов прислуживали посетителям двое: Петр и Павел. Если бы их поставить рядом, сразу можно было отличить Петра от Павла — лица были разные, но стоило только Павлу отойти от Петра и убежать за чем-нибудь в буфет, то сразу же делалось неизвестным, кто остался: Петр или Павел? И кто суетится у буфета: Павел или Петр?

Даже завсегдатаи, посещавшие ресторан годами и прекрасно помнившие имена всех носатых, криворотых, или маленьких, или больших слуг, к Петру и Павлу обращались так:

— Эй, Павел!.. Или нет — Петр. Да нет, это Павел... Павел, голубчик, принеси еще бутылочку пива.

— Сей минутой-с, — отвечал Петр.

К Павлу обращались:

— Ты ведь, кажется, Петр?

— Никак нет: Павел.

— Ну? Смотри-ка, братец, какая штука! А ведь я думал, что ты Петр. Ну, принеси мне фруктовой.

От этой ли причины или от какой другой, но только Павел однажды повесился. Этим он раз навсегда существенно отличился от Петра, продолжавшего метаться по ресторану с салфеткой под мышкой.

И все же, когда я смотрел на оставшегося в живых Петра, я думал:

— Выходит, что Павел-то совсем не был похож на Петра... А может быть и так, что Петр побеждает еще несколько дней по ресторану, а потом спустится в погреб и повесится, заочно сравнившись со своим коллегой, после чего даже хозяин ресторана не разберет: кто, собственно, из них Петр, кто Павел и чем они отличались друг от друга.

Судьба двух ресторанных слуг не имеет, конечно, никакого отношения к моему рассказу, но мне только хотелось указать на следующее: если в маленьком ресторане нашлись два человека, так грубо, по-лакейски, похожих друг на друга, то сколько же таких пылинок вертится в огромном солнечном столбе, называемом земной жизнью?

Так вот — Скрипачев.

Когда я познакомился с ним и с его женой, довольно миловидной дамой, моя первая мысль была такая: «Собственно, если она ему верна, то по какой причине? Чем он отличается от других Васильевых и Пинкиных, с такими же мутными глазами, с подстриженными бородками, таких же служащих в контроле сборов, или в государственном контроле, или в контрольной палате — Бог его знает, а я и до сих пор не знаю, в каком из этих скучных учреждений служит Скрипачев... Ведь едва ли есть какая-нибудь разница для госпожи Скрипачевой: замирать ли от страсти в объятиях мужа или в объятиях контрольного чиновника Пиликина. Неужели такая уж существенная разница в том, что одного зовут Николай Иваныч, а другого — Иван Николаич?»

Не хочу я говорить плохо о госпоже Скрипачевой, но, кажется, она по этому поводу держалась моего образа мыслей...

Познакомившись со Скрипачевым, я, по логике вещей, должен был бы сейчас же и потерять его, потому что такой человек, уйдя из поля зрения, немедленно же, как капли воды с рекой, сливается с миллионом других Васильевых и Григорьевых...

Но нет, Скрипачевы памятьливы, и если уж он с вами познакомился, так уж он, встретив вас, узнает и подойдет, и поздоровается, поговорит, и осведомится:

— Ну, что слышно новенького?

Так было и со Скрипачевым.

На другой день после знакомства он подошел ко мне в городском саду, поздоровался и сказал:

— Вот удивительно: вчера только познакомились, а сегодня вот встретились. Ну, что новенького?

— На Филиппинских островах было недавно землетрясение, — сообщил я.

— Что вы говорите! Вот ужас. Вообще, знаете, эти катастрофы... Вы боитесь разбойников?

— Ну как же их не бояться, — благодушно согласился я. — Ведь ежели он разбойник, он зарезать может.

Лицо Скрипачева осветилось.

— Не всегда, — значительно возразил он.

Я промолчал.

— Не всегда-с. Нет, далеко не всегда.

— Ну, конечно, иногда и не зарежет.

Лицо Скрипачева засверкало.

— Не всегда-с! Вы знаете, например, случай, который был со мной несколько лет тому назад. О! Вот это история! Понимаете, живем мы, как это вам, может быть, известно, на Московской улице, в третьем этаже... И вот как-то ночью (это была осень — как сейчас помню) вернулся я с вечерних занятий домой, переоделся в халат, сажусь за ужин. Жена оставила. Сама-то она, знаете, легла. Потому устанет за день, прислуга-то у нас одна, ну, конечно, по хозяйству нахлопчется, вот и спать хочется. Ну-с... сажусь я за ужин, вдруг слышу в чуланчике, что в передней будто что-то ворочается. «Что бы это такое было?» — думаю. Жена спит, ребенка у нас еще тогда не было, да, вообще, если бы и был ребенок, то чего бы ему, согласитесь сами, ночью в чуланчике ворочаться. Спал бы он около матери или няньки, потому что раз ребенок, так без няньки уж никак не обойдешься. Не правда ли?

— Что? — очнулся я от сладкой дремоты.

— Я говорю, не мог ведь быть ребенок в чулане или кошка там, потому что у нас и кошек-то нет. Прислушался я — нет, тихо. Ужинаю дальше. Как сейчас помню — котлетку жена оставила, холодную, стакан молока, ну и, конечно, хех-хе, рюмочку водчонки. Ем я — опять что-то шевелится. А бес так меня и толкает — пойди посмотри, пойди посмотри... Встал я, иду в чуланчик... А в руках у меня еще вилка, и на вилке, представьте, кусок котлеты... Открываю я дверь в чуланчик — чуланчик у нас в конце коридора, мы там разную рухлядь складывали, старые корзины и прочее там, — открываю дверь — в чулане темно. Вдруг слышу, кто-то сопит... «Кто там?» А оттуда-то ка-ак прыснет, да в коридор. Смотрю, мужчина росту среднего и одет не так чтобы. И как он туда забрался — ума не приложу. Я как крикну: «Держи его! Вор!» А он на меня: «Молчи, а то только тебе и жить!» Можете представить, какой мерзавец! Он же ко мне залез, он же на меня и кричит. Но, однако, смотрю, в руках у него ни ножа, ни револьвера — только одну корзиночку держит, куда мы колбасу от крыс прятали. И вдруг он

меня ка-ак хватит этой корзинкой по голове. Я тут и свету не взвидел: сам кричу караул, а сам его в бок вилкой, на которой еще котлету не объел... Как взвоят он да в столовую, да к окну, да раму плечом как саданет — вскочил на подоконник да по водосточной трубе вниз... Как он себе шею не сломал — прямо даже удивительно. Заявлял я утром в участок, да что толку? Разве наша полиция что-нибудь знает...

— Занятная история, — пробормотал я.

— А еще бы. Я его, понимаете, вилкой, да в бок, да в бок. Даже кровь была на вилке, ей-Богу. Потом до утра не спали: рама-то, представьте себе, выбита, ночью не исправишь, так такого холодища напустили, что зуб на зуб не попадал.

Выпустив из себя эту историю, он, как игрушечная резиновая свинка, выдохся, еще раз слабо что-то пискнул и вяло свалился на бок.

По крайней мере, когда я, чтобы ободрить его, заметил: «А у вас, очевидно, в жизни было много любопытных приключений» — он поглядел на меня угасшим взором и промямлил: «Нет, какие же у меня приключения... Живу, как говорится, хлеб жую».

— Ну, все-таки! Ведь вот вам уже за тридцать, — поощрил я, с тайной брезгливостью разглядывая его плоскую благообразную бородку и скучные, как выжженная солнцем степь, глаза. — Наверное, за тридцать-то лет много хлебнули, а? Были и на коне и под конем...

— Да нет. Так как-то жил. Учился я тут же, в этом городе. Курса не кончил, отец умер, средств не было... Поступил сначала писцом к нотариусу, потом была маленькая протекция, попал в контроль... Получил, можете представить, полтораста рублей, тут уже надо было жениться, познакомился с Нютой, стал ухаживать, был ей не противен, вышла за меня замуж, ну так и пошло. К Новому году, думаю, 25 рублей прибавят... Нет, какие уж там приключения... Вот когда разбойник забрался — это действительно приключение. «Молчи, говорит, или только тебе и жить!..»

Вспыхнул Скрипачев в последний раз этой фразой, затрещал и — погас, погрузился в ничтожество.

Бывая в одном доме, я, к своему удивлению, встретил Скрипачева. Осведомился:

— Зачем у вас этот-то?

— Да так... познакомились как-то летом на даче — вот он и считает нужным раза два в год появиться. Человечина ничего себе, но бесцветен до гнусности.

— А рассказывал он вам историю, как он разбойника поймал?

— Ну как же! В печенках у нас сидит эта история. Каждый раз обязательно на этого вора перескочит.

— Я так думаю, что у него на всю жизнь одна только эта история и есть... Вот он и питается ею, и пережевывает, каждый раз смачивая новой слюной...

Скрипачев в это время сидел около одной старухи и, поглаживая бородку, осведомлялся:

— Ну, как вы поживаете?

— Так бы оно ничего, да глазами слаба стала. По вечерам ни читать, ни вязать. А ночи теперь длинные да темные.

— И не говорите, — оживился Скрипачев, — эти темные ночи — такой ужас. Я думаю, все преступления совершаются в темную ночь. Вы, мадам, боитесь разбойников?

— Ох, батюшка, кто ж их не боится?

— Да, но никогда не нужно терять присутствия духа. Вот, например, была со мной однажды такая история...

— Поехал, — шепнул мне хозяин дома. — Ну его к черту — пойдем к столу.

Мне сделалось душно.

— Послушайте, — предложил я хозяину. — Давайте спрячемся во дворе, а когда этот Сивачев выйдет...

— Скрипачев, — поправил хозяин.

— А когда этот Скрипачев, Пиликин, Григорьев или Васильев выйдет, набросим ему на голову пальто, повалим да поколотим хорошенько...

— Что за фантазия, — поразился хозяин. — Зачем?

— Я не могу выносить «человека об одной истории»!

Пусть будет «человек о двух историях»!

Должен покаяться: рассказав всю жизнь и приключения Ивана Николаевича Скрипачева, я как будто умышленно выдвинул на первый план только его бесцветность, его единообразие с тысячами других Скрипачевых...

Это не совсем справедливо: есть же у Скрипачева и что-нибудь свое, что отличало бы его от других Иван Николаевичей, есть же примета, по которой его можно было бы отличить от других Скрипачевых.

Такая примета есть. Она — единственная... Это его адрес.

Потому что: Иванов — миллионы, Николаевичей — тысячи, Скрипачевых — сотни. А таких Иванов Николаевичей Скрипачевых, которые жили бы на Московской улице, дом № 14, квартира 5, — только один.

Это и есть мой Скрипачев.

ДЕЛИКАТНЫЕ ЛЮДИ

К уряднику Лапову пришел по делу бывший студент Огрызко.

Урядник пил чай и читал «Ведомости», но, увидев студента, оторвался от того и другого.

«Вишь ты, студент пришел», — подумал он.

О студентах у него было какое-то двойственное представление: с одной стороны, студент учится каким-то загадочным, странным наукам, почему Лапов питал ко всем студентам тайное уважение. С другой стороны, студенты бунтовали, почему Лапов питал к ним отвращение и тайный ужас.

Пришедший студент, однако, не имел в себе ничего страшного: его широкое бородатое лицо улыбалось, и серые глаза с ласковой плутоватостью поглядывали вокруг.

— Здравствуйте, — сказал Лапов. — Чем могу служить?

— Я, видите ли, бывший студент Огрызко.

— Так-с.

— И меня, изволите видеть, из этих палестин в прошлом месяце выслали.

— Так-с.

— А я вот вернулся.

— Правильно.

— Понимаете, я, собственно говоря, не имел права вернуться, но так как у меня есть некоторые дела насчет отцовского домишка, то я и вернулся.

— Великолепно.

— Вы находите? — неуверенно спросил Огрызко.

— Что ж тут плохого! Сведу я вас сейчас в кордегардию, а завтра с десятским в город, к исправнику.

— За что же, помилуйте?

— Ну, как же... Посудите сами: вы не имели права возвращаться?

— Не имел.

— А вернулись.

— Вернулся.

— Вот, значит, я вас снова арестовываю, посылаю к исправнику, а там — как он хочет. Ясно?

— Ясно. Только ведь мне тут нужно некоторые дела закончить, а потом я сам без посторонней помощи уехал бы.

— Да ведь это незаконно?

— Незаконно.

— Ну, вот видите.

Француза, австралийца или американца такая простая, ясная, как палец, логика урядника Лапова поколебала бы, но Огрызко не был ни французом, ни австралийцем.

Он задумчиво поглядел на урядника и спросил неопределенно:

— Куропаток любите?

— Я все люблю, — ответил урядник Лапов так же неопределенно и, кроме того, сухо.

— Тут мой братишка, знаете, несколько штук подстрелил, так я бы вам парочку, а? Жирные куропатки.

— Не нужны мне ваши куропатки, — со вздохом сказал Лапов. — Арестую я вас сейчас и, значит, тово... в кордегардию... А завтра...

— Поросят любите? — отрывисто спросил Огрызко.

На это урядник Лапов ответил с большим достоинством:

— Не дорос еще поросенок до того, чтобы я его любил.

— Молочный поросенок. Братишка подстрелил. Такой, знаете, дуся, что поцеловать хочется.

Урядник отрицательно покачал головой. Сказал раздумчиво, адресуясь куда-то в угол:

— Арестую это, значит, я вас завтра и тово... к исправнику.

— Как вы смотрите на телячью ногу и бочонок соленых огурцов? — с любопытством спросил Огрызко. — Братишка, знаете, подстрелил, так я...

— Ну что вы такое говорите! Завтра, собственно, я занят, а послезавтра придется отправить вас к исправнику, чтобы, как говорится, закон исполнить в соответствии с начертаниями.

Студент вздохнул, засунул руку в карман, пошелестел там какими-то невидимыми бумажками и, затянувшись предложенной хозяином папирсой, сказал:

— Некоторые вот тоже певчую птицу обожают. Канареек. Знаете, желтенькая такая.

— Тоже нашли птицу. Смотреть не на что.

— Не скажите. Если пара... Хрустят, знаете.

— Ну, тоже нашли хрустенье! Так я, значит, так, как сказал: три дня поживете, а потом садимся мы с вами на подводу...

— Какие три дня! Я и в неделю не справлюсь...

— Не моя воля, сами понимаете.

— Я понимаю. Хорошо тут у вас на лоне природы. Зелени масса. Зелень любите?

— То есть? — прищурился Лапов.

— Я говорю: красивая вещь — зелень. Особенно ежели хрустит.

— Что вы все — хрустит да хрустит. Не люблю я зелени вашей. Что в ней! Одно легкомыслие.

— Да ведь я тихо, смирно устрою свои делишки с домишком, да и тово... Не подведу!

— При чем тут подведение. Слава Богу, не маленькие мы с вами.

— Когда зелень, то дышится хорошо. Ей-Богу.

— Кому как, господин Огрызко. Четыре дня я, конечно, могу и не знать, что вы приехали, но на пятый...

— Как можно не любить природы! — лирически прошептал Огрызко. — Люди, которые не любят зелени, все-таки должны любить ясное синее небо, любить ту синеву, которая...

— Хрустит? — иронически усмехнулся урядник Лапов.

— Бывает, что и хрустит. Подумайте! Когда глаз тонет в этой беспредельной синеве.

— Уж вы скажете тоже — беспредельная! В этакой-то чепухе да беспредельность... Эх, господин Огрызко!

— Что такое?

— Как говорится: в шесть дней сотворите все дела свои, в седьмой же — повезу я вас к исправнику, да и...

Студент с нетерпением перебил:

— Удивительный вы человек, право. Я вижу, вы без исправника дышать не можете! Кому он нужен? Вам — нет! Мне? Тем более. Слушайте, господин Лапов: не в исправнике истина, а в природе. В слиянии с нею! Поняли? Скажем, синева ясного неба оставляет вас равнодушным. Но Боже ты мой! Чье сердце не дрогнет при виде красного пылающего заката, того заката, который разлился громадной полосой, охватив чуть не полнеба...

— Полнеба? — скептически усмехнулся урядник. — Где же это полнеба? Которые? Я, конечно, не говорю... к исправнику можно и не ездить: у него дела — зачем же мы будем отнимать у него время, не правда ли?

— Золотые слова!

— Ну вот. Однако больше недели жить вам здесь никак нельзя. Вы только то сообразите...

Лапов был, очевидно, прижимистым человеком, но и Огрызко сдавал свои позиции с большим упорством и борьбой.

— Ни-ни. Меньше, чем в две недели, не управлюсь.

Лапов обиженно усмехнулся.

— Две недели! А вы давеча о каких-то канарейках говорили...

— Не понимаю я вас, — возбужденно вскричал бывший студент. — Ни птиц вы не любите, ни зелени, ни неба, ни заката. Что же, что в этом мире привлекает ваше сухое прозаическое сердце?

— Что? Вы дождик любите?

— И не подумаю его любить.

— Ну, вот и я тоже. Промокнешь до костей — что толку! Зато после дождя, когда выглянет эт-то радуга, да заиграет эт-то она...

— Редкая вещь радуга, — сухо сказал Огрызко. — Да и не к сезону она. Нет, радуга — это штука невозможная.

— Не признаете? А красивая вещь. Тут тебе и желтое, и красное, и синее, и зеленое — все чего хочешь. Под такой радугой и живется особенно. Хоть две, хоть три недели живи — одно тебе удовольствие.

Студент решительно встал и сказал еще решительнее:

— Нумизматикой интересуетесь?

— Не понимаю вас.

— Старинные деньги любите?

— А... что?

— Да есть у меня тут старинная бумажка. 25 рублей. Еще 1911 года. Вы подумайте, а! Редкость. На любителя вещь. Одна только и есть. Больше ни за какие деньги нельзя достать.

— Серьезно!

— Честное слово!

— Ну, что уж с вами делать. Дома как нашли — все в полном здоровье?

— Мать немного прихварывает, — сказал Огрызко, берясь за фуражку.

— Годы такие. Кланяйтесь ей.

— Поклонюсь.

— Братишка здоров?

— Что ему сделается?

— Положим. Долго думаете у нас прожить?

— Да как с делами управлюсь.

— Ох, эти дела.

— И не говорите.

Огрызко, весело посвистывая, вышел от урядника, а урядник с видом записного нумизмата сложил вчетверо двадцатипятирублевку и сунул ее в громадный засаленный кошелек.

«КРАСНОЛАПЫЕ»

Мне неловко говорить азбучные истины, но это нужно.

Родственником просто человек не может быть. Он должен быть чым-нибудь родственником.

Если по улице идет человек и вам указывают на него:
— Вот идет родственник, — то, вполне понятно, вы спросите:

— Чей родственник?

Вероятно, нет на земле человека, который был бы сам по себе. Обязательно он чей-нибудь родственник.

Это не профессия, не занятие, но все мы в большей или меньшей степени заражены этим.

И, однако, в институте родственников есть много оттенков и градаций.

Заметьте: чем человек ничтожнее, тем его чаще называют родственником.

Если бы вы в свое время впервые увидели А.С. Пушкина и осведомились у своего знакомого: «Кто это такой?» — вряд ли бы знакомый ответил:

— Это родственник Гончаровых.

Он просто и кратко отрубил бы:

— Пушкин.

А если бы вы в том же месте встретили неизвестного молодого человека, застенчивого, краснорукого, с понуренной, покрытой рыжеватым пухом головой, то на ваш вопрос: «Кто это такой?» — получили бы неопределенный ответ:

— Родственник Каламеевых.

И больше ничего. Никакого другого определения нет.

Заметьте, если бы вы спросили, увидев впервые Каламеева: «Кто это такой?» — то никогда бы не получили ответа:

— Родственник этого, покрытого пухом, краснорукого господина.

Нет. Каламеев уже сам по себе.

А почему?

Да очень просто: Каламеев значительнее, интереснее этого краснорукого — и вот уже, видите, видите? Он воспарил над ним и раздавил его значительностью своей личности.

Будьте уверены, что краснорукий молодой человек Америки никогда не откроет, именно потому, что он — не сам по себе, а родственник Каламеевых. Он ни летательной машины не изобретет, ни разговором ярким, остроумным не блеснет, ни, вообще, даже скандала громкого, ошеломляющего не закатит.

Куда ему? Разве он человек с собственной фамилией и личностью? Нет. Он просто родственник Каламеевых.

Где уж ему, застенчивому, молчаливому и скудному, летательную машину выдумать... Он может тихонько сидеть в гостиной, пить, громко прихлебывая, чай и курить десятками дешевые, зловонные, удушливые папиросы.

— Кто это, — спросят хозяйку дома, — этот молодой господин, который сидит молча у стола?

— А, это родственник. Дальний родственник мужа.

Вот тебе и летательная машина.

Мой читатель! Если вы — никчемное, скудоумное ничтожество (извините, мало ли какие читатели бывают), вам никогда не скажут этого в глаза. О своем ничтожестве вы можете узнать только вскользь, нечаянно — именно тогда, когда вас представляют кому-нибудь:

— Позвольте представить, родственник Помидоровых.

Конец. Мрак. Если в вас еще не заглохло все человеческое, вы должны размахнуться, ударить вашего обидчика, назвавшего вас родственником, и закричать на весь мир:

— Я не родственник! Лжете! Я сам по себе! Я Николай Утюгов, зарубите себе это на носу!!

Только таким, не совсем нравственным способом и можно исправить свое тяжелое положение.

А промолчали вы — конец. Навсегда останетесь родственником.

Итак, теперь, когда мы установили, что «родственник» — это не семейное взаимоотношение одного лица к группе других, а просто очень невыгодное общественное положение, что это класс обособленный, ограниченный во всех смыслах, мы можем рассмотреть родственника как такового: откуда он взялся, чем он дышит, каковы его интересы и стремления.

* * *

Откуда берутся родственники?

Их появление совершенно случайно.

Вы женитесь.

Во время церемонии бракосочетания ваша нареченная вытаскивает из толпы гостей молчаливого красноручного гос-

подина с длинной жилистой шеей, охваченной бумажным воротничком, и представляет его вам:

— А это вот, голубчик, наш родственник Верблюдякин. Теперь он уже делается и твоим родственником.

— А это вот его жена — Верблюдякина. Поцелуйтесь, господа. Ведь вы уже свои.

Просто?

Только потому, что вас обвели со знакомой девушкой вокруг наложки, Верблюдякин смело входит в вашу жизнь, делается своим, может приходить к вам, когда ему заблагорассудится, а вы должны подсовывать его всем своим гостям — иногда умным, интересным людям — и с места в карьер обременять их Верблюдякиным.

— Мой родственник.

И скудоумны же они, эти самые Верблюдякины: не расскажет он что-нибудь забавно, не спляшет, не споет веселых куплетов под аккомпанемент пианино.

Да это бы уж Бог с ним, но он и на других действует удручающе, замораживающе.

Пусть среди ваших гостей будет сам Достоевский или Тургенев — родственник не загорится от этого, не засветится ярким светом...

Тускло поглядит на Достоевского и спросит, покуривая скверную папиросу:

— Скажите, это вы написали «Братья Карамазовы»?

— Я.

— Здорово написано. Мы с женой читали. И как это вы все фамилии действующих лиц помните? Нигде не ошибетесь. Я нарочно следил.

— Да и я тогда следил, — пожмет плечами Достоевский. — А вы что — тоже пишете?

— Нет, что вы! Я родственник хозяйки дома.

Подойдет очень солидно и деловито к Лермонтову:

— Слушайте, как это вы так: и поручик, и стихи сочиняете. Неужели начальство сквозь пальцы на это смотрит? А у вас хорошенькие стихи есть. Ей-Богу. И как это все складно, в рифму выходит.

И вот уже потух, завял Лермонтов, и вот покрылся холодным пеплом угрюмый Тургенев, а родственнику и горя мало.

Придет домой и, снимая бумажный воротничок перед отходом ко сну, рассказывает жене:

— А я с Лермонтовым познакомился. Тургенев там тоже был. Я думал, что-нибудь особенное, а они ничего... Лермонтов даже чай пил с лимоном. Там еще Сервантес был, испанец, что ли, или какой-то вообще... не здешний только. Я и с ним пробовал поговорить, да он какой-то чудной. «А ба ба, да ге ге ле», а что такое «гегеле», и сам не знает, скажи завтра Марфуше, чтобы она к сюртуку пуговицу пришила — поняла?

* * *

— Зачем родственники ходят в гости? Кроме чаю, им стараются ничего не дать. Но разве чаю у них дома нет?

Нет, тут не чай.

И, вероятно, когда родственник сидит с женой за обедом, он говорит самым озабоченным тоном:

— Давно мы у Перегудовых не были. Нехорошо. Обидятся они, что мы их забыли. Все-таки родственники. Надо будет сегодня пойти.

Родственник! Сокровище мое! Сиди дома и не рыпайся. Ей-Богу! Перегудовы на тебя не обидятся, если ты и три года не покажешь к ним носа. На дьявола ты им сдался, Перегудовым этим несчастным? У них своих забот, визитов и знакомых и без тебя много. И каких знакомых! У них бывает член Государственной думы Ревякин, писатель Полоцкий и известный адвокат Мильштейн — все интереснейшие, занимательные люди, ну, кого ты там обрадуешь своими красными лапами, жилистой шеей и бумажным воротничком?

— Да неудобно, — задумчиво отвечает родственнику его жена. — Надо пойти. А то мы их совсем забыли. Олечка Перегудова встретила меня на днях в трамвае и так прямо в упор и спрашивает: чего это, говорит, вас так давно не видно?

— Да-да. Сегодня же и пойдем. А то они такие обидчивые. Это они называют: «навестить».

— Здравствуйте, здравствуйте. Мы вас уже давно собирались навестить, да Колечка был все время занят. Насилу

собрались навестить. Теперь мы вас ждем к себе. Вы приходите как-нибудь навестить нас.

Это родственники говорят еще в передней, раскутывая свои никчемные родственнические тела, аккуратно снимая глубокие калоши и целуя по-родственному хозяина Петра Мардарыча, Ольгу Никаноровну, Петеньку, Олечку и Мусю.

Проходят в гостиную.

— Ну что, все у вас здоровеньки? — спрашивает родственник, протирая запотевшие очки.

— Слава Богу, все. У вас как?

— А ничего. Кибурдины у вас бывают?

— Давно не были.

— Что ж это они? А я все собираюсь их навестить. Ведь мы им родственники. Как же. Брат Анны Григорьевны женат на двоюродной сестре Кибурдиной.

.....

Потянулся разговор. Впечатление от него такое, будто кто-то проткнул вам щипчиками для сахара живот, зацепил внутри кончик кишки и стал медленно, постепенно вытягивать на свет Божий... По мере того как вытягивается и удлиняется кишка, худеет, мрачнеет и хиреет владелец проткнутого живота.

— Чайку не прикажете ли?

— А который час? Восемь? Ну, часика полтора мы еще можем. Что, Ваня пишет?

— Давно не получали письма.

Все это, конечно, мелко, незаметно — все эти разговоры родственников, тягучие чаепития, — все это пустяки и вместе с тем какой это ужас, какая мутная, темная болотная тина обволакивает многих, иногда даже хороших, умных, развитых людей.

Родственники пришли навестить...

Да разве так их нужно принимать?

— Здравствуйте. Что вам нужно?

— Навестить пришли вас. По-родственному.

— Лишнее все это. Ступайте, ступайте, господа. У нас все благополучно, Кибурдины не бывают, от Витечки получили письмо, а теперь ступайте. Нечего тут прохлаждаться! Делом нужно заниматься, а не пустословить.

Кратко. Мило. Разумно.

И дальше передней эти краснолапые, длинношее гуси не пойдут. Погочут что-то неодобрительное на своем тупом гусяном языке, повернутся и уйдут, переваливаясь.

Пусть потом у себя в гусятнике говорят:

— Свиныи эти Перегудовы. Мы пришли их по-родственному навестить, а они нас по-хамски приняли. Свиныи!

И пусть свиныи. Ясно ведь сказано: гусь свиные не товарищ.

* * *

Иногда наступает страшное время.

Наступают Рождественские или пасхальные праздники, когда тучи, легионы краснолапых родственников вылезут из всех щелей, вылезут даже те, которые целый год носу не показывали, а теперь считают нужным «навестить» вас, читатель, потому что иначе, по их мнению, вы обидитесь, что они вас забыли.

Гоните их в шею, читатель, бейте, унижайте, плюйте на них и разрушайте их, оскорбляйте и морите их голодом, пусть они одумаются, краснолапые, и перестанут быть родственниками.

И вам будет хорошо, и они от этого только выиграют...

БРИТВА В КИСЕЛЕ

Глава I

Два раза в день из города Калиткина в Святогорский монастырь и обратно отправлялась линейка, управляемая грязноватым, мрачноватым, глуповатым парнем.

В этот день линейка приняла только двух, незнакомых между собой, пассажиров: драматическую артистку Бронзову и литератора Ошмянского.

Полдороги оба, по русско-английской привычке, молчали, как убитые, ибо не были представлены друг другу.

Но с полдороги случилось маленькое происшествие: мрачный, сонный парень молниеносно сошел с ума... Ни с того ни с сего он вдруг почувствовал прилив нечеловеческой энергии: привстал на козлах, свистнул, гикнул и принял-

ся хлестать кнутом лошадей с таким бешенством и яростью, будто собирался убить их. Обезумевшие от ужаса лошади сделали отчаянный прыжок, понесли, свернули к краю дороги, налетели передним колесом на большой камень, линейка подскочила кверху, накренилась набок и, охваченная от такой тряски морской болезнью, выплюнула обоих пассажиров на пыльную дорогу.

В это время молниеносное помешательство парня пришло к концу: он сдержал лошадей, спрыгнул с козел и, остановившись над поверженными в прах пассажирами, погрузился в не оправдываемую обстоятельствами сонную задумчивость.

— Выпали? — осведомился он.

Литератор Ошмянский сидел на дороге, растирая ушибленную ногу и с любопытством осматривая продранные на колене брюки. Бронзова вскочила на ноги и, энергично дернув Ошмянского за плечо, нетерпеливо сказала:

— Ну?!

— Что такое? — спросил Ошмянский, поднимая на нее медлительные ленивые глаза.

Тут же Бронзова заметила, что эти глаза очень красивы...

— Чего вы сидите?

— А что?

— Да делайте же что-нибудь!

— А что бы вы считали в данном случае уместным?

— О, Боже мой! Да я бы на вашем месте уже десять раз поколотила этого негодяя.

— За что?

— Боже ты мой! Вывалил нас, испортил вам костюм, я ушибла себе руку.

Облокотившись на придорожный камень, Ошмянский принял более удобную позу и, поглядывая на Бронзову снизу вверх, заметил с ленивой рассудительностью:

— Но ведь от того, что я поколочу этого безнадежного дурака, ваша рука сразу не заживет и дырка на моих брюках не затянется?

— Боже, какая вы мямля! Вы что, сильно расшиблись?

— О, нет, что вы!..

— Так чего же вы разлеглись на дороге?

— А я сейчас встану.

— От чего это, собственно, зависит?
— Я жду прилива такой же сумасшедшей энергии, как та, которая обуяла пять минут назад нашего возницу.

— Знаете, что вы мне напоминаете? Кисель!

Ошмянский заложил руки за голову, запрокинулся и, будто обрадовавшись, что можно еще минутку не выходить из состояния покоя, спросил:

— Клюквенный?

— Это неважно. Выплеснули вас на дорогу, как тарелку киселя, — вы и разлились, растеклись по пыли. Давайте руку... Ну — гоп!

Он встал, отряхнулся, улыбнулся светлой улыбкой и спросил:

— А теперь что?

— О Боже мой! Неужели вы так и смолчите этому негодяю?! Ну, если у вас не хватает темперамента, чтобы поколотить его, — хоть выругайте!

— Сейчас, — вежливо согласился Ошмянский.

Подошел к вознице и, свирепо нахмутив брови, сказал:

— Мерзавец. Понимаешь?

— Понимаю.

— Вот возьму, выдавлю тебе так вот, двумя пальцами, глаза и засуну их тебе в рот, чтобы ты впредь мог брать глаза в зубы. Свинья ты.

И, оставив оторопевшего возницу, Ошмянский отошел к Бронзовой.

— Уже.

— Видела. Вы это сделали так, будто не сердце срывали, а неприятный долг исполнили. Кисель!

— А вы — бритва.

— Ну — едем? Или вы еще тут, на дороге, с полчаса полежите?

Поехали.

Глава II

В Святогорском монастыре гуляли. Потом пили чай. Потом сидели, освещенные луной, на веранде, с которой открывался вид верст на двадцать. Говорили...

Какая внутренняя душевная работа происходит в актрисе и литераторе, когда они остаются вдвоем в лунный теплый вечер, — это мало исследовано... Может быть, общность служения почти одному и тому же великому искусству сближает и сокращает все сроки. Дело в том, что, когда литератор взял руку актрисы и три раза поцеловал ее, рука была отнята только минут через пять.

Глава III

На другой день Ошмянский пришел к Бронзовой в гостиницу «Бристоль», № 46, где она остановилась. Пили чай. Разговаривали долго и с толком о театре, литературе.

А когда Бронзова пожаловалась, что у нее болит около уха и что она, кажется, оцарапалась тогда благодаря тому дураку о камень, Ошмянский заявил, что он освидетельствует это лично.

Приподнял прядь волос, обнаружил маленькую царапину, которую немедленно же и поцеловал.

Действенность этого неизвестного еще в медицине средства могла быть доказана хотя бы тем, что в течение вечера разговоры были обо всем, кроме царапины.

Когда Ошмянский ушел, Бронзова, закинув руки за голову, прошептала:

— Милый, милый, глупый, глупый!

И засмеялась.

— И однако он, кажется, порядочная размазня... Женщина из него может веревки вить.

Закончила несколько неожиданно:

— А оно, пожалуй, и лучше.

Глава IV

Прошло две недели. Гостиница «Бристоль».

На доске с перечислением постояльцев против № 46 мелом написаны две фамилии: «Ошмянский. Бронзова».

Глава V

В августе оба уезжали в Петроград.

В купе под убаюкивающее покачивание вагона произошел разговор.

— Володя, — спросила Бронзова. — Ты меня любишь?

— Очень. А что?

— Ты обратил внимание на то, что некоторые фамилии, когда их произносишь, носят в себе что-то недосказанное... Будто маленькая комнатка в три аршина, в которой нельзя и шагнуть как следует... Только разгонишься и уже — стоп! Стена.

— Например, какая фамилия?

— Например, моя — Бронзова.

— Что же с этим поделать?..

— Есть выход: Бронзова-Ошмянская. Это будет не фамилия, а законченное художественное произведение. Не эскиз, не подмалевка, а ценная картина...

— Я тебя не понимаю.

— Володя... Я хочу, чтобы ты на мне женился.

— Что за фантазия?.. Разве нам и так плохо?

Его ленивые, сонные веки медленно поднялись, и он ласково и изумленно поглядел на нее.

— Если ты меня любишь, ты должен для меня сделать это...

— А ты не боишься, что это убьет нашу любовь?

— Настоящую любовь ничто не убьет.

— А ты знаешь, что я из мещанского звания? Приятно это будет?

— Если ты так говоришь, то ты не из мещанского звания, а из дурацкого. Ну, Кисель, милый Кися, говори: женишься на мне?

— Видишь ли, я лично против этого, я считаю это ненужным, но если ты так хочешь — женюсь.

— Вот сейчас ты не Кисель! Сейчас ты энергичный, умный мальчик.

Она поцеловала его, а вечером, причесывая на ночь волосы, счастливая, подумала: «Уж если я чего захочу — так то и будет. Милый, мой милый Кися...»

Глава VI

Бронзова впервые приехала к Ошмянскому в его петроградскую квартиру и пришла от нее в восторг:

— Всего три комнаты, а как мило, уютно...

Она подсела к нему ближе, подкрепила силы поцелуем и, глядя его волосы, спросила:

— Володя... А когда же наша свадьба?

— Милая! Да когда угодно. Вот только получу из ка-литкинской управы документы — и сейчас же.

— А без них нельзя?

— Глупенькая, кто же станет венчать без документов? Там паспорт, метрическое...

— А зачем они лежат там?

— Документы-то? Паспорт для перемены отослал, а метрическое у тетки.

— Значит, ты это сделаешь?

— Она еще спрашивает! Чье это ушко?

— Нашего домохозяина.

— Ах ты, мышонок!.....

.....

Глава VII

Снова сидела Бронзова у Ошмянского... Он целовал ее волосы, и у него на горячих губах таяли снежинки, запутавшиеся в волосах и не успевшие еще растаять.

Потому что был уже декабрь.

— Володя...

— Да?

— Ну, что же с документами?

— С какими? Ах, да! Все собирался. Надо действительно будет поскорее написать. Завтра утром обязательно напишу.

— Спасибо, милый!.. Володя...

— Да?

— Ты хотел бы, чтобы мы вместе жили?

— Вместе? Это было бы хорошо.

— Хочешь ко мне переехать?

— Нет, что ты... Ведь я тебя стесню. Ты дома работаешь, разучиваешь роли, а я только буду тебе мешать...

— Володя... Ну, я к тебе перееду... Хочешь?
— Дурочка! Да ведь у меня еще теснее. Я пишу, ты рязучиваешь роли; оба мы будем друг другу мешать... Понимаешь, иногда хочется быть совершенно одному со своими мыслями.

Она притихла. Отвернулась и молчала — только плечи ее тихо вздрагивали.

— Катя! Ты плачешь? Глупая... Из-за чего, право?.. Это такой пустяк!

— М... не т-ак хо-те-лось...

— Ну хорошо, ну, будет по-твоему... Переезжай.

— Милый! Ты такой хороший, добрый...

И сквозь слезы, как солнце сквозь капли дождя, проглянула счастливая улыбка...

Глава VIII

Сидели в ресторане: Бронзова, Ошмянский и его приятель, Тутыкин.

— Володя! Ну что, получил уже документы?

— Понимаешь, написал я все честь-честью — и до сих пор никакого ответа. Работы у них много, что ли?.. У нас теперь что? 14 февраля? Ну, думаю, к концу месяца вышлют.

— Напиши им еще.

— Конечно, напишу.

Она посмотрела на него ласковым, любящим взглядом и сказала:

— А знаешь, что тебе очень пошло бы? Бархатная черная куртка. У тебя бледное матовое лицо, и куртка будет очень эффектна. Закажи. Хорошо?

— Да когда же я ее буду носить?

— Когда угодно! Ты ведь писатель — и имеешь право. В гости, в театр, в ресторан...

— Не слишком ли это будет бить на дешевый эффект?..

— Нет, нет! Володя... Я хочу!

— Ну, если ты хочешь, не может быть никакого разговора. Закажу.

В ту же ночь приятель Тутыкин, сидя в дружеской компании, говорил, усмехаясь:

- Совсем погибла эта размазня Ошмянский! Попал в лапы такой бабы, что она его в бараний рог скрутила.
- Красивая?
- Красивая. И острая, как бритва.

Глава IX

Когда Бронзова и Ошмянский вышли из ресторана, он сказал ей очень нежно:

- Катя... Я тебя завезу к нам домой, а сам поеду...
- Куда же? Ведь клуб уже закрыт.
- А... видишь... Мне пописать хочется. Настроение нашло.
- Ну-у-у?
- Ах, да! Я тебе не говорил! Понимаешь, я снял две маленькие комнатки и иногда утром, иногда днем удаляюсь туда поработать. Тихо, хорошо.

— Володя! — всплеснула руками Бронзова. — Да ведь это выходит, что я выгнала тебя из твоей квартиры?

— Ну, что ты... Какой вздор! Просто я иногда должен оставаться один. Знаешь, мы ведь, писатели, преоригинальный народ! Я заеду сейчас с тобой к нам и заберу кое-что: письменный прибор, лампу и одеяло. Подушки там есть.

Глава X

- Володя! Заказал куртку?
- Да, был я у портного... Так мы ни до чего и не договорились. Он, видишь ли, не знает, какой фасон... и вообще.
- Ну, едем вместе! Сейчас мы это все и устроим! Эх ты, кисель мой ненаглядный... Документы уже получил?
- Написал снова. Боюсь, не затерялись ли они где-нибудь. На почте, что ли?!
- Дома сегодня будешь?
- То есть где? У тебя? Да. Заеду чайку напиться. А потом к себе покачу: повесть нужно закончить... У себя же и заночую...

Глава XI

— Смотри, Володя, как кстати: мы собираемся к Ту-тыкиным, и тебе принесли бархатную куртку. Воображаю, как она тебе к лицу. Надень-ка ее. И я пойду переодеться.

Бронзова ушла, а Ошмянский взял куртку, положил ее на диван и потом, взяв перочинный нож, распорол под мышкой прореху вершка в два.

Сделал печальное лицо, пошел к Бронзовой.

— Чтоб его черти съели, этого портного! Сделал такой узкий рукав, что он под мышкой лопнул.

— Ну, давай я зашью.

— Стоит ли? Опять лопнет. Тем более что воротнички без отворотов у меня дома, а на этот воротничок — надеть трудно...

Глава XII

Ошмянский только что приготовил бумагу для рассказа и вывел заглавие, как в комнату постучались.

— Кто там?

Дверь скрипнула — вошла Бронзова. Она была очень бледна, только запавшие глаза горели мрачным, нехорошим огнем.

— Прости, что я врываюсь к тебе. Ведь эти комнаты, я знаю, ты снял специально для того, чтобы быть одному... Но — не бойся. Я пришла сюда в первый и последний раз...

— Катя! Что случилось?

— Что? — Она упала головой на спинку кресла и горько заплакала. — Что? — Улыбнулась печально сквозь слезы и пошутила: — Ты победил меня, Галилеянин...

— Катя! Чем?!.. Что ты говоришь?

— Ну, полно... Все равно я уйду уже навсегда, и поэтому довольно всяких разговоров и вопросов... Помнишь, при первом знакомстве я назвала тебя киселем, а ты меня бритвой. Пожалуй, так оно и есть. Я — бритва, я хотела, чтобы все было по-моему, я мечтала о счастье, я знала, что ты безвольный кисель, и поэтому мое было право — руководить тобой, быть энергичным началом в совместной жизни... Но что же получилось? Бритва входила в кисель, легко разрезывала

его, как и всякий кисель, и кисель снова сливался за ее спиной в одну тягучую, аморфную массу. Бритва может резать бумагу, дерево, тело, все твердое, все определенное — но киселя разрезать бритва не может! Я чувствую, что я тону в тебе, и поэтому ухожу!

— Катя, голубка! Что ты! Опомнись. Ну, побрани меня. Но зачем же уходить? Разве я не любил тебя? Не поступал, как ты хотела?

— Молчи!! Знаешь, как ты поступал? Я хотела, чтобы мы поженились — прошло одиннадцать месяцев, — где это? Я хотела, чтобы мы жили вместе — ты согласился... Где это? Пустяк: мне хотелось видеть тебя в бархатной куртке — носишь ты ее? Что вышло?! О, ты со всем соглашался, все с готовностью обещал. Но что вышло... Я, женщина с сильным характером, энергичная, самостоятельная, была жалкой игрушкой в твоих руках! Прочь! Не подходи ко мне!!! Ну?

Он протянул к ней руки, но она взглянула на него испепеляющим взглядом, повернулась и — ушла. Навсегда.

Одну минуту он стоял ошеломленный. Потом потер голову, подошел к письменному столу и склонился над чистой бумагой.

Долго сидел так. Потом пробормотал что-то. Неясное, нечленораздельное бормотание скоро стало принимать форму определенных слов. И даже рифмованных...

«В один чудесный день,
Когда ложилась тень,
Ко мне пробрался кирасир...»

А потом это бормотание перешло в мелодичный свист, и Ошмянский с головой погрузился в работу...

ЧЕРНАЯ КОСТЬ

Тоненькая, как былинка, кудрявая, хрупкая, с тонкими, длинными, очень красивыми ногами и немного неуклюжими от роста руками, четырнадцатилетняя Маруся зашла в комнату кухарки Катерины и, сверкая огромными глазами, радостно сказала:

— Выгляди мне юбку, пожалуйста. Я сегодня иду в цирк, на дневное.

— Выглядить можно, — согласилась Катерина, тыча в рот своему четырехлетнему сыну Ганьке край блюдца с горячим чаем.

И так как радость переполняла доброе Марусино сердце, то Маруся решила и на Катерину бросить луч-другой своего счастья.

— А ты, Катерина, была когда-нибудь в цирке?

— Нет, барышня. Не была. Где нам ходить...

Маруся от ужаса и огорчения даже всплеснула розовыми тонкими руками.

— Да что ты говоришь?! Как же это так? Ну, это прямо-таки невозможно! Уже такая большая, имеешь даже сына, а в цирке еще не была!

Катерина казалась полным контрастом порывистой, пре- бывавшей в вечном молитвенном экстазе Маруси.

Она опустила сына с колен и апатично возразила:

— А чего я там не видала, в цирке этом?

— Да как же так можно говорить! Господи! Ведь там, понимаешь, люди под потолком летают... Лошадь, например, бежит, а на нее человек ногами вскочит — понимаешь, прямо на спину ногами, — перекувырнется и перепрыгнет на другую лошадь! Вещи прямо непостижимые! А клоуны! Они такие смешные, что ужас.

И так как сердце ее все еще было переполнено радостью и любовью ко всем людям, она решительно воскликнула:

— Знаешь что? Я попрошу маму, чтобы она и тебя взяла в цирк. Мы только вдвоем, а у нас целая ложа. Хочешь, Катеринушка? Ну, соглашайся, ну, дуся!..

— Да чего там хорошего? — нерешительно возразила Катерина. — Ну, прыгают люди и пусть себе прыгают. Бог с ними.

— Но ведь ты же этого никогда не видала, Катеринушка? Ты подумай, какой ужас: оно есть, а ты его не видала!.. Я сейчас пойду попрошу маму.

* * *

Мама ломалась недолго.

— У тебя, наверное, не все дома. Ну кто же это по циркам с кухарками ходит? Хотя, положим, раз дневное, так не суть важно. Едва ли кто из наших знакомых будет там.

— Дай носик!

Маруся подпрыгнула, как собачонка, лизнула мать в нос, помчалась к Катерине, бросилась в ее объятия и даже от избытка чувств обрушила тысячу ласк на голову серьезного, мрачно сопящего Ганьки.

— Едем, едем! Воображаю, как ты будешь ахать, когда увидишь все тамошние чудеса! Ух! Я задохнусь от радости.

На извозчике ехали втроем, и Маруся, сидя у матери на коленях, то и дело восторженно заглядывала в глаза Катерине.

— Дуся, Катерина! Я так за тебя рада, я так счастлива! Мамочка, подумай: она никогда не была в цирке. Можно ли жить после этого?!

И когда все трое уселись в широкую барьерную ложу, у Маруси совершенно пропала непосредственность восприятия. Она уже не могла наслаждаться цирком, как раньше. Она собиралась переживать все впечатления отраженными от Катерины. Если бы было можно, она поместилась бы внутрь Катерины, чтобы самой пережить ее первые волшебные впечатления и восторги.

И она дрожала от нетерпения и стонала, страдая от того, что представление не начинается.

И вот вышла толпа служителей в красных берейторских костюмах, выстроилась в два ряда. Заиграла музыка, и тяжелая, сытая лошадь с плоским седлом на спине выбежала на арену. Вслед за ней выпорхнула наездница в короткой юбочке, рассыпалась целым дождем воздушных поцелуев и, как нарядная бабочка, вспорхнула на седло.

— Смотри, смотри, — шептала, дрожа от восторга, Маруся, — она стоя едет. Она через ленты перепрыгивает!! Ты посмотри: она перепрыгивает через обруч, а лошадь в это время — через барьер. Это очень трудно. Понимаешь?

Маруся ерзала на месте, вертелась и все время заглядывала в лицо спокойной монументальной Катерины.

— Нравится, нравится? — спрашивала она, вся дрожа.

— Едет хорошо, — апатично согласилась Катерина. — Только куда ж она это едет?

— Как куда? Вот тут все и будет ездить по кругу. Это ведь очень трудно.

— Раз трудно, чего ж она, дурная, едет?

— Ах, какая ты, ей-Богу, странная! Раз было бы легко, никому и не интересно. Неужели тебе не нравится? Ну, вот сейчас уже другой номер — музыкальные клоуны. Это уж тебе понравится! Смотри, на чем он играет: обыкновенные сковородки, а он по ним палочками бьет, и выходит мотив. А это! Смотри-ка, смотри! Метла, обыкновенная метла, на ней бычачий пузырь, струна, и он играет. Видишь, совсем как скрипка.

— Да на скрипке-то оно, пожалуй, лучше бы вышло, — с сомнением сказала Катерина.

— Так то же скрипка, пойми ты. На скрипке не шутка сыграть! А на этом трудно. Ну, ты подумай: кто же на метле будет играть?

— То-то же я и говорю, что не стоит, — лениво сказала Катерина, обращая глаза к потолку. — Это что ж там такое за веревки понакручены?

— А это будут летающие люди. С одной трапеции на другую будут перелетать. Замечательно интересно!

Это была неблагодарная задача: Катерина тлела и дымила, как сырое полено, а Маруся дула на это полено во всю силу своих слабых легких, стараясь раздуть священный огонь удивления и восторга.

— Ну, вот ты посмотри, вот эти акробаты... Один вспрыгнул другому на плечи, перекувырнулся в воздухе и попал на плечи третьему. Ведь это же трудно. Ну, вот ты подумай: ведь твой муж Николай этого бы не сделал. Верно ведь?

— Упал бы, — согласилась Катерина. — Да и чего ему делать? Слава Богу, в зеленой служит, свой хороший хлеб имеет. Кувырнись он так, — его хозяин в три шеи за эти кувырки. Нет, он у меня мужик умный.

Бедная Маруся, как хрупкая птичка, раздавленная солидным, спокойным, толстым поленом, свернула головку набок и умолкла, погасла до самого конца представления...

Под потолком летали люди, на земле танцевали слоны. Катерина была спокойна, монументальна по-прежнему, и только изредка из уст ее вырывались тяжелые, грузные слова:

— И чего еще люди выдумают!

Мать Маруси тоже заинтересовалась борьбой этих двух начал: восторженного, вдохновенного Марусино и железобетонного, грузного, сонного Катеринино.

Она, со своей стороны, сделала попытку зажечь Катерину.

— Ну, ты посмотри: слоны танцуют. Могла ты себе представить, чтобы слоны танцевали? А?

.. — Да, не слонячье это дело, — со вздохом соглашалась Катерина. — Нешто возможно? А что, барыня, ежели я к обеду пирожки сделаю с ливером? Ничего?

«Ну, брат, тебя не проберешь ничем», — подумала мать и, погладив угасшую дочь по худенькому плечу, сочувственно предложила:

— Может, устала? Домой хочешь?

— Что ж... пойдем домой, — вяло вздохнула Маруся. — Тут осталось одно только отделение. Не стоит его смотреть.

* * *

После обеда зажгли елку.

Огромное пышное дерево, сверху донизу унизанное сверкающими картонажами и игрушками, сияло сотней разноцветных электрических лампочек, спрятанных между густых разлапистых веток.

Гости, войдя в гостиную, ахнули от восторга.

— Чудно! Чудно! Маруся, тебе нравится?

— Да... нравится, — неохотно промямлила увядшая, угрюмая Маруся.

— Что-то она это безо всякого восторга сказала, — засмеялась мать. — Впрочем, она у меня уже девочка большая, и елкой ее не очень-то поразишь.

— А привести сюда малютку, так ведь малютка остолбенеет! — подхватил толстый господин с огненным носом.

— Нету маленьких, — усмехнулась хозяйка дома. — Бог не посылает. А ты знаешь что, Маруся?.. Приведи сюда Ганьку! Это сынишка нашей кухарки, — объяснила она огненноносому. — Пусть он полюбуется.

Угасшая Маруся вдруг снова вспыхнула и помчалась на кухню.

Крохотный человек Ганька в розовой рубашке и серых штанах до пят стоял, окруженный толпой взрослых, и, сосредоточенно сопя, глядел на елку.

И все цветные огни и картонажи отражались в его выпуклых серых глазах, а сам он маленький, на неуверенных ногах напоминал серую мышку среди огромных львов и тигров.

Но он стоял мужественно, безо всякого страха и смущения, поддерживаемый сзади у затылка за рубашку большой, сильной, пахучей рукой Марусиной мамы.

— Ну что, Ганя, нравится тебе елка? — допрашивала его Марусина мама, склоняясь к нему своим великолепным станом. — Хорошая елка? Нравится?

И все гости, тешась его оцепенелым видом, тоже наклонились к нему и, перебивая друг друга, спрашивали:

— Ну что, Ганя, хорошая елка?

— Ну чего ж ты молчишь, Ганечка? — нетерпеливо трясла его за загривок, как кошка котенка, Марусина мама. — Хорошая елка? Нравится?..

Ганя поднял на нее выпуклые осмысленные глазенки и, пощурившись немного, сказал уверенно и веско, самым солидным баском:

— Не, не нравится.

Все ахнули, сдвинулись ближе.

— Ганечка! Ну что ты такое говоришь, подумай!.. Такая елка и вдруг тебе не нравится. Ну почему она тебе не нравится? Ну скажи?

Ганя опустил голову, посопел немного и сказал полудумчиво, полусмущенно:

— Паршивая елка!

— Ах, дрянь мальчишка! — с краской негодования на щеках воскликнула хозяйка и дернула своей белой душистой рукой Ганьку за загривок. — Подумаешь, эта елка ему не нравится! Много он елок видел на своем веку! «Не нравится!»

— Просто дурак, — печально сказал господин с огненным носом. — Пусть проваливает к себе на кухню.

— Маруся, уведи его, — скомандовала мать, оттолкнув Ганьку, солидного, спокойного, серьезного.

Маруся схватила Ганьку за загривок, где начинался ворот розовой рубашки, и повлекла, как кошка своего котенка, к выходу.

— До свиданья, — сказал на прощание Ганька спокойным, уверенным басом.

* * *

Кухня...

За столом сидит муж Катерины Николай и, кряхтя, прилепляется чай.

Катерина сидит напротив него, и на лице у нее написано столько изумления, столько трепета, что, посмотри на нее в эту минуту Маруся, — она осталась бы довольна.

Катерина даже не говорит, она только ахает.

— Ах ты ж, Господи! Ведь поди ж ты, а?

— Вот тебе и поди ж, — подмигивает Николай, любуясь на ее остолбенелое удивление.

— Ах ты ж, чудеса, да и только!

— Вот тебе и чудеса.

— Это ж что ж такое будет, а?

— Вот тебе то и такое.

— Да как же это вышло?! Расскажи еще, помельче, расскажи, как и что.

— Вот тебе, как и что. Приходит, значит, вчера к моему хозяину наша Агафья, руки этак в боки, да и стала резать. «Наплевать, — говорит, — мне на вашу службу! А если, — говорит, — Панька у меня из сундука кремовые платки таскает, так это уж, — говорит, — извините... Такого, — говорит, — закону нет!» Плюнула и ушла!

— Ушла?!

— Ушла. Так вот — плюнула и ушла.

— Это что ж такое будет?! — даже застонала от удивления и трепетного ужаса Катерина.

— Вот тебе и что.

А в углу, за сундуком, сидит Ганька. На коленях у него раскрыта коробка от гильз, а в ней такие богатства, перед которыми и у пушкинского скупого рыцаря забила бы слюна: колпачок от аптечной бутылки, колесико шпоры, дохлый, совсем иссохший майский жук и довольно-таки заржавленное стальное перо.

Ганьки не узнать... Куда и солидность его девалась. Глаза широко раскрыты, блистают восторгом, а из отверстого рта тоненькой ниточкой тянется прозрачная слюна.

В это время на кухню зачем-то заходит сама барыня. Между прочим, она отдает распоряжение насчет ужина, но Ганька прекрасно понимает, что дело не в том... Просто она пришла похвастать чудесной оберткой от карамели, прилипшей к каблуку ее открытой шегольской туфли...

РОДИТЕЛИ ПЕРВОГО СОРТА

Лениво просматривая старый номер газеты, в которую было завернуто Собрание сочинений Пшибышевского, я прочел вслух заметку из хроники происшествий:

«В выгребной яме дома № 7 по Московскому переулку найден труп младенца с отрезанной головой. Дознание выяснило, что преступление совершено матерью младенца крестьянкой Мценского уезда Авдотьей Межевых, желавшей избавиться от лишней обузы...»

Земский врач Кныш, сидевший у меня, прослушал заметку и сказал:

— Держу пари, что еврейка никогда не сделала бы такой штуки!

— Почему?

— Неужели вы не знаете, что нет на свете народа детолюбивее евреев...

— Да, но я думаю — любовь в них пробуждается к детям, а не к тем бедным бесформенным комочкам мяса, еле-еле успевшим появиться на свет Божий.

— Ну, нет. Еврей любит своего ребенка до самозабвения в любой момент: при рождении, во все время роста его, любит его даже тогда, когда это уже верзила с окладистой бородой и с полдюжиной собственных детей, не менее горячо любимых. Да вот, хотите, я расскажу вам о трех этапах любви еврея к своему ребенку — этапах, которым я сам был свидетелем.

— Дело. А я вас за это угощу добрым стаканом вина.

— И это дело. Слушайте.

1. Рождение ребенка

До сих пор я без тихой умильной улыбки не могу вспомнить об этом случае.

Был я врачом в маленьком, глухом, невероятно грязном городишке. Представьте себе глубокую осень, темные улицы, грязь по колена, отсутствие средств передвижения — ей-Богу, Дантов ад красивее, наряднее и элегантнее. Он, по крайней мере, вымощен.

Однажды, когда пробило уже 11 часов, что по-тамошнему считается глубокой ночью, ко мне постучались.

Я поморщился, но открыл дверь и впустил посетителя — худого бледного еврея, одетого в непромокаемый плащ и глубокие калоши.

— Что вам нужно?

— Ой, господин доктор, — ответил он с примесью мрачного юмора, почти всегда характеризующего бедных евреев. — Что мне нужно... Вы спросите — чего мне не нужно... Мне все нужно. Но пока, если на минуточку отбросить все остальное, — так мне нужно доктора.

— Заболел кто-нибудь?

— Нет. Но жена сегодня, кажется, не прочь родить.

— Так вы бы обратились к повивальной бабке...

— Господин доктор! Вы знаете, где она живет?

— Нет, не знаю.

— Так как же вы хотите, чтобы я знал? Она же ваш коллега, а не мой коллега... Так как же вы хотите, чтобы я ее знал? Какая теперь может быть бабка, когда собаку жалко на улицу поставить. Вы полюбуйтесь на эту погоду! Я рад, что еще до вас добрался...

— Хоть извозчик-то есть у вас?

— Господин доктор! Какой может быть извозчик? У нас на весь город четыре извозчика; так один пьян, у другого лошадь больная, третий уехал в уезд, а четвертого вообще нет на свете.

— Ну, да... однако, согласитесь сами, идти пешком в такую погоду...

— Господин доктор! Вы хотите, я буду плакать, хотите, я стану на колени, хотите...

— Ну, ладно, ладно. А обратно вы меня проводите?

— Господин доктор! Я вас на руках понесу, если хотите! Я буду ложиться, если вам нужно перейти через лужу...

— Ну, ну, довольно. Жаль только, что у меня нет глубоких калош...

— Ой, какой же может быть об этом разговор?! Калоши? Натe вам мои калоши! Дождь? Натe вам мое непромокаемое пальто.

— А вы-то сами...

— Ну, на мне есть еще верблюжья куртка. Так, а если бы ее не было? Я бы пошел в рубашке, я голый пошел бы, но доктора бы я до своей жены привел и у меня бы родился ребенок!!!..

Через пять минут я, сопровождаемый будущим отцом, закутанный в его клеенчатое пальто и обутый в его колоссальные калоши, уже шагал по вязкой невидимой грязи, по-над стенками невидимых домишек среди непроглядной темноты... Холодный дождь потоками обливал нас, а под ногами шипела, хрипела и чавкала вязкая черная грязь.

— Ой, как тут нехорошо, господин доктор... Дайте мне свою руку... Вот так! Это не лужа даже, а форменное несчастье...

— Слушайте! Да возьмите вы свой плащ... Ведь у меня под ним все равно пальто...

— Что значит — пальто? А пальто не может от дождя попортиться? Железное оно или что?

Я приостановился.

— Что? Калошу потеряли? Дайте я ее вам выниму. Тоже город!

Он был трогателен до слез в своем самоотречении...

И вдруг среди непроглядной тьмы послышался чей-то кашель, шлепанье ног и голос:

— Мойсей, это ты?

— Ой, Яша! Хорошо, что ты вышел навстречу... Ну, что Берточка?

— Ты прямо лопнешь со смеху: она уже родила! И ребенок здоровенький, и она здоровая, прямо замечательно...

Мой спутник издал радостный крик и сейчас же захлопотал около меня:

— Теперь уже ничего не нужно, господин доктор! Уже слава Богу! Ну, я возьму плащ этот и эти тоже калоши...

Бывайте здоровы. И я уже побегу, как сумасшедший! Хе-хе! Так она родила?!..

Я остался один среди тьмы и дождя. Шаги счастливого отца и неизвестного Яши быстро затихли, и только один торопливый вопрос донесся до меня:

— Мальчик? Девочка? Чего ж ты молчишь?!!

Я стоял среди мрака, обливаемый дождем, без калош, не зная, в какую сторону мне идти, и печально меланхолически улыбался:

— Святой эгоизм! О, если бы мой отец так же радовался моему рождению...

II. Ребенок растет

В прошлом году я встретился с одним знакомым оперным певцом, евреем, но тщательно скрывающим свое происхождение.

Он взял себе манеру говорить с московским растягиванием слов и вообще весь свой жизненный путь совершал в стиле богатого барина — аристократа, ради милого барского каприза попавшего на сцену...

— Что вы делали это лето, Борис Михайлович? — спросил я.

— Этого... м-да... Что я делал летом?.. Да так, почтеннейший, мало хорошего... Три недели провел в Ницце, поигрывал в Монте-Карло — скучища! Даже выигрыш не веселит. Потом мы с князем Голицыным объехали на автомобиле Южную Италию. Вернулся в Россию, пожил немного на даче у своей царскосельской приятельницы графини Медем, а потом уехал в свое подмосковное имение Горбатово... Тощища!

— Так, так... это хорошо, — улыбнулся я. — Ну, а как поживает ваш сынок Миша?

И моменально ленивый тон с барским растягиванием слов как рукой сняло:

— Ой, Миша! Это же прямо-таки замечательное существо, мой Миша! Ой! Это же не ребенок, а прямо феномен! Можете поражаться — но он уже на скрипочке играет! Скрипочку такую я ему купил!!

И сквозь холеное барское лицо международного растакуэра на меня глянуло другое — бледного еврея в непромокаемом пальто, который хотел отнести меня на руках к своему будущему ребенку...

III. Ребенок вырос

На улице сгрудилась большая толпа.

Я не мог протиснуться к центру, приковавшему всеобщее внимание, но когда кто-то громко сказал: «Доктора! Нет ли здесь доктора?» — толпа почтительно расступилась передо мной.

— Что здесь такое?

— Да вот старый еврей — упал и лежит.

— Мертв?

— Нет, кажись, живой.

Я опустил ся около лежащего, ощупал его, исследовал, насколько это было удобно, и уверенно сказал:

— Обморок. От голода.

Еврея снесли в ближайшую аптеку.

Я привел его в чувство, дал ему коньяку, молока, пару бисквитов и приступил к допросу:

— Сколько дней ничего не ели?

— Три дня.

— Отчего не работали?

— Кому я нужен, старый? Никто не берет. Тоже я работник — один смех.

— Семья есть?

— Сын.

— В Америке? — язвительно спросил я.

— Нет, здесь. В этом городе. Он зубной врач.

— Так. И допускает отца падать на улице в обморок от голода. Вы с ним в ссоре?

— Нет.

— Значит, он — негодяй?

— Ой, что вы говорите... Это замечательный человек!

— Он тоже нищенствует?

— Не дай Бог. Он снял себе очень миленькую квартирку...

— Вы у него просили помощи?

— Нет.

— Вы думаете, что отказал бы?

— Сохрани Боже! Он отдал бы мне последнее.

Я рассвирепел.

— Так в чем же дело, черт подери, наконец?!

Он слабо улыбнулся сухими губами:

— Как же я мог бы брать у него какие-нибудь средства, если он сейчас составляет себе приличный кабинет?! Вы думаете, это легко? А что это за зубной врач без приличного кабинета? Пусть мое дитя тоже имеет себе кабинет...

И снова сквозь старое желтое лицо, изрезанное тысячько морщин, на меня глянуло другое лицо — бледное, молодое, — лицо счастливого отца, который брался осенней ночью, в одной рубашке, на руках понести меня к ребенку, которого мы оба еще не знали, — лишнему ненужному пришельцу в этот мир слез, скорби и печали...

ЭКЗЕКУТОР БУРАЧКОВ

Еще если бы я рассказывал все нижеследующее со слов других, то можно было бы усомниться в правдивости рассказа; но так как все нижеследующее происходило на моих глазах, то какое же может быть сомнение?

Я ведь знаю не хуже других, что лгать — стыдно.

* * *

На спиритическом сеансе нас было немного, но народ все испытанный: генерал Сычевой, владелец похоронного бюро Синявкин, два брата Заусайловы, хозяйка квартиры, где происходил сеанс, старая дева Чмокина, медиум и я.

Собирались мы в этом составе уже не первый раз, и начало сеанса не предвещало ничего особенно выдающегося: когда медиум заснул, начались стуки, подбрасывание корочки со спичками и обычное довольно немзыкальное треньканье на гитаре.

— Это все скучно! — зевая, сказал Синявкин. — Сегодня для ради сочельника можно было бы ожидать чего-нибудь и получше. Не правда ли, госпожа медиум?

Так как это был перерыв, и женщина-медиум уже пробудилась от своего медиумического сна, она застенчиво поежилась и сказала извиняющимся тоном:

— Можно положить на пол простыню! Дух ее подымет.

— Ну, тоже важная штука! Это и на прошлом сеансе было, и на позапрошлом... Нет, вы нам чего-нибудь побойчей покажите!

— Что ж я могу? — пожала плечами Фанни Яковлевна (так звали медиума). — Вы же сами знаете, что это не от меня зависит!

— Так-то оно так, — разочарованно протянул Синявкин. — Ну-с, приступим.

Притушили свет, и Фанни Яковлевна, глубоко и судорожно вздохнув, почти моментально заснула.

Минуты три мы сидели в глубоком молчании.

Наконец генерал Сычевой спросил сонным сиплым голосом:

— Дух, ты здесь?

Дух стуком ответил:

— Здесь.

— Кто ты такой?

Дух потребовал азбуку. Девица Чмокина монотонно начала:

— А, б, в, г...

Несколько стуков — и мы узнали не только фамилию духа, но и его профессию:

— Экзекутор Бурачков.

— Новый дух, — прошептала Чмокина. — Такого еще не было.

— Зачем ты здесь, дух? — осведомился Синявкин.

— Что за вопрос? Вызвали. Сами же вы вызывали.

— Да мы вызывали не тебя. К нам, обыкновенно, является дух Иды, танцовщицы...

Дух обиженно промолчал.

— Дух, ты здесь?

Дух слабо стукнул.

— Он еще слабенький, — ласково сказал старший брат Заусайлов. — Вы его пока не мучайте. Видите, как медиум дергается.

И продолжал еще более ласково, нежно:

— Ты слабенький еще, Бурачков. Ну, ничего, ничего. Ты усиливайся, голубчик, набирайся силы. Потом ты нам что-нибудь сделаешь... Сделаешь, Бурачков, а?

— Сделаю, — стукнул дух.

— Ну, вот и умница... Нам спешить некуда, мы подождем. Ты усиливаешься, а?

— Усиливаюсь, — более громко и уверенно отвечал Дух.

— Вот и замечательно. Вот и приятно. Ты нам покажешься?

— Постараюсь.

— Вот и хорошо, милый. Старайся, трудись. Бог труды любит. Бурачковым тебя зовут?

— Бурачковым.

— Ну-ну. Это хорошо. Мы тебя уже любим, Бурачков.

Непосвященному в дебри спиритизма может показаться странным такое беспардонное подмазывание к духу, такое заискивание, такая грубая, ни на чем не основанная лесть. Но дело в том, что после случая с сенатором К., которого дух ударил по голове гитарой, мы все стали чрезвычайно осторожны в своих беседах с духами и старались все время мазать их елеем. Нам это ничего не стоило, а духа смягчало.

— Ты бы, может, показался нам, Бурачков? — проворковала Чмокина. — Конечно, если тебе не трудно...

При слабом свете было видно, как что-то туманное, белое завозилось в углу около рояля, заколебалось и стало сгущаться.

— Дух, что ты делаешь? — спросил генерал.

Дух явственно простучал:

— Я уплотняюсь.

— Ну, ну. Уплотняйся, голубчик. Это хорошо. Это ты здорово придумал. Уплотнишься, как следует, — и тебе приятно, и нам на тебя посмотреть любопытно.

Дух капризно простучал:

— Молчите.

— Молчим, молчим, — залебезила Чмокина. — Тссс. Тссс, господа. Дух просит молчать.

По мере того, как тише становились мы — дух делался все громче и громче; он шелестел нотами на пюпитре, судорожно хватался за крышку рояля, будто вытаскивая свое тело

из какого-то узкого, невидимого мешка, и кончил тихим, заглушенным, но довольно схожим с человеческим кашлем.

Белое туманное пятно все густело, темнело и наконец стало настолько непрозрачным, что сквозь него перестали быть видимы предметы на заднем плане.

Эго уже не было туманное, расплывчатое пятно.

Это было — тело.

Молчание среди нашего кружка сделалось тяжелым, жутким. Таковую материализацию мы видели в первый раз.

... Стул, поставленный около рояля, заскрипел под тяжелым материальным телом... и кашель послышался еще явственнее.

— Ну, что дух, уплотнился? — медовым голосом проурчал Синявкин.

И в ответ на это около рояля раздался уже не стук, а тонкий, какой-то заржавленный и сонный голосок:

— Какой же я дух?.. Хорошего духа нашли.

Все вздрогнули и сдвинулись ближе.

— Тебя зовут экзекутор Бурачков? — дрожащим голосом спросил Сычевой.

— Ну, без хамства, — с неудовольствием отвечал Бурачков, — что это еще за «ты»! Не люблю.

— Вот тебе и материализация, — прошептал трясущимися губами старший брат Заусайлов. — Что-то мне нехорошо делается.

— Вы, господин Бурачков, себя хорошо чувствуете? — спросила деликатная Чмокина, стремясь загладить происшедшее.

— Неважно, — с протяжным вздохом простонал Бурачков. — Очень даже неважно. Холодно мне.

— Генерал! Можно дать ему ваше пальто?

— Ну вот еще, — боязливо и недовольно пролепетал генерал. — А как же я... Ведь пальто с бобровым воротником.

— Но ведь он отдаст. Ведь при дематериализации не возьмет же он его с собой.

— А не зажечь ли свет? — предложил младший Заусайлов, трясаясь всем телом...

— Господин Бурачков... Можно зажечь свет?

— Ну, а то что ж... Впотьмах сидеть, что ли?

Щелкнул выключатель.

Фанни Яковлевна сильно втянула ноздрями воздух, вздрогнула и проснулась.

Взоры всех обратились в дальний угол к роялю...

Около него сторбившись сидел человек с нездоровым землистым цветом лица, одетый в синий поношенный фрак и клетчатые нанковые панталоны со штрипками. Шею охватывал высокий воротник с черным галстуком.

Человек этот был не страшен.

Все встали со своих мест и, боязливо сбившись в кучку, стали подвигаться к нему.

— Ваша фамилия Бурачков? — робко спросил Заусайлов.

Бурачков поднял на нашу компанию свои измученные больные глаза и прохрипел в промежутке между кашлем:

— Ну да же! А то кто? Он самый. Экзекутор.

— Вы знаете, откуда вы явились?

— Не знаю. А что? Как-то я очутился тут, а почему — прямо-таки вот не знаю и не знаю. Холодно тут и беспокойно.

Сгрудившись, все смотрели на эту понурю фигуру и молчали.

— О чем же с ним разговаривать? — недовольно спросил Синявкин. — Что может быть за разговор, если он ничего не помнит.

— Все-таки это замечательно, то, что мы сделали, — весь трепеща от радостного возбуждения, сказал Заусайлов.

— Конечно, замечательно, — поддержал младший. — Этакая материализация! Другие кружки его у нас с руками бы оторвали.

Я осмелился и, бочком приблизившись к Бурачкову, спросил:

— Где вы были раньше — помните?

— Не помню, — лениво промямлил Бурачков. — Что-то у меня нынче голова тяжелая.

— Замечательный случай, — радостно сказала Чмокина. — Совсем живой человек. Послушайте... а где вы живете?

— Тут, — устало сказал Бурачков.

— То есть как это — тут?! Это моя квартира.

— Ваша?

— Ну да. А где вы живете?

— Не знаю. Я думаю, здесь живу. Раз я здесь, значит, здесь и живу. Спать мне хочется.

Все мы снова расселись по стульям и стали молча любоваться на вызванное к жизни произведение рук наших.

— Господа, — спросил Заусайлов-старший. — А он может дематериализоваться?

— Я думаю, — неуверенно сказала Чмокина. — Что ж ему тут делать?..

— Толку с него мало, — скептически заметил Синявкин. — Вызвать вызвали, а он ничего не рассказывает о том, что там. Тоже — дух называется!..

— Не помнит, — примирительно сказал я. — Мне его, в сущности, жалко. Смотрите — сидит и ежится и дрожит от холода. Отправить бы его обратно.

— А не оставить ли его так, как есть, — в интересах науки?

— Ну, какие там интересы науки? Человек ничего не помнит, двух слов сказать не может. Черт с ним! Дематериализуем его — и конец.

У всех было странное, совершенно непонятное тягостное ощущение и тайное желание избавиться от этого чересчур уплотненного призрака.

— Притушите свет, — скомандовал Сычевой. — Пусть медиум заснет.

— И верно, — подхватил Заусайлов. — Я думаю, что это даже грешно, то, что мы делаем... Действительно: вызвали человека, а зачем, и сами не знаем.

— Ну и успокойтесь: отправим обратно! — раздраженно сказал Сычевой. — Тушите свет. Медиум, засните!

Все погрузилось в напряженное молчание. Только слышалось напряженное дыхание медиума.

— Дух, ты здесь? — несмело спросила Чмокина.

Ответом было молчание.

— Ты здесь, дух?!

Молчание.

— Ну, слава Богу, исчез. Давайте свет, да и пора расходиться по домам. Я сам не свой.

Щелкнул выключатель.

— Да, — недовольно сказал Сычевой, — исчез... Черта с два исчез! Торчит на том же месте.

Синявкин встал первый, потянулся и сказал:

— Ну, кто как хочет, а я спать пойду. Устал, да и поздно.

— Позвольте! — ахнула девица Чмокина, — а как же он? Ведь он сидит?!

— Да, действительно, — закусил Сычевой свой полуседой ус, — сидит. Хм!.. Ну, знаете что, Аглая Викентьевна?.. Пусть посидит до утра, а там видно будет!

— То есть как это так? — плаксиво сказала Чмокина. — Я так не хочу! Я — девушка, не забывайте вы этого! И мне, кроме того, страшно одной.

— Да ведь не одна же вы! — утешил Заусайлов-старший. — Он ведь тут тоже будет.

— Спасибо вам за такую компанию! Сами с ним оставайтесь.

— Действительно, это неудобно! — задумчиво сказал Синявкин. — Надо, чтобы он ушел. Послушайте, вы... как вас?.. Бурачков! Ступайте домой.

Бурачков поднял на него свои страдальческие, больные глаза и жалобно простонал:

— Куда же я пойду? Я не знаю, где мой дом. Это, вероятно, и есть мой дом. Мне холодно.

— Нам наплевать на то, что вам холодно. А шататься по чужим домам тоже не фасон! — вспылил Сычевой. — И что вам вообще угодно?

Бурачков испуганно взглянул на сердитого генерала и понурился.

— Я не знаю, куда мне идти! Мне некуда идти.

— Вот тебе! Нажили на свою голову! — раздраженно сказал Синявкин. — А все Заусайлов. «Голубчик, ты уплотняешься? Ну, уплотняйся, уплотняйся!..» Вот он тут и уплотнился. Попробуйте скovyрните его теперь!

— Вы зачем здесь? — сердито сказал младший Заусайлов, обращаясь к призраку. — Вам что нужно? Это — ваша квартира? Это — чужая квартира! Вы хотите, чтобы мы полицию позвали? Она вам покажет, как уплотняться!

Бурачков молчал и только испуганно, исподлобья на всех поглядывал.

— Медиумы! — вдруг освирепел генерал. — Чего ж вы смотрите!! Это ваше дело избавить нас от него. Вы вызвали, вы и разделяйтесь, как знаете.

— Я же пробовала, — беспомощно пролепетала Фанни Яковлевна. — Ничего не выходит. Очевидно, он слишком уплотнился... Вы же сами просили...

В глубине комнаты тихо, как обиженный ребенок, плакала девица Чмокина. Ей казалось, что Бурачков никуда не уйдет отсюда и поэтому вся ее налаженная жизнь должна пойти прахом.

Генерал не мог видеть женских слез.

Он почти вплотную приблизился к Бурачкову и бешено гаркнул ему в лицо:

— Пошел вон!!

Бурачков только скорбно улыбнулся и прошептал

— Ну, куда я пойду, ей-Богу?..

Положение создалось невыносимое, все стояли, переминаясь с ноги на ногу, и не знали: уйти ли, бросив хозяйку Чмокину на произвол судьбы, или остаться вместе с ней до утра.

— А не позвать ли полицию? — спросил Синявкин.

— Неприятности могут быть. Ведь паспорта у него нет. Пойдут догадки, всякие подозрения...

— Да уж без паспорта — это непорядок. Еще если ты призрак, так сквозь пальцы могут посмотреть, а уж если уплотнился — тогда ни на что не посмотрят. Пожалуйте на цугундер!..

Я протиснулся поближе к Бурачкову и начал очень дипломатично:

— Скажите, господин Бурачков, а у вас тут, в городе, нет никого знакомых? Постарайтесь вспомнить.

— Позвольте... — призадумался совершенно измученный Бурачков. — Ну конечно же есть! Столоначальник третьего стола Адриан Игнатьич Кокусов... Не изволите знать?

— Кокусов, — дипломатично сказал я, подмигивая своим компаньонам. — Кажется, знаю. Это какой Кокусов? Адриан Игнатьич?

— Ну да, — оживился он. — Это мой большой приятель. Он на Вознесенском в доме номер семь жил.

— Так поздравляю вас, — фальшиво засмеялся я. — Он там и сейчас живет. Я это доподлинно знаю.

— Серьезно?

Он был доверчив, как ребенок.

— Ну, конечно. Ведь он женат?

— А как же. В 1832-м женился на Елене Петровне Гвоздиковой.

— Ну, так и есть! Я его знаю, — вскричал я. — Он мне часто говорил: «Соскучился, говорит, я по Бурачкову. Хоть бы одним глазком его повидать». Он вам будет очень рад.

— Как же, как же, — оживился Бурачков. — Приятели ведь мы. Я у него еще Ванечку крестил.

— Ну, Ванечка уже большой вырос. Совсем мужчина. Все про вас спрашивает. Вы бы навестили их.

— И то пойду, — сказал он, добродушно кивнув мне головой и поднимаясь с места. — И то пойду. Вот-то радость будет... Как же! Адриан Игнатъич... Ведь мы с ним еще с детства!..

Он проковылял в переднюю, надел чью-то барашковую шапку, набросил на плечи поданное мною старое пальто, висевшее в передней без употребления, — и, прихрамывая, покашливая, стал спускаться с лестницы

Мы стояли у окна и с торжеством глядели на этого допотопного наивного доверчивого чудака, которого удалось так легко сплавить...

* * *

На другой день девица Чмокина позвонила мне по телефону:

— Послушайте! Вы знаете? Ведь он нынче утром ко мне приходил. Слава Богу, меня не было дома и квартира была заперта. Я сказала швейцару, если еще придет — не пускать.

— Конечно, — одобрительно сказал я. — Гоните безо всяких рассуждений.

— Я и сама так думаю. Вы уж помалкивайте о том, что случилось. Мы все сговорились молчать. А то Бог его знает, что может выйти.

* * *

Заметка в газетной хронике происшествий:

«Вчера в Лесном на опушке рощи был замечен висящий на дереве человек. Одет он был в типичный наряд чиновника сороковых годов. Вероятно, один из неудачников-актеров

театра миниатюр, которые расплодились теперь, как грибы, а актеров содержат впроголодь. Бедняга, как предполагают, после спектакля побежал и повесился, не успев даже переодеться... Документов при нем не оказалось. Труп отправлен в Обуховскую больницу...»

СОСЕДКИ

Луч солнца с раннего утра носился по всему городу: скользил по зеркальным окнам широких магазинов, по лакированным верхам сверкающих автомобилей, запутывался между цветов на модной дамской шляпке — и наконец все это надоело ему, солнечному лучу... Усталый, пополз он в тихую дремлющую улицу, наткнулся на маленькое подслеповатое окно одноэтажного домика, просочился сквозь коленкоровую белую занавеску и, зацепив одним краем огненный цветок фикуса, мирно задремал на плече маленькой бедной старушки.

Посидев в приятной дремоте минут десять, старушка вдруг дернула плечами и проворчала:

— Однако и припекает сквозь стекло. Совсем по-летнему... Поди и кофе закипел.

Бодро проковыляв на кухню, сняла с печки кофейник и, вернувшись, принялась стучать тихо, потом все громче и громче в дверь, полузакрытую ситцевой гардиной...

— Макрида Семеновна! А, Макрида Семеновна... встали?

Из-за дверей послышался тонкий, как мышинный писк, голос соседки:

— Ох, и не говорите! Насилу встала. Все кости ноют... к погоде, что ли?

— Не иначе — к погоде. Пожалуйте ко мне — кофейком угощу.

Из дверей показалось сморщенное лицо, курносый носик понюхал воздух, а востренькие глазки так и зашмыгали — будто не один, а тысяча взглядов, как горох, сразу рассыпались по всей комнате.

Она вошла неслышно, будто серая мышь проскочила в дверь, и, поправляя выбившуюся из-под наколки прядь жиденьких серых волос, промурлыкала сладко, как сахар:

— Ну, и к чему вам, право, беспокоиться, Анна Перфильевна. Ей-Богу... Мне даже совсем неловко...

— Какое же тут беспокойство... Никакого беспокойства и нет!

При этом обе расцеловались довольно нежно.

Жилица Макрида Семеновна сейчас же опустилась на стул, потрясла головой и простонала тоненьким, как ниточка, голосом:

— Всю ночь поясница чуть не на куски разламывалась.

Это дало повод хозяйке загореться самым энергичным сочувствием:

— И с чего бы это? Продуло где, что ли?

В ответ на это Макрида Семеновна только горько усмехнулась:

— Хи! Продуло... Где же еще может продуть? Из окна дует... Вот и продуло; в этой паршивой комнате отовсюду дует.

Это были жестокие слова.

Анна Перфильевна отшатнулась от Макриды Семеновны и поглядела на нее совершенно непередаваемым взором:

— Извините, пожалуйста! Почему же это моя комната паршивая?! Сдаю я ее вам почти даром...

Макрида Семеновна одним движением сморщенной руки стерла с губ еще не успевшую исчезнуть улыбку — и голос ее сразу приобрел силу надвинувшегося урагана:

— Это двадцать-то два рубля — даром? Ну, знаете, спасибо за такое «даром». Это ежели все так будет «даром», так скоро и по миру с рукой пойдешь.

— Пожа-алуйста! Если дорого — зачем же вы умоляли сдать вам. «Анна Перфильевна, душечка, — сдайте! Анна Перфильевна, такая-сякая, немазанная, — сдайте!..»

У Анны Перфильевны, конечно, был свой яд в голосе, но по сравнению с Макридой Семеновной это был лимонад, розовая водица.

Макрида Семеновна открыла рот и сама захлебнулась:

— Ах, так?! Милая моя... Может быть, я здесь вообще лишняя?!.. Может, вы и на кофе пригласили меня так уж, скрепя сердце? Пожалуйста, пожалуйста! Не видала я вашего кофе! Свой имею!

Тут Анна Перфильевна вовремя вспомнила, что она хозяйка и что законы гостеприимства святы даже у диких народов...

— Что вы, что вы, милая!.. Мне кофе не жалко. Пейте, сколько влезет. Я вон даже наливочку поставила.

Сладкое, волшебное слово!.. Ядовитые слова будто ветром сдуло с губ... И вот уже на губах тихо колышется сладкая, медовая улыбка.

— Серьезно, наливочка?.. Неужели своего изделия?

— Своего.

— И что это за золотые руки у вас, — захлебнулась Макрида Семеновна. — Все сама да сама!.. Истинный клад, а не женщина. Смородиновая?

— Смородиновая. Пейте. Ну, что новенького?

Как снег искрится под лучами луны, так вся заискрилась, заблестала, заиграла Макрида Семеновна...

И столько было дикой энергии в ее взоре, что автор с этого момента должен поневоле оставить спокойный, тихий повествовательный тон и перейти на тон резкий, сжатый, отрывистый, одним словом, на тон драматического диалога...

Макрида Семеновна. Ах, матушка моя! Новостей — мильон! Да что там мильон? Сто тысяч новостей — вот сколько!

Анна Перфильевна (*вся дрожа от лихорадочного ожидания*). — Ну? Ну? Да ну же!

Макрида Семеновна. К инженеру-то нашему, что напротив живет...

Анна Перфильевна. Ну?!!!

Макрида Семеновна (*торжественно*). Опять жена приехала!

Анна Перфильевна (*пораженная до глубины души, всплескивает руками*). Что вы говорите?

Макрида Семеновна (*торжествуя*). Вот то вам и говорю. Приехала с вещами — я все, все, все, как есть, в окно видела: желтенький чемоданчик, потом коробка такая деревянная, сак да два сверточка. Что уж там, в этих сверточках, не знаю. Он, значит, взял ее за руку, увел поскорее в комнату, и уж они там промеж себя: гыр-гыр-гыр, гыр-гыр-гыр... — почитай до самого утра.

Анна Перфильевна. Вот помяните вы мое слово: он ее заманил к себе, а потом возьмет и зарежет.

Макрида Семеновна (*полная изумления и ужаса*). Да зачем же ему резать?

Анна Перфильевна. Зачем? А затем. (*Придумывает, что бы сказать.*) Затем, что потом он опять эту рюмку выпишет. Рюмочку наливки — можно?

Макрида Семеновна (*восторженно*). И выпишет! Как Бог свят, выпишет. Вот тебе возьмет выпишет и зарежет! Рюмочку? Не много ли будет?

Анна Перфильевна. Ну что вы! Кушайте.

Выкушали по рюмочке обе.

Макрида Семеновна (*осматривая*). Это что у вас, новые гардины?

Анна Перфильевна. Да. Недавно купила. Нравятся?

Макрида Семеновна (*восторженно*). То есть так бы весь век и глядела на эти гардины. Так бы и глядела. Глазу бы от них не отвела... До чего замечательны эти вещи! А супруг ваш все на службе?

Анна Перфильевна. На службе.

Макрида Семеновна. Очень даже они замечательный человек, супруг ваш, редкий мужчина. Скромный, непьющий. Истинно, что вам Господь Бог счастье послал за вашу добрую душу, за сердце ваше золотое.

Анна Перфильевна. Еще чашечку! Да что у вас рюмочка-то пустая? Так не полагается... А вот печеньице.

Макрида Семеновна. И к чему вы, право, тратитесь, Анна Перфильевна... Только одно беспокойство. Мне — я буду говорить прямо, я человек прямой — разговор ваш приятнее всякого печенья... Ну хорошо. Рюмочку, пожалуй. Только чтобы последняя. (*Пьют. Пауза. Макрида Семеновна осматривается, останавливает восторженный взгляд на фотографической карточке, висящей на стене. Фотография изображает упитанного мужчину с рачьими, остолбенелыми глазами и полуоткрытым от восторга перед самим собой ртом.*) С-ынок-то ваш, Петенька... большой-большой... Совсем мужчина! И красавец прямо невозможный.

Анна Перфильевна. Да... Вырос. Уже ему сорок первый. Макрида Семеновна. Да, да, да, да! Такой человек женится — не меньше ста тысяч взять должен! Истинно говорю вам...

Анна Перфильевна. Да, он у меня молодец.

Макрида Семеновна *(с энтузиазмом)*. Молодец? Это мало, что молодец. Орел! Овца прямо, а не человек. *(Пауза.)* Какая вы нынче интересная, Анна Перфильевна... И вам эта кофточка удивительно к лицу. Прямо королева. *(Анна Перфильевна кокетливо и сконфуженно смеется, отмахиваясь рукой. Пауза.)* Анна Перфильевна!

Анна Перфильевна. Да-с?

Макрида Семеновна *(медовым голосом)*. А что я хотела у вас попросить...

Анна Перфильевна *(насторожившись, тоном довольно-таки деревянным)*. А что именно?

Макрида Семеновна. Не можете ли вы дать мне на недельку швейной машины. А то моя племянница Оленька совсем обтрепалась. Хе-хе...

Анна Перфильевна. Что вы! Что вы, Макрида Семеновна... Как же я могу дать, если машина у нас каждый день в ходу; семья-то, слава Богу! То то, то се! С утра до ночи она у меня занята. Нет, что вы!..

Макрида Семеновна *(в голосе подозрительная сухость и отсутствие прежних гибких интонаций)*. Ну, на недельку могли бы.

Анна Перфильевна. На три дня не могу, миленькая Макрида Семеновна. Верьте совести.

Макрида Семеновна *(в голосе погромыхивание отдаленного, но приближающегося грома)*. Ах, так? Понимаю-с, понимаю-с. *(Пауза.)*

Анна Перфильевна. Что вы понимаете?

Макрида Семеновна. Нет уж... что там! Наскозь вижу вас. *(Гром ближе; коричневое небо прорезывается кое-где ослепительными молниями.)* Это вы мне за то не хотите дать, что я вашему Петьке давеча, когда вы прислали, утюгов не дала. И не дам! *(Гроза переходит в ливень.)* И не дам! Потому, я знаю вашего Петьку...

Возьмет этот дылда утюги, да вместо того, чтобы вам снести — пропьет их!!!

Анна Перфильевна. Да как ты смеешь так говорить о моем сыне!

Макрида Семеновна (*вспыхивая, как оwin, подожженный ударом молнии*). А что за цаца такая, твой сын? Тоже он не очень важная птица... Хи-хи... Еще если бы в отца был, а то... так: в проезжего молодца. Да, да! Нечего, матушка, махать руками — не мельница, чай! Именно, что в проезжего молодца! Мы кое-что тоже знаем. Мне про одного землемера тоже кое-что рассказывали!

Анна Перфильевна (*дрожа, как лист, от внутреннего напора чувств*). Ах, вот как? Да пусть у тебя язык отсохнет, если это правда!

Макрида Семеновна. Ну, после этого... после этого, матушка моя... я знаю, что мне делать... Ноги моей тут в этом доме не останется. Нынче же переезжаю! Не-ет, довольнo-с! Да меня тут в этом вертепе удушат! (*Встает, ураганом несется в свою комнату.*)

Анна Перфильевна. Ах, дрянь этакая! Землемером попрекает! Я тебе покажу землемера. Ты у меня сама землю мерить будешь на паперти у собора. (*Обращается к коту, мирно спящему на диване.*) Вот вам и дружи с этими людьми! Вот и обращайся с ними по-великосветски! Вы подумайте! (*Подходит к дверям.*) Послушайте, вы, Макрида Семеновна! Вы мне там за полмесяца должны — так уж, пожалуйста, потрудитесь уплатить.

Макрида Семеновна (*выходит: губы у нее прыгают, как доски ветхого мостика под колесами телеги, в руках все ее имущество: узел и клетка с канарейкой*). Сделайте такое одолжение. Нам вашего не нужно! Слава Богу — жили до вас, проживем и без вас. Вот, пожалуйста, — позвольте сдачу с 25-ти рублей.

Анна Перфильевна. Сколько угодно! Сейчас Лукерью пошлю разменять. (*Уходит, Макрида Семеновна подходит к столу, наливает рюмку наливки и, грозя сама себе пальцем, выпивает; заслышав шаги Анны Перфильевны, отпрыгивает от стола и равнодушно*

садится на стул в стороне. Анна Перфильевна, войдя, бурно прохаживается по комнате. Зловещее молчание. Потом подходит к окну, смотрит в него, постепенно оживляясь.) Боже мой, Боже! Ни стыда у людей, ни совести. *(Макрида Семеновна обиженно молчит.)* Только позавчера жена приехала, а он опять с этой рыжей под ручку идет.

Макрида Семеновна *(подскакивая, как ужаленная)*. Что вы говорите? Где, где?

Анна Перфильевна. Да вот, видите, остановились, разговаривают.

Макрида Семеновна *(подбегая к окну, жадно смотрит)*. И впрямь разговаривают. Жена, дура, дома сидит, а они под самыми окнами разговаривают! В подъезд вошли! *(Оборачиваются друг к другу, в ужасе смотрят одна на другую.)* Милочка, Анна Перфильевна, что же это такое будет?

Анна Перфильевна *(возбужденно хватая Макриду Семеновну за руку)*. Нет, вы подумайте только: к жене, к живой жене под ручку с рыжей идет! Что же это за времена такие, Макрида Семеновна? Куда мы идем?

Макрида Семеновна *(оживленно)*. Не иначе как сейчас скандал будет *(ставит на пол клетку и узел. Примирительным тоном)*. Милочка, вы, надеюсь, разрешите мне подождать, чем это все окончится. А то я спать не буду и есть не буду, ежели всего, всего не узнаю.

Анна Перфильевна *(радушно)*. Да, сделайте одолжение. Садитесь! Послушайте, Макрида Семеновна... а может, она, жена-то, опять уехала?

Макрида Семеновна *(горя ужасом и восторгом)*. Ни-ни! Никаким образом она этого не смогла сделать. Я целый день у окна смотрю... Ах, душечка! *(Сладострастно.)* Ведь это же что будет!

Анна Перфильевна *(подходя к столу)*. Ваш кофий совсем простыл.

Макрида Семеновна. Ничего, Анна Перфильевна... я такой люблю. Похолоднее... А то в горле что-то першит от горячего.

Анна Перфильевна. А вы рюмочку смородиновой выпейте, вот оно першить и не будет.

Макрида Семеновна. Да уж не знаю, не знаю, не много ли будет?

Анна Перфильевна. Ну, глупости! *(Наливает. Подходит к окну.)* Нет, все тихо пока. Наверное, еще ругаются... Как вы думаете, если выстрел — сюда будет слышно?

Макрида Семеновна. Ох, будет! Ох, матушка моя, — будет *(благоговейно пьет наливку)*. И чего, кажется, надо людям? Зря с жиру бесятся.

Анна Перфильевна. Еще чашечку! Сделайте милость!

Макрида Семеновна. Нет уж — увольте! Не могу больше. По горло сыта...

Анна Перфильевна. Ну, я отставлю тогда... *(убирает посуду)*. Знаете что, душечка? Я поставлю столик так, чтобы окно было видно, а чтоб скучно не было — пока в шестьдесят шесть сыграем...

Макрида Семеновна *(загораясь)*. И очень просто. И очень даже просто! По две копейки очко хотите?

Анна Перфильевна. Сделайте одолжение *(передвигают столик, садятся)*.

От только что налетевшей бури нет и следа. Небо чисто, в зеркальных лужах отражаются уличные деревья... Солнышко.

Макрида Семеновна *(тасуя карты)*. А сынок ваш тоже на службе?

Анна Перфильевна. Нет, он на похороны к товарищу пошел.

Макрида Семеновна. Редкий молодой человек! Сколько ему?

Анна Перфильевна. Сорок первый.

Макрида Семеновна *(сдавая)*. Скажите, пожалуйста! Вот бы никогда не сказала! Вам ходить.

Анна Перфильевна *(почесывая уголком карты бровь)*. Ну... пойдём мы... с десятки, что ли?

Макрида Семеновна. А мы ее тузиком. И вот вам — объявляю двадцать.

Анна Перфильевна *(улыбается, скрывая боль)*. Ишь ты, как прет человеку! Ходите.

Макрида Семеновна. — А что вы скажете насчет этой девятки? *(Старается заглянуть партнерше в карты)*.

Партнерша спокойно, будто не замечая, прижимает карты к груди.) А вот что я скажу. Вот-с! А теперь!..

В этот момент на сцене появляется новое лицо — кухарка Лукерья. Платье ее подтыкано со всех сторон так нескромно, что любой представитель сильного пола пришел бы в немалое смущение.

Лукерья. Барыня! А я деньги разменяла!

Анна Перфильевна *(успевшая уже забыть о том, что пронесшейся буре)*. Какие там еще деньги?

Лукерья. Да те, что давеча давали разменять — забыли, что ли?

Анна Перфильевна *(нетерпеливо, вся погруженная в сладкие перспективы выигрыша)*. Вот дура-то... Только зря мешает... *(Встает, оборачивается к Лукерье. Макрида Семеновна прищуривает один глаз и с самым лукавым лицом смотрит верхнюю карту в колоде.)*

Анна Перфильевна *(оборачиваясь к ней)*. Вот ваши двадцать пять рублей. Разменяла...

Макрида Семеновна. Спасибо, миленькая. Спасибо, радостная. *(Берет деньги, идет в свою комнату, на пути натывается на свой брошенный узел. Забирает его, забирает клетку с канарейкой, пыхтя относит в свою комнату.)*

В это время Анна Перфильевна быстро берет верхнюю карту, бросает на нее косой взгляд, сует в свои карты, вместо нее кладет другую. Макрида Семеновна возвращается.

Макрида Семеновна *(озабоченно)*. Ну? Чей ход?

Анна Перфильевна. Мой *(сбрасывает карту)*.

Макрида Семеновна. Ну, это мы возьмем *(дрожит от тайной радости)*. Теперь моя первая карта. Так-с. *(Берет верхнюю карту — вдруг с гневным удивлением.)*

Позвольте! А где же козырный туз?

Анна Перфильевна *(невинно)*. Какой козырный туз?

Макрида Семеновна. А-ва такой! Который тут сверху лежал!

Анна Перфильевна *(тон у нее очень солидный)*. Да он у меня, он уже давно у меня!

Макрида Семеновна. Как давно! Да он только сейчас тут сверху лежал, я сама видела!

Анна Перфильевна. Как, вы видели? Да это кто же в карточную колоду заглядывает?

Макрида Семеновна (*вскакивая*). Ну, матушка, — это две больших разницы! Я только заглядываю, а ты из колоды чужие карты таскаешь! А за это, матушка, и к мировому можно!

И снова небо нахмурилось, и снова ползут зловещие тучи, снова погромыхивает гром... Лазури и спокойствия как не бывало.

Анна Перфильевна. Меня? К мировому?!.. А это видела? (*Показывает ей тощий, сложенный из непослушных старческих пальцев кукиш.*)

Макрида Семеновна. А-а-а! Мне, титулярной советнице — кукиши сучить? Да ноги моей не будет в этом вертепе... Да что же это такое? Еще ограбят тут!

Анна Перфильевна. Пожалуйста! Никто вас не держит!

Макрида Семеновна (*уперев руки в бока грозно*). Да попробовали бы вы меня удержать! Я бы вам такую тютю поднесла (*дрожа от негодования*). Не-ет! Скорей бежать из этого зловонного дома...

Быстро убегает в свою комнату; через минуту на сцене снова появляется то же имущество — узел и канарейка.

Макрида Семеновна. Вот, пожалуйста, ваши деньги получите и — адью-с!.. Воть вам шесть рублей, вот еще три... рубль... два полтинника...

Анна Перфильевна (*случайно взглянув в окно*). Ах! Все трое вышли! И инженер, и жена, и рыжая! Ей-Богу! Он их под руки ведет. Обоих! Обе-их!

Макрида Семеновна (*ослепленная, уронив узел*). Под руки обеих? Ну, это не иначе — в участок! (*С криком бурной радости.*) Передрались!..

Анна Перфильевна. Не знаю, как вы, а я побегу на них смотреть... Ужасно интересно, какие у них лица.

Макрида Семеновна (*с неожиданным приливом самой трогательной заботливости*). Да куда же это вы без платка? Ни за что не пушу! Вот вам платочек... Дайте

я поправлю... Ну вот! И я вслед за вами... (*восторженно*). И ох, как же это все интересно!

.....

И комната опустела.

Только канарейка в клетке встревоженно возилась да жирный кот тихо посапывал.

Луч солнца, заползший сюда отдохнуть, тоже как-то весь покраснел, помутнел, потерял всю свою позолоту, съежился...

Может быть, он устал от всех этих старухиных передраг...

Цепляясь за стену, ручку дверей и позолоту картины, тихонько уполз.

Пошел спать.



КАРАСИ И ЩУКИ

Рассказы

последнего дня

(1917)

позолоченные пилюли



КРЫСА НА ПОДНОСЕ

— Хотите пойти на выставку нового искусства? — сказали мне.

— Хочу, — сказал я.

Пошли.

I

— Это вот и есть выставка нового искусства? — спросил я.

— Эта самая.

— Хорошая.

Услышав это слово, два молодых человека, долговязых, с прекрасной розовой сыпью на лице и изящными деревянными ложками в петлицах, подошли ко мне и жадно спросили:

— Серьезно, вам наша выставка нравится?

— Сказать вам откровенно?

— Да!

— Я в восторге.

Тут же я испытал невыразимо приятное ощущение прикосновения двух потных рук к моей руке и глубоко волнующее чувство от созерцания небольшого куска рогожи, на котором была нарисована пятиногая голубая свинья.

— Ваша свинья? — осведомился я.

— Моего товарища. Нравится?

— Чрезвычайно. В особенности эта пятая нога. Она придает животному такой мужественный вид. А где глаз?

— Глаза нет.

— И верно. На кой черт действительно свинье глаз? Пятая нога есть — и довольно. Не правда ли?

Молодые люди, с чудесного тона розовой сыпью на лбу и щеках, недоверчиво поглядели на мое простодушное лицо, сразу же успокоились, и один из них спросил:

— Может, купите?

— Свиною? С удовольствием. Сколько стоит?

— Пятьдесят...

Было видно, что дальнейшее слово поставило левого молодого человека в затруднение, ибо он сам не знал, чего пятьдесят: рублей или копеек? Однако, заглянув еще раз в мое благожелательное лицо, приободрился и смело сказал:

— Пятьдесят ко... рублей. Даже, вернее, шестьдесят рублей.

— Недорого. Я думаю, если повесить в гостиной, в простенке, будет очень недурно.

— Серьезно, хотите повесить в гостиной? — удивился правый молодой человек.

— Да ведь картина же. Как же ее не повесить!

— Положим, верно. Действительно картина. А хотите видеть мою картину «Сумерки насущного»?

— Хочу.

— Пожалуйста. Она вот здесь висит. Видите ли, картина моего товарища «Свинья как таковая» написана в старой манере, красками; а я, видите ли, красок не признаю; краски связывают.

— Еще как, — подхватил я. — Ничто так не связывает человека, как краски. Никакого от них толку, а связывают. Я знал одного человека, которого краски так связали, что он должен был в другой город переехать...

— То есть как?

— Да очень просто. Мильдяевым его звали. Где же ваша картина?

— А вот висит. Оригинально, не правда ли?

II

Нужно отдать справедливость юному маэстро с розовой сыпью — красок он избегнул самым положительным образом: на стене висел металлический черный поднос,

посредине которого была прикреплена каким-то клейким веществом небольшая дохлая крыса. По бокам ее меланхолически красовались две конфетные бумажки и четыре обгорелые спички, расположенные очень приятного вида зигзагом.

— Чудесное произведение, — похвалил я, полюбовавшись в кулак. — Сколько в этом настроения!.. «Сумерки насущного»... Да-а... Не скажи вы мне, как называется ваша картина, я бы сам догадался: э, мол, знаю! Это не что иное, как «Сумерки насущного»! Крысу сами поймали?

— Сам.

— Чудесное животное. Жаль, что дохлое. Можно погладить?

— Пожалуйста.

Я со вздохом погладил мертвое животное и заметил:

— А как жаль, что подобное произведение непрочно... Какой-нибудь там Веласкес или Рембрандт живет сотни лет, а этот шедевр в два-три дня, гляди, и испортится.

— Да, — согласился художник, заботливо поглядывая на крысу. — Она уже, кажется, разлагается. А всего только два дня и провисела. Не купите ли?

— Да уж и не знаю, — нерешительно взглянул я на левого. — Куда бы ее повесить? В столовую, что ли?

— Вешайте в столовую, — согласился художник. — Вроде этакого натюрморта.

— А что, если крысу освежать каждые два-три дня? Эту выбрасывать, а новую ловить и вешать на поднос?

— Не хотелось бы, — поморщился художник. — Это нарушает самоопределение артиста. Ну, да что с вами делать! Значит, покупаете?

— Куплю. Сколько хотите?

— Да что же с вас взять? Четыреста... — Он вздрогнул, опасливо поглядел на меня и со вздохом dokonчил: — Четыреста... копеек.

— Возьму. А теперь мне хотелось бы приобрести что-нибудь попрочнее. Что-нибудь этакое... неорганическое.

— «Американец в Москве» — не возьмете ли? Моя работа.

Он потащил меня к какой-то доске, на которой были набиты три жестяные трубки, коробка от консервов, пожницы и осколок зеркала.

— Вот скульптурная группа «Американец в Москве». По-моему, эта вещь мне удалась.

— А еще бы! Вещь, около которой можно заржать от восторга. Действительно, эти приезжающие в Москву американцы, они тово... Однако вы не без темперамента... Изобразить американца вроде трех трубочек...

— Нет, трубочки — это Москва! Американца, собственно, нет; но есть, так сказать, следы его пребывания...

— Ах, вот что. Тонкая вещь. Масса воздуха. Колоритная штука. Почему?

— Семьсот. Это вам для кабинета подойдет.

— Семьсот... Чего?

— Ну, этих самых, неважно. Лишь бы наличными.

Я так был тронут участием и доброжелательным ко мне отношением двух экспансивных, экзальтированных молодых людей, что мне захотелось хоть чем-нибудь отблагодарить их.

— Господа! Мне бы хотелось принять вас у себя и почествовать как представителей нового чудесного искусства, открывающего нам, опустившимся, обрюзгшим, необозримые светлые дали, которые...

— Пойдемте, — согласились оба молодых человека с ложками в петлицах и миловидной розовой сыпью на лицах. — Мы с удовольствием. Нас уже давно не чествовали.

— Что вы говорите! Ну и народ пошел. Нет, я не такой. Я обнажаю перед вами свою бедную мыслями голову, склоняю ее перед вами и звонко, прямо, открыто говорю: «Добро пожаловать!»

— Я с вами на извозчике поеду, — попросился левый. — А то, знаете, мелких что-то нет.

— Пожалуйста! Так, с ложечкой в петлице и поедете?

— Конечно. Пусть ожиревшие филистеры и гнилые ипохондрики смеются — мы выявляем себя, как находим нужным.

— Очень просто, — согласился я. — Всякий живет как хочет. Вот и я, например. У меня вам кое-что покажется немало оригинальным, да ведь вы же не из этих самых... филистеров и буржуев!

— О, нет. Оригинальностью нас не удивишь.

— То-то и оно.

III

Приехали ко мне. У меня уже кое-кто: человек десять — двенадцать моих друзей, приехавших познакомиться поближе с провозвестниками нового искусства.

— Знакомьтесь, господа. Это все народ старозаветный, закоренелый, вы с ними особенно не считайтесь, а что касается вас, молодых, гибких пионеров, то я попросил бы вас подчиниться моим домашним правилам и уставам. Раздевайтесь, пожалуйста.

— Да мы уж пальто сняли.

— Нет, чего там пальто. Вы совсем раздевайтесь.

Молодые люди робко переглянулись:

— А зачем же?

— Чествовать вас будем.

— Так можно ведь так... не раздеваясь.

— Вот оригиналы-то! Как же так, не раздеваясь, можно вымазать ваше тело малиновым вареньем?

— Почему же... вареньем? Зачем?

— Да уж так у меня полагается. У каждого, как говорится, свое. Вы вешаете на поднос дохлую крысу, пару карамельных бумажек и говорите: это картина. Хорошо! Я согласен! Это картина. Я у вас даже купил ее. «Американца в Москве» тоже купил. Это ваш способ. А у меня *свой* способ чествовать молодые, многообещающие таланты: я обмазываю их малиновым вареньем, посыпаю конфетти и, наклеив на щеки два куска бумаги от мух, усаживаю чествуемых на почетное место. Есть вы будете особый салат, приготовленный из кусочков обоев, изрубленных зубных щеток и теплого вазелина. Не правда ли, оригинально? Запивать будете свинцовой примочкой. Итак, будьте добры, разденьтесь. Эй, люди! Приготовлено ли варенье и конфетти?

— Да нет! Мы не хотим... Вы не имеете права...

— Почему?!

— Да что же это за бессмыслица такая: взять живого человека, обмазать малиновым вареньем, обсыпать конфетти! Да еще накормить обоями с вазелином... Разве можно так? Мы не хотим. Мы думали, что вы нас просто кормить будете, а вы... мажете. Зубные щетки рубленные даете... Это

даже похоже на издевательство!.. Так нельзя. Мы жаловаться будем.

— Как жаловаться? — яростно заревел я. — Как жаловаться? А я жаловался кому-нибудь, когда вы мне продавали пятиногих синих свиней и кусочки жести на деревянной доске? Я отказывался?! Вы говорили: мы самоопределяемся. Хорошо! Самоопределяйтесь. Вы мне говорили — я вас слушал. Теперь моя очередь... Что?! Нет уж, знаете... Я поступал по-вашему, я хотел понять вас — теперь понимайте и вы меня. Эй, люди! Разденьте их! Мажь их, у кого там варенье. Держите голову им, а я буду накладывать в рот салат... Стой, брат, не вырвешься. Я тебе покажу сумерки насущного! Вы самоопределяетесь — я тоже хочу самоопределиться...

IV

Молодые люди стояли рядышком передо мной на коленях, усердно кланялись мне в ноги и, плача, говорили:

— Дяденька, простите нас. Ей-Богу, мы больше никогда не будем.

— Чего не будете?

— Этого... делать... Таких картин делать...

— А зачем делали?

— Да мы, дяденька, просто думали: публика глупая, хотели шум сделать, разговоры вызвать.

— А зачем ты вот, тот, левый, зачем крысу на поднос повесил?

— Хотел как чуднее сделать.

— Ты так глуп, что у тебя на что-нибудь особенное, интересное даже фантазии не хватило. Ведь ты глуп, братец?

— Глуп, дяденька. Известно, откуда у нас ум?!

— Отпустите нас, дяденька. Мы к маме пойдем.

— Ну ладно. Целуйте мне руку и извиняйтесь.

— Зачем же руку целовать?

— Раздену и вареньем вымажу! Ну?!

— Вася, целуй ты первый... А потом я.

— Ну, Бог с вами... Ступайте.

V

Провозвестники будущего искусства встали с колен, отряхнули брюки, вынули из петлиц ложки и, сунув их в карман, робко, гуськом вышли в переднюю.

В передней, натягивая пальто, испуганно шептались:

— Влетели в историю! А я сначала думал: что он такой же дурак, как и другие.

— Нет, с мозгами парень. Я было испугался, когда он на меня кричать стал. Вдруг, думаю, подносом по голове хватит!

— Слава Богу, дешево отделались.

— Это его твоя крыса разозлила. Придумал ты действительно: дохлую крысу на поднос повесил!

— Ну, ничего. Уж хоть ты на меня не кричи. Я крысу выброшу, а на пустое место стеариновый огарок на носке башмака приклею. Оно и прочнее. Пойдем, Вася, пойдем, пока не догнали.

Ушли, объятые страхом...

БОРЬБА С РОСКОШЬЮ

— Имею честь рекомендоваться: действительный член новооткрытой петроградской лиги для борьбы с роскошью и мотовством.

А! Действительный?

— Да-с.

Это хорошо, что действительный. Прошу покорнейше садиться...

— Куда?

— А вот в это кресло.

В это кресло? Ни за что. Оно ведь, поди, рублей пятьдесят стоит?

— 120.

Сто двадцать?! О, Боже! Какое возмутительное мотовство! Принципиально не сяду... Я лучше тут, на подоконничке...

— Чем могу служить?

— Я пришел вам сказать одно только слово... Кажется, господин Фурсиков?

— Фурсиков.

— Одно слово: опомнитесь, Фурсиков! Нам сообщили, что вы живете роскошно и мотаете деньги без всякого толку и смысла... На чем, например, вы сейчас стоите?

— На полу.

— Нет, на ковре! А ковер-то персидский, а цена-то ему пятьсот рублей, а на ковре-то этом еще лежит медвежья шкура, тоже, поди, в два ста ее не уберешь?

— 550.

— Я не падаю в обморок от этой цифры только потому, что у меня крепкие нервы. Эх, господин Фурсиков! Нужен вам этот ковер? Нет, не нужен. Нужен медведь? Ни для какого черта не нужен. Это у вас что за комната?

— Кабинет...

— Так-с... А та?

— Столовая.

— Ну, скажите, пожалуйста... Неужели эти две комнаты нельзя соединить в одну? Или обедайте в кабинете, или занимайтесь в столовой. Ведь два дела зараз вы не будете делать — обедать и заниматься. Значит — для чего же две комнаты?

— Но у меня тут письменный стол...

— А для чего он вам? На обеденном и занимайтесь... Если бумаги какие есть, документы — их можно в ящичек из-под макарон класть. Макароны скушать, а в пустой ящичек прятать после работы бумаги... Наконец — чернильница! Для чего вам такая огромная — с каким-то орлом, с бронзой и мрамором? Прекрасно и баночка из-под горчицы служить может. Горчицу кушали, а в баночку чернил налили... Это что за комната?

— Спальня...

— Ну вот, ну вот! В кабинете есть огромный широкий диван, есть оттоманка, а вы еще спальню заводите. Что за мотовство!..

— Но... у меня ведь жена...

— Ну что ж... Прекрасно на этой оттоманке уместились бы с женой рядом...

— На ней нельзя спать... Плюш испортится.

— А зачем плюш? Клеенкой обтянули — и конец. Что за швыряние деньгами! Лучше бы эти деньги на военные нужды пожертвовали... О! Там еще комната?

— Да... Это спальня моего брата...

— Зачем? К чему? Кому это нужно? Спальня! В том же кабинете можно и устроиться. Вы с женой на оттоманке, брат на диване. Когда брат раздевается — жена ваша выходит на минуту, жена раздевается — брат выходит. Господи! Только было бы желание, а устроиться всегда можно...

— Но... у жены есть туалетный столик... его некуда тут поставить...

— Как некуда? А на ваш письменный стол? Такой огромный дурак, — неужели он не сможет сдержать этого крошки?.. И преудобно будет: жена ваша взбирается на письменный стол (вы ее можете и посадить) и садится за туалетный столик причесываться или что она там делает, вы у ее ног сидите, работаете, а на другом конце стола может сидеть ваш брат и есть в это время колбасу...

— Нет, так неудобно... Жена любит, чтобы из спальни был ход прямо в ванную...

— О, Боже милостивый! Что вы, Ротшильд, что ли? Зачем вам отдельная ванная? Ванну можно поставить на место этой этажерки с безделушками и отгородить ее ситцевой занавесочкой... Да постойте! Ведь тут, вместо этого мраморного идиота, можно поставить керосинку... Тогда вам и кухни не надо... Жена будет жарить на керосинке яичницу, брат рубить, скажем, котлеты, а вы чистить картошку! Ни кухни, ни кухарки не надо... А экономию всю на нужды войны жертвуйте... Сколько у вас теперь комнат?

— Ш... шесть...

— Ну вот! А я вам доказываю, что одной довольно... Тесновато, вы думаете? А на кой дьявол вам два шкафа книг? Что, вы их все сразу читаете, что ли? Ведь больше одной за раз не читаете? Ну, вот! Запишитесь в какую-нибудь библиотеку и берите книги, а эти продайте, а деньги на Красный Крест пожертвуйте... Ведь сердце кровью обливается, когда на вас смотришь. Это что — жакет на вас?

— Жакет...

— Рублей 60, поди, стоит.

— 140.

— Ну вот! Кому это нужно?! Взяла бы жена и сшила сама из трико по три двадцать аршин; и прочно и хорошо. Пальто вон я ваше в передней видел. Почему на меху? Можно

и в весеннем проходить зиму, а ежели холодно, то не ездить на извозчиках или там на трамваях, а просто бежать по улице. И экономия времени, и согреешься... А это пальто спустить надо, а денежки на шитье противогазов пожертвовать. Гм... да! Позвольте, господин Фурсиков... Почему же вы плачете?

— О, господин действительный член петроградской лиги для борьбы с роскошью и мотовством! Вы так хорошо говорили, так убедили и меня, и жену мою, и брата, что мы решили во всем и везде следовать тем принципам, с которыми сейчас познакомимся...

— Гм... Ну, да... Я очень рад... гм!.. Очень. Утрите слезы. Еще не все потеряно... Прощайте, господин Фурсиков, прощайте, мадам. А где же ваш братец?

— А он тут побежал в одно место... А, вот он! Вернулся.

— Прощайте, господа... Это что у вас, передняя? Ну зачем такая большая передняя?.. Все верхнее платье можно вешать в кабинете, около ванны... А экономию пожертвовать на нужды... гм! Где же мое пальто?

— Вот оно.

— Это не мое. У меня было с бобровым воротником, новое...

— Нет, это ваше. Это ничего, что оно старенькое и без воротника. Если вам будет холодно — можете бежать...

— Где мое пальто?!!

— Вот такое есть. Не кричите. А то, которое было вашим, мой брат успел заложить за 300 рублей в ломбард, а деньги внес на Красный Крест... Вот и квитанция. Простите, господин член для борьбы с роскошью, но вы так хорошо говорили, что мой брат не мог сдержаться порыва... Всего хорошего... Позвольте, господин!.. Квитанцию забыли захватить... Ушел... Обиделся, что ли, не понимаю... И на что бы, кажется?

ДОБРЫЕ КАЛИФОРНИЙСКИЕ ПРАВЫ

Предварительное обращение к военной цензуре

Дорогая военная цензура!

Разреши, пожалуйста, мне написать то, что я хочу; и не только написать, но и напечатать. Ведь ты понима-

ешь, что то, о чем я мечтаю ниже, настолько невероятно, настолько нежизненно, настолько не подходит к нашей русской обстановке и быту, что объяснить мои «мечты» подстрекательством может только человек, имеющий что-либо против меня лично. А так как военная цензура не должна иметь на меня сердца (не давать повода), то твердо надеюсь, что и все ниженаписанное увидит свет.

Любящий вас Арк. Ав.

Отрывок из Брет-Гарта

...Несколько всадников с суровыми мрачными лицами подскакали к хижине конокрада Джо Мастерса из Красных Утесов — и спешились.

— Эй, Джо! Выходи! — закричал предводитель, стуча в толстую дверь рукояткой кинжала.

На пороге показалась молодцеватая фигура Джо Мастерса с двумя пистолетами в руках, но, когда он увидел выражение лиц приехавших, руки его опустились.

— А я и не знал, кто приехал, — хотел защищаться. Значит, дело кончено?

— Да. Я — представитель комитета общественной безопасности. Ты молодчина, Джо, и видно, что уважаешь суд Линча... Видишь ли, против тебя показали два уважаемых гражданина Ревущего Стана: мистер Кентук и мистер Пигсби... Дело верное.

— Что ж, — пожал плечами Джо. — Игра проиграна!

Он бросил пистолеты и задумчиво направился к дереву, на одной из нижних ветвей которого два рудокопа прилаживали тонкую волосяную веревку с петлей на конце...

Существующий порядок в России

— Саламаткин! Свидетельскими показаниями полиция установила, что ты продаешь недопеченный хлеб. Недопекаешь его ты для того, чтобы он больше тянул на весах. Кроме того, ты берешь за него на 1½ копейки дороже против таксы. За это мы штрафуем тебя на 300 рублей.

— Ваше благородие! Помилуйте! Подвозу нет, вагонов, шведский транзит в неисправности, волнение в Персии — нешто нам возможно выдержать?!..

— Кардамонов, взыщи с него!

* * *

— Господин городской! Обратите ваше внимание на этого проклятого извозчика № 100. Я выхожу из Литейного театра, нанимаю его в Троицкий, а он с меня за это рупь просит. Нешто это дело? Грабеж это бесформенный!

— Ты чего же это, а? Штрафу захотел? Вот я замечу твой подлецовский номер, тебя тремя рублями штрафа и огреют...

— Господин городской! Нечто я так — по своей воле? Овес-то почем теперь, слыхали? Хозяину я сколько должен привезти — слыхали? 7 рублей. А вы — штраф. Штрах с меня возьмете, а я на других седоках отворачивать его должен. Городовой-то не всегда поблизу.

— Ну, ты, разговорился! Дайте ему, господин, полтину — предовольно с него! Езжай, анафема!

* * *

— Послушайте, господин банкир. У вас там какие-то запасы овса оказались спрятанные. Нехорошо. Ну какое, скажите, имеет отношение овес к банку? Правда, что по закону мы вам ничего не имеем права сделать, но совесть-то у вас своя есть — или как?

Порядок, о котором мечтает автор...

К дверям хлебной и бакалейной лавки Саламаткина, что на Загородном проспекте, подскакали несколько всадников с мрачными решительными лицами. Они спешили и, гремя шпорами, вошли в лавку.

— Вы — Саламаткин? Хорошо. Мы — столичный комитет общественной безопасности, находящийся под покровительством властей. Вот эти двое солидных незапятнанных граждан сделали нам заявление, что вы продали им совсем не пропеченный хлеб, вредный для здоровья, причем взяли за него на 1 ½ копейки более против таксы.

— Штой-то, господа, — завопил Саламаткин, — подвозу нет, транзит из Персии...

— Тс!! — сурово сказал предводитель, зазвенев шпорами. — Имейте больше уважения к суду Линча!! Мистер Окурков, взять его! Мистеры Седакин и Лялькин, у вас уже приготовлена веревка на фонарном столбе?

— Готово, предводитель. Тут же на Загородном в двух шагах. Уже много граждан с нетерпением ждут результата суда.

— Значит, формальности все? Взять его!
Железные руки схватили Саламаткина.

* * *

— Извозчик № 100! Это вы хотели взять с этого седока рубль за конец с Литейного театра в Троицкий?

— Да как же, господа, ежели будем говорить овес... опять же хозяин...

— Это нас не касается. Свидетельство двух уважаемых граждан имеется? Фонарь крепкий? Значит, все формальности налицо. Мистер Дерябкин — потрудитесь...

* * *

— Это — комиссионные дела нашего банка, и они вас не касаются!! Наш овес — мы его купили и можем выпустить его на рынок, когда нам заблагорассудится. Вы не смеете меня брать — нет такого закона...

Предводитель нагнулся с взмыленного коня и заглянул прямо в глаза банкиру.

— Нет, есть такой закон, — холодно сказал он. — Калифорнийский закон — закон Линча!

... Фонарь ласковым мирным светом освещал приблизившееся к нему недовольное лицо банкира...

И что будет после введения такого нового порядка

— Господин! Ежели вы находите, что этот хлеб не совсем пропечен, я отрежу другой кусок.

— Нет, что вы! Хлеб великолепно выпечен.

— А то скажите только. Потом тут у нас такса вывешена; так мы с ней не особенно считаемся: на копеечку все дешевле продаем. Все-таки, знаете, спокойнее — хе-хе!.. Мишка! Дверь открой господину.

* * *

— Извозчик! К Народному дому — восемь гривен.

— Это с угла-то Морской и Невского? Что вы, господин, — и половины довольно!

— Ну ты тоже скажешь! Бери шесть гривен.

— Да ведь езды здесь хорошей 10–12 минут — за что же тут? Полтину извольте — больше никак невозможно! А то иначе и не поеду.

* * *

— Слушайте, господин банкир! У меня есть партия овса. Вы понимаете, 800 вагонов по пустячной цене. А если мы потихоньку перевезем его сюда да припрячем...

— Эй, кто там! Ильюшка, Семен! Где мой большой револьвер?.. Держите этого субъекта, я сейчас буду стрелять ему между глаз!!

— Ну, хорошо... Ну, вот я уже и ушел!.. Очень нужно кричать...

ОДЕССИТЫ В ПЕТРОГРАДЕ

Утро в кафе на Невском, где «все покупают и все продают».

— А! Кантарович! Как ваше здоровье?

— Ничего себе, плохо.

— Слушайте, Кантарович... чем вы сейчас занимаетесь?

— Я сейчас, Гендельман, больше всего занимаюсь диабетом.

— Он у вас есть?

— Ого!

— И много?

— То есть как много? Сколько угодно! Могу вам даже анализ показать.

— Хорошо, посидите. Я сейчас, может быть, все устрою. Убегает.

* * *

Наталкивается на Шепшовича.

— Гендельман, куда вы бежите?

— У меня есть дело. Не задерживайте меня. Я продаю.

— Что вы продаете?

— Диабет я продаю.

— Диабет? Гм... Много его есть у вас?

— Положим, он есть не у меня, а у одного человечка.

— У какого?

— Вы замечательный наивник! Я, может быть, на этом заработаю — так я ему обязательно должен сказать, чтобы он из-под носу вырвал!

— Вы мне можете не говорить, но я вас заверяю, что вы без меня диабета не продадите.

— Серьезно?

— Он спрашивает! Я вам скажу, что теперь весь диабет проходит через мои руки.

— Кому же вы его ставите?

— Гельдельман! Не надо считать меня идиотом. Это настолько мой хлеб, что я вам даже ничего не скажу.

— Ну, хорошо. Так сделаем это дело вдвоем.

— А вагоны?

— Ой, эти вагоны — вот у меня где сидят. Чистое с ними наказание. Ну, у нас, впрочем, есть специалист по вагонам — Яша Мельник.

* * *

— Яша! Здравствуйте, Яша! Вы могли бы достать нам вагонов?

— Под чего?

— Под диабет.

— Что это за диабет?

— Здравствуйте! Только сегодня на свет родились! Диабет есть диабет.

— Может, дрянь какая-нибудь!

— Дрянь? А если я вам покажу анализ — что вы скажете?

— Если анализ есть, так какой там разговор? Вагоны будут.

— Значит, все и устроено!!

- А у кого диабет?
- Это еще пока секрет. Но мне сказано, что я могу иметь его, сколько угодно.
- Почему?
- Что почему? Вы раньше скажите вашу цену, а потом уже мы поговорим о моей цене.
- Слушайте! Вы мне должны рубль на пуд уступить.
- Рубль? Я вам тридцать копеек не уступлю! Вы же знаете, что сейчас диабет с руками отрывается.
- Серьезно?
- Он спрашивает! Вот смотрите: Моносзон!
- У вас есть диабет?
- Нет.
- Видите? Эй, молодой человек... Как вас... Вот вы в коричневом. У вас есть диабет?
- Нет.
- Вы видите? Вы расспросите все кафе — и почти ни у кого не будет диабета.
- Хорошо. Мальчик! Дай, милый мальчик, перо и чернила — мы напишем куртажную расписку. Значит, будем работать на проценте. Мои — пятьдесят (я же продаю!), Яше за вагоны — двадцать и вам, Гендельман, за то, что вы найдете нам диабет, — тридцать процентов. Согласны?
- Еще я буду торговаться? Хорошо. Но где же ваш покупатель?
- Я сейчас буду к нему звонить. Мы в три дня это все и покончим! Сделаем хорошие деньги. Яша! Я пойду в комитет звонить, а вы работайте насчет вагонов.
- Уже!
- Алло! Это военно-промышленный комитет?
- Да.
- Слушайте! Вы интересуетесь диабетом?
- Что? Алло, что вы говорите?
- Диабетом интересуетесь?
- Чем?
- Диабетом! Вы только скажите: хотите вы иметь диабет? Так вы его будете иметь.
- Вы — идиот!
- Что? Алло! Разъединили. Это центральная — прямо какой-то бич народов. Центральная? Дайте мне 628-62. Это

что такое? Это военно-промышленный комитет? Слушайте... Вы можете через меня очень быстро иметь диабет, — хотите?... — !!!...?!!! — ...!! —

* * *

Через десять минут Шепшович приближается к Яше Мельнику и Гендельману.

— Ну, что?.. Поговорили с покупателем?

— Гендельман! Скажите мне правду: кто вам сказал, что у него есть диабет?

— Слушайте... Раньше бы я вам не сказал, потому что вы бы из-под носу дело вытащили, но раз мы уже подписали куртажную расписку, так я вам скажу: диабет имеет-ся у Кантаровича!

Шепшович со зловещим спокойствием:

— Может быть, вы скажете, сколько у него этого диабета?

— Э-э... Мня... Тысяч тридцать пудов...

— Так-с. И почему?

— Э... семнадцать рублей пуд... Вы же сами понимаете, что раз на рынке диабета почти нет...

— Хорошо, хорошо... Скажите, это цена франко Петроград?

— А то что же!

— Тогда я вам скажу, что вы, Гендельман, не идиот — нет! Вы больше, чем идиот! Вы... вы... я прямо даже не знаю, что вы! Вы — максимум! Вы — форменный мизерабль! Вы знаете, что такое диабет, который есть у Кантаровича «сколько угодно»?! Это — сахарная болезнь.

— Что вы говорите? Почему же вы сказали мне, что весь диабет проходит через вас?

— А! Если я еще час поговорю с таким дураком, так через меня пройдет не только диабет, а и холера, и чума, и все вообще, что я сейчас желаю на вашу голову!!

ФРАНЦУЗСКАЯ БОРЬБА

Французская борьба, как и всякий одряхлевший, обветшавший организм, скончалась неожиданно и по самой пустяковой, незаметной для здорового организма причине...

* Здесь: негодяй, мерзавец (*фр.*).

В один из обычных «борьбовых» дней, когда знаменитый «дядя Ваня» под звуки марша вывел свою разношерстную команду на цирковую арену и, построив всех чемпионов полукругом, заревел своим зычным голосом:

— В настоящем международном чемпио...

— Неправда! — крикнул чей-то звучный голос с третьего ряда.

Дядя Ваня споткнулся и недоумевающе взглянул на перебившего.

— То есть... что неправда?

— Да вот вы сказали «в настоящем международном» — это неправда.

— Что именно? — обиделся дядя Ваня. — Неправда, что он настоящий или что он международный?

— И не настоящий он, и не международный.

— А какой же он?

— Вам лучше знать. Только он не настоящий.

Дядя Ваня пожал плечами и пошел дальше:

— ... чемпионате, организованном в интересах спорта для борьбы за первенство мира...

— И это неправда, — твердо сказал голос уже из первого ряда.

— Что... неправда?

— Что вы говорите: «В интересах спорта»... Ну при чем тут интересы спорта?

— Как это... так... при чем? Спорт же — вы сами знаете...

— Знаю, знаю, — засмеялся зритель. — Потому и говорю: не верю.

Дядя Ваня скрыл смущение и гаркнул дальнейшее:

— ... для борьбы за первенство мира...

— Неправда! — крикнул кто-то из второго ряда. — И в Одессе, и в Харькове, и в Ахтырке, и в Виннице сейчас борются в цирках за первенство мира...

— Ну, так что же?

— Сколько же у вас миров, если в каждом паршивом городишке ваши дармоеды возятся на пыльных коврах «за первенство мира»?

— Дядя Ваня, — крикнул с галерки сиплый, дружески-фамильярный голос. — Не втирай очки.

Дядя Ваня призвал на помощь все свое самообладание и крикнул:

— Победителям будут розданы следующие призы...

— Неправда!..

— Что? Господи, Боже ты мой... Что же неправда?

— Вот это... что победителям...

— Почему?

— Ну, какие они победители? Тоже спорт нашли! Ха-ха!

Дядя Ваня чуть не плакал:

— ... следующие призы: большая золотая медаль.

— Неправда! Не верим!

— Да медали хоть поверьте! — стукнул страшным кулаком себя в грудь дядя Ваня.

— Не хотим! Довольно верили! Хватит!

— Да чему ж вы тут не верите: обыкновенная большая золотая медаль...

Со всех сторон кричали:

— Неправда!

— Нет! Не может быть!

— Она не обыкновенная!

— Не большая!

— Не золотая!

— Не медаль!

— О, Господи! — надрывался дядя Ваня. — Да ведь что-нибудь борцы получат?

— По морде они получают!

— Брось, дядя Ваня! Иди спать.

— Господа, господа! Так же нельзя... Вас много, а я один. Если у публики есть какие-нибудь заявления, пусть она говорит по очереди. Вот вы... чего вы от меня хотите?

— Я? От вас? Конечно, хочу... Скажите, дядя Ваня, у вас нет продажного бензина? Я вчера в кафе принял заказ на 3000 пудов... Может, продаете?

— Господа! Это коммерческое дело, а мы... в интересах спорта...

— Борьба тоже коммерческое дело!

— Дядя Ваня! А где теперь Вахтуров?..

— Вахтуров в Одессе! Сейчас его Пеликан избирает почетным гражданином города Одессы и ее окрестностей!

— Как низко пал Вахтуров!..

Увидев, что публика как будто отвлеклась в сторону, хитрый дядя Ваня воспользовался случаем и гаркнул:

— Сегодня состоятся борьбы следующих пар...

— Неправда! — взвизгнул женский голос.

— Что неправда?

— Все неправда! Не сегодня! Не состоятся! Не борьбы!

И никаких пар нет!

— Мадам, что вы! Да два борца — разве это не пара?

— Ничего подобного! Вы с вашими борцами — два сапога пара!

— Дядя Ваня, брось. Охота... Иди спать.

— Прошу внимания! Борется первая пара: сэр Джон Кукс, Англия...

— Неправда! Он армянин! Какой же он сэр, если еще на прошлой неделе нам у Макаева шашлык подавал...

Дядя Ваня сделал вид, что не слышит.

— Сэр Джон Кукс, Англия, и Лиман Фрей, негр, Тим-букту!!

— Дядя Ваня, какой же он негр, ежели он белый.

— Он очень чистоплотный... часто моется...

— Вот тебе раз!.. А говорят: черного кобеля не отмоешь добела.

— Прошу почтеннейшую публику моих негров с собаками не смешивать! Вторая пара — индус Кахута, Индостан...

— Индус? Да я с ним давеча разговаривал, так по-ярославски и чешет.

— Он за это будет оштрафован, успокойтесь! Вторая пара...

— Дядя Ваня, — проникновенно сказал искривленный юный студентик из ложи. — Мне скучно.

Солидный господин в первом ряду вынул золотые часы, взглянул на них и сказал:

— Досточтимый дядя Ваня! Чтобы не тратить зря драгоценного времени, сделаем так: пусть они не борются, а просто вы скажете нам — кто кого должен побороть. Ей-Богу, это все равно. А вечер будет свободный — и у вас и у нас.

— Правильно! — заревел мальчишка с галерки, подражая голосу дяди Вани.

Грустным, полным затаенной боли взглядом обвел дядя Ваня всю свою понуренную команду... Всем было не по себе, все сердца щемила боязнь за будущее.

— Доборолись? — ядовито прошипел дядя Ваня. — С вами, чертями, и не в такую историю втяпаешься. Тоже, борцы выискались... Ступайте домой.

И, рывкнув по привычке: «Парад, алле!», тихо побрел за борцами, которые гуськом, с понуренными головами, убитые, молча покидали арену.

* * *

Так кончится французская борьба на Руси...

Скука человеческая вознесла ее превыше леса стоячего, скука человеческая и положит ее на обе лопатки.

Разбредутся безработные борцы, всякий по своему делу, и не скажут даже напоследок своему предводителю:

— Ave, дядя Ваня! Morituri te salutant.

Не скажут, ибо не только не знакомы с латынью, но и по-русски подписываются так: «Борец Сиргей Петухофь».

ОДИН ЧАС В КАФЕ

Труднее всего угнаться за веком.

Только что ты, запыхавшись, догнал его, оседлал, как следует, вспрыгнул и поехал на нем, как он снова делает скачок, сбрасывает тебя и снова, сломя голову, мчится вперед, а ты плетешься сзади — усталый, сбитый с толку, ничего не понимающий.

Все это время я думал, что не отстаю от века, а на днях мне пришлось с горечью убедиться, что это резвое животное снова оставило меня далеко позади.

* * *

Недавно я зашел в первое попавшееся кафе на Невском.

Цель у меня была весьма скромная, но достойная всякого уважения: выпить стакан кофе. И только.

Оказывается, что в 1915 году это не считается целью. Это только средство.

Не успел я усесться за столиком, как какой-то не особенно щеголевато одетый господин, чахлый и запыленный, подошел ко мне и, положив руку на край стола, спросил, таинственно озираясь по сторонам:

— Рубашки есть?

— Есть, — ответил я, немного удивленный выбранной им темой разговора при столь поверхностном знакомстве со мной.

— Продаете?

— Нет, зачем же, — с достоинством ответил я. — Мне самому нужны.

— Жаль. А то бы дело сделали. Термометры вам нужны?

— Какие термометры?

— Обыкновенные, лазаретные.

Тут я вспомнил, что у меня дома не было ни одного термометра. «Заболеешь еще, — подумал я, — нечем и температуру смерить».

Это соображение заставило меня ответить с полной откровенностью:

— Нужны.

— Сколько?

— Что сколько?

— Термометров. Предупреждаю, что у меня немного. Могу предложить 120 grossов.

— Господи Иисусе! На что мне столько! При самой тяжелой болезни я обойдусь одним.

Он в ужасе поглядел на меня, отшатнулся и поспешно отошел к самому дальнему столику.

Другой господин, толстый, упитанный, в песочного цвета костюме, подошел ко мне в ту же минуту. Приблизил ко мне отверстый тяжело дышащий рот и вполголоса спросил:

— Свинцовыми белилами интересуетесь?

— Нет, — проверив себя мысленно и не колеблясь, отвечал я.

— Дубильную кислоту имеете?

Мне надоели его бессмысленные вопросы и приставания; чтобы отделаться от его предложений, я решил прихвастнуть:

— Имею.

— Много?

— Сто пудов, — тупо уставившись в стакан с кофе, буркнул я.

— Беру.

— Как так берете?

— Продаете вы ее?
— Что вы! Как же я могу продать... Она мне в хозяйстве нужна.

— Простите, — с уважением склонился передо мной господин песочного цвета. — У вас кожевенный завод?

— Три.

— Очень приятно. Почему у вас пуд выделанной, для подметок?

— Пятьсот рублей.

Господин испуганно запищал, как резиновая игрушечная свинья, из которой выпустили воздух, и в смятении уполз куда-то.

Если он был сбит с толку и растерян, то и я был сбит с толку и растерян не менее его.

Я ничего не понимал.

Третьего господина, подошедшего ко мне, обуревало лихо-радочное любопытство узнать, интересуюсь ли я ксероформом.

— Нет, — нервно ответил я и иронически добавил: — А вы подковами интересуетесь?

Он ни капельки не обиделся и не удивился.

— Помилуйте! С руками оторву. Сколько у вас кругов?

— Сорок тысяч.

— Чудесно. А почему?

— По тысяче сто.

— За тысячу?

— Конечно. А то за что же?

— Сбросьте по три сотни.

— Не могу.

— Ну по две с половиной. Ей-Богу, иначе нет смысла.

— Что ж делать, — холодно пожал я плечами. — Кстати... (спокойно, но сгорая тайным любопытством, спросил я) для чего вам такая уйма подков?

— То есть как для чего? Для военного ведомства.

Краешек завесы приподнялся передо мной. Проглянуло ясное небо.

— Вот оно что! Серной кислотой интересуетесь?

— Интересуюсь. И кофе интересуюсь.

— А асбестом?

— Конечно. Бензином... тоже...

— И сливочным маслом?

— Особенно. Но сейчас я много дал бы за нефтяные остатки.

— Seriously, много дали бы?! У меня есть.

— Что вы говорите! Где?

— Дома. Собственно, это скорей керосиновые остатки. Лампа, знаете ли, на кухне горит, ну оно и оста...

— Черт знает, что такое! — вскипел мой собеседник.

— С ним о деле говоришь, а он шутит! Мне слишком дорого время, чтобы...

— Да черт вас возьми! Кто к кому подошел: я к вам или вы ко мне?! Кто к кому обратился с разговором!.. Я к вам или вы ко мне?! Черт вас разберет, что вам нужно?! Для чего мне ксероформ? Для чего дубильная кислота? У меня все есть, что мне нужно, а излишек я вам могу предложить!! Кофе вы интересуетесь? Пожалуйста — вот оно! Ешьте! Бензин вам нужен? У меня есть дома ровно столько, сколько вам нужно, чтобы вывести пятна на вашем костюме!!

Тон его сделался мягче.

— Вы, очевидно, первый раз здесь, вот вам и странно. Seriously вы мне кофе предлагали или шутя?

— Seriously. Садитесь.

* * *

Мы пили уже по второму стакану кофе, и я с грустью чувствовал, что никогда век не скакал так резво и никогда мне больше не угнаться за ним.

Какие-то люди подходили к моему новому знакомому и вели самые непонятные разговоры.

— Вы хотите сверлильные, фрезерные?

— Нет, я даю.

— Почему?

— Три тысячи шестьсот, франко Ревель.

— Вагоны ваши?

— Даю вам хоть сто вагонов. Кстати: беру трехдюймовое железо...

— Лондоном интересуетесь?

— Благодарю вас. Могу сам вам дать Лондона сколько угодно.

— А термометры?

— Возьму с удовольствием. Почему?
— 21 за дюжину.
— Что вы мне говорите! А в аптеке какая розничная цена?
— Рубль шестьдесят.
— Почему же вы с меня хотите рубль семьдесят пять за опт?

— Потому что вы идиот. Вы в аптеке достанете один-два термометра. А пойдите попробуйте купить сто — вам дадут по шее.

Перед моими глазами происходили чудеса.

К моему новому знакомому подходил человек, у которого ботинки от ходьбы пешком свирепо разинули рты, и говорил этот человек:

— Имею восемьдесят автомобилей. Интересуетесь?

«Как! — простодушно думал я. — Человек имеет восемьдесят автомобилей и так упорно и настойчиво ходит пешком?! Чудак он? Оригинал-миллионер?»

А мой новый знакомый деловито возражал ему:

— Нет, автомобилями не интересуюсь. А вы скажите лучше, когда вы мне отдадите четыре с полтиной, которые взяли на прошлой неделе?

Я слышал такое предложение:

— Имею шестьдесят тысяч рубашек. Интересуетесь?

Не удивительно ли было, что счастливый обладатель шестидесяти тысяч рубашек имел на своем теле шестьдесят тысяч первую рубашку — такую грязную, что если предположить и остальные шестьдесят тысяч рубашек в таком же состоянии, то тысяча прачек должна была бы в течение недели приводить эти рубашки в мало-мальски сносный вид.

Больше всего меня поражала та легкость, с которой возникали громадные дела, ширились тут же на моих глазах, росли и, почти дойдя до благополучного конца, вдруг с треском рушились из-за сущего пустяка, причем (надо отдать им справедливость) инициаторы предприятия не особенно горевали о гибели почти налаженного колоссального дела, а сразу же приступали к возведению другого не менее колоссального здания, снова рушившегося.

— Дровами интересуетесь?

— Чрезвычайно. Много есть?

— Десять тысяч вагонов.

- Великолепно! Подходит!.. Почему?
- По столько-то.
- Франко Петроград? Цена подходящая. Это именно то, что мне нужно. Где дрова?
- В Финляндии.
- Чудесно. Сделаем дело. Вагоны вы беретесь достать?
- Вагоны будут.
- Так пойдете писать условие!
- Пойдемте.
- Кстати: а сколько вагонов вы мне дадите ежедневно?
- Мне железная дорога обещает по десять вагонов.
- Сапожник вы. У вас десять тысяч вагонов, а вы мне будете присылать десять вагонов в день! Это на три года, а мне на эту зиму нужно.
- Что ж делать, если больше вагонов не достану.
- Ну, черт с ним! Жаль. (Пауза.) А шрапнельной сталью вы интересуетесь?
- Почему она у вас?

Какие нужно иметь нервы, чтобы так быстро примириться с крушением уже почти налаженного дела, результат которого должен на всю жизнь обогатить человека?!..

* * *

Подошел к нам изможденный, узкогрудый молодой человек и сказал моему новому приятелю:

- У меня есть носки.
- Беру. Много?
- Сорок тысяч.
- Почему?
- 11 рублей дюжина. Франко Выборг.
- Подходит. Образцы есть?
- Есть.

Покажите.

К моему изумлению, владелец сорока тысяч пар носков поставил ногу на свободный стул, засучил одну штанину и похлопал по собственному носку, довольно пострадавшему от времени:

- Вот.

И никто не удивился; все наклонились и стали ощупывать носок.

Погоня за рублем убила у этих людей то, что было у меня с избытком: непосредственность восприятия.

И я понял всю драму этого владельца сорока тысяч пар носков, получившего образец для предложения коллегам и вынужденного силой обстоятельств носить этот образец совсем не в том месте, где ему надлежало быть.

И подумал я: бедняга ты, бедняга! Ну хорошо, что это только носок, а не другая какая-нибудь часть туалета, показывание которой заставило бы тебя раздеться в этом шумном многолюдном кафе до рубашки. Хорошо, что тебе пришлось показать образцы носков, а не кофе, хлеба, сахара и масла...

Как бы, бедная твоя голова, показал ты их?

.....

За тот час, что я провел в этом удивительном кафе, — совершилась там только одна торговая сделка: я уплатил наличными за приобретенный мною товар (кофе, хлеб, масло) 1 руб. 70 коп. франко кафе наличными.

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ...

Нами получено письмо от неизвестного читателя, подписавшегося скромно и мило:

«Петроградец».

В тоне письма и подписи чувствуется солидный человек, а отнюдь не вертопрах какой-нибудь, желающий ошеломить читателя мимолетной ракетой трескучей мысли; мысль автора проста и остроумна, несмотря на кажущуюся сложность ее осуществления. Вопрос, которого касается автор, не только назрел, но и перезрел, и если его, выражаясь аллегорически, не срезать вовремя, он, как некий плод, с треском упадет на головы заинтересованных людей.

Одним словом, письмо, написанное нашим читателем, умно, тонко и исчерпывающе.

Мы гордимся нашими читателями.

Вот письмо:

«Милостивый государь, господин редактор!

Я уже много лет читаю ваш остроумный журнал и очень люблю его... (поистине удивительно чутье и вкус этого скромного псевдонима, под которым, на основании выше-

написанного им, можно заподозрить крупную личность, обладающую сильно развитым художественным вкусом. — *Примеч. ред.*) Во всяком вопросе, к которому вы подходите, вы берете быка за рога. (И верно. Берем. Это наш принцип. Но какова у автора наблюдательность! — *Примеч. ред.*) Надеюсь, что на этом основании вы и дадите на страницах вашего уважаемого и талантливого (но каков вкус у человека! — *Примеч. ред.*) журнала место моему письму...

Читали ли вы когда-нибудь, господа, Майн Рида, именно те его романы, в которых он описывает пиратов Коромандельского берега, бразильских разбойников и дикарей, водящихся в болотистых местах Амазонки.

Положа руку на сердце, кого они вам напоминают?

Угадали. Ну вот то-то же. Я так и знал.

Действительно, получается такое впечатление, что все перечисленные отбросы земного шара перенесены в Петроград, одеты в извозчицьи армяки, посажены на козлы и двинуты сомкнутым конным строем на публику, предводительствуемые одним из членов городской думы, одетым в красный мундир, мокасины на голых ногах и шапку, сделанную из старой сигарной коробки. В ушах у этого члена думы сверкают две коробки из-под сардинок, а нос проткнут дамской булавкой. Он скачет впереди, испуская воинственные крики и науськивая всю свою банду на оторопевшую беспомощную публику.

— Что такое петроградский извозчик?

Кто этого не знает.

На грязном обшарпанном экипаже сидит бесформенное оборванное существо, рычащее, кусающееся и плюющееся.

Право, больно подумать: ведь это наш же русский человек, брат наш по родине, который крестится на каждую церковь, который имеет или имел папу и маму, поминаемых им отнюдь не в приливе сыновней любви.

Это грязное, обшарпанное, ободранное, зловонное существо, сидящее скорчившись на козлах, ненавидит всякого седока острой длительной ненавистью, а седок тоже ненавидит его и — боится.

Что бы сказал лондонец или парижанин, если бы кто-нибудь выпустил на лондонские или парижские улицы несколько тысяч грязных пиратов с грубыми голосами,

озверевших разбойников, которые бы подстерегали в глухих местах доверчивых прохожих, усаживали их на особые приспособленные для грабежа тележки и, провезя их для отклонения подозрений несколько кварталов, грабили бы и обирали этих доверчивых прохожих.

Да ведь человека, который организовал бы эту страшную банду, лондонцы давно бы уже повесили во дворе мрачного Ньюгэта или Тауэра по приговору коронного суда.

Мы, петроградцы, — почти все нервные, раздражительные люди: $\frac{1}{4}$ всей этой нервности вызывается петроградскими извозчиками.

Идете вы по улице. Захотелось вам поехать.

— Извозчик!

Он тускло и равнодушно глядит на спину своей лошади.

— Извозчик! Свободен?

Такой же бы получился результат, если бы вы звали сфинкса у академии:

— Сфинкс! Свободен?

Молчит, каналья, подлец этакий, чтоб его лихорадка взяла!

— Изво-о-озчик!

Еле заметное движение головы.

— Чего орешь? Занят. Не видишь, что ли.

Это — когда он занят.

Вот — когда он свободен:

— Извозчик!

— Пожалуйте! Куда прикажете?

— На Троицкую. (Он стоит на Караванной.)

— Рублик пожалуйста, без лишнего.

— Что-о? А по таксе не хочешь ли?

— На кладбище тебя повезу по таксе, вот куда.

Вы, возмущенный, идете дальше. За вашей спиной ставится точка этому краткому разговору:

— Жулик. Туда же.

Подумайте, ведь это наш же брат, русский человек, обычно такой добрый, отзывчивый к чужому горю, ласковый и приветливый.

Кто его сделал таким?

Наверное, городская дума устроила где-то под землей тайную школу, и особые инструкторы в тиши ночей тайно учат всему этому извозчиков. На свою же голову.

- Извозчик! Надеждинская, семь гривен.
- Положите полтора.
- А по таксе не хочешь?
- Плевали мы на вашу таксу.

Мыслите логично: городская дума придумала свою таксу, извозчики плюют на нее; значит — они плюют на думу.

Деловому петроградцу приходится целый день носить-ся по городу на извозчиках. Вопрос: что от него остается вечером после десятка вышеприведенных разговоров?

Вот к устранению и разряжению всей этой нервности бедного петроградца и ведется вся сущность моего делового проекта.

Вот мой проект: за день извозчики доводят петроградца, благодаря городской думе, до состояния, близкого к истерике.

Избивать каждого извозчика, дабы сорвать злость, — некультурно. Да он и ни при чем.

Разыскивать какого-нибудь из членов думы — культурно, но хлопотливо.

Что же предлагаю я? В Англии сейчас живет негр, бывший знаменитый боксер Джонсон. У него лицо от тренировки, как камень: хоть поленом по нем бей — глазом не моргнет.

Следует выписать этого негра Джонсона, избрать его в члены городской думы и выставить на Невском в особой специально устроенной будке.

И вот, когда у кого-либо из петроградцев, едущих на извозчике, уж очень накопится на сердце, петроградец останавливает на Невском извозчика, соскакивает с экипажа и, подскочив к негру и крикнув, со всего размаха ударяет это твердокаменное чудовище по лицу. Негру все равно (он тренирован), а петроградцу сразу делается легче, ибо он высказал свое мнение о петроградском муниципалитете — в самой категорической форме. Вот мой проект!

С почтением к вам

Петроградец.

P.S. Содержание негра Джонсона город должен взять на себя, а если откажется — обложить извозчиков.

Петрогр.»

МИНИСТР БЕЗ ПОРТФЕЛЯ

— Господа! — сказал председатель Думы Родзянко, оглядывая нескольких приглашенных им в свой кабинет депутатов. — Господа! Вы, слава Богу, уже не маленькие, господа, и вообще, пора вам уже подумать о своем будущем... Не все же на шее у Государственной думы сидеть. Надо быть самостоятельными.

— Мы... стараемся.

— Я знаю. Иначе я и не предложил бы того, что предлагаю сейчас.

Лицо его приняло торжественное выражение.

— Господа! Знаете ли вы, что предполагается учредить кабинет министров из общественных деятелей, облеченных доверием страны!

— Кабинет? Из общественных деятелей? — слышались радостные возгласы.

— Да... Гм!.. Только, видите ли... без портфелей. Понимаете? Да оно, в сущности, к чему эти портфели? Одна возня с ними. Да еще, смотри, украдут — неприятности будут.

— Конечно, обойдемся и без них, — отозвался один добросердечный, склонный на всяческие компромиссы октябрист. — Будем бумаги в руках носить, вот и все.

— То-то и оно. Карманы пошире шейте, — как вообще министрам полагается. Одним словом, обойдитесь без портфелей.

— Я бы все равно портфеля и не взял, — отозвался сентиментальный прогрессист. — Мне коровок жалко.

— Каких коровок?

— Да из которых портфели делают. Коровок-то убивают ножичком, шкуры с них снимают и портфели шьют.

— Какое безобразие! — ахнул кто-то. — Звери, а не люди.

— Так вот, господа, значит, и ступайте, с Богом! Да! Я и забыл вас предупредить... Дело-то в том, что хотя вы и будете министрами, но тут будут еще и другие министры. Прежние.

— Да зачем же прежние? — робко пискнул кто-то сзади.

— Как же зачем?!.. Неловко же ведь так просто взять да ни с того ни с сего и уволить их. Стыдно зря людей обижать. Да они вам не помешают, вы не бойтесь.

— Значит, мы с ними вместе будем служить?

— А? Вместе.

— Так-с!

— Понимаете, такое сотрудничество. Бок о бок.

— Это хорошо. Веселее, — обрадовался октябрист. — Мы министры — и они министры; мы шьем себе золотой мундир — и у них золотой мундир; мы без портфеля — и они без портфеля...

Родзянко отвел глаза в сторону и сказал, как-то ежась:

— Да нет, у них, собственно, портфели будут, но это ничего. Вы не обращайте на это внимания. Люди они уже не молодые; со странностями. Привыкли к своим портфелям, к этим потрепанным кускам старой кожи!.. Хе-хе... Попробуй у них отнять — крику не оберешься. Верно ведь, господа? А вы будьте выше этого.

— Будем выше, — согласился со вздохом прогрессист.

Кадет, поклонник делового течения, с деловым видом высморкался в платок и деловито спросил:

— Когда становиться на работу?

— Завтра же с утра можно и начинать. Сейчас я вам напишу адреса: кому куда ехать надо.

Он писал. Депутаты подталкивали друг друга локтями, вздыхали и перешептывались.

Глаза сияли почти у всех:

— Достукались!

* * *

Министр озабоченно подписывал какие-то бумаги, когда курьер доложил:

— Там пришел какой-то, ваше высокопревосходительство.

— Кто такой?

— Да чудной какой-то. «Я, — говорит, — министр».

— Какой министр?

— Бог его знает.

— Зачем же он пришел?

— Я, говорит, сотрудничать пришел. Меня, говорит, назначили.

— А-а-а!.. Это они, как их... без портфелей! Общественные деятели! Пусть подождет там, пока кончу. Дай ему газету, что ли, чтобы не скучно было.

— Слушаю-с.

.....

— Сам-то сейчас занят, бумаги, вишь, подписывает. А кончит, так сейчас же вас и примет.

— Да, может, ему помочь нужно? Я бы с удовольствием. Как говорится: ум хорошо, а два лучше.

— Нет, этого они не велели. А газету дать велели. «Дай-ты, — говорит, — ему газету: пусть читает».

— А! Понимаю. Он, вероятно, хочет, чтобы я ознакомился с общественными настроениями, и потом мы вместе обсудим, как и что.

Наружно новый министр бодрился, но внутри чувствовал некоторый страх и смущение. Мимо него бегали какие-то важные люди в вицмундирах с золочеными пуговицами и бумагами в руках.

Некоторые поглядывали на него рассеянно, некоторые — строго, и новый министр, усевшись на стуле в уголку и уткнувшись в газету, думал трепетно: «Вдруг этот седой подскочит ко мне, да как раскричится: «Кто, — мол, — такой? Чего сюда всяких пускают? Какой такой министр? Никакого такого министра не знаю. Евстигней, убраться!»

Тяжело сжималось сердце.

«Страшно у них тут и неприветливо. Все что-то знают, все на месте, а я ничего не знаю; и всякий меня может обидеть».

Но через минуту прилив храбрости наполнил сердце нового министра.

«Да что в самом деле! Ведь я тоже министр! Что ж я, не такой министр, как другие? Да я могу накричать тут на кого угодно, разнести! Распустились все, подтянуть некому!.. Да я вот подойду к этому седенькому в бакенбардах, да как зыкну на него! «Вы это что же, милостивый государь, а? Да чтобы у меня этого не было, милостивый государь, да я вас... да вы меня...»

Новый министр так подвинул себя, что вскочил и быстро приблизился к сановного вида старичку. Но старичок взглянул так неприветливо и так сухо спросил:

— А что вам угодно, милос... дарь? — что новый министр вспыхнул и, запинаясь, спросил:

— А где тут уборная? Будьте так добры...

— Прокофий, проводи, — брезгливо сказал старичок.

* * *

— Вас просит господин министр, — с холодной любезностью подошел к новому министру секретарь.

— Ага, я сейчас... Я только тово... Как вы думаете, не помешаю?

— Нет, ничего. Пожалуйста вот сюда.

— А-а... Здравствуйтесь, коллега, — протянул руку старый министр. — Э-э... Мя... Очень приятно, очень. Признателен. Садитесь.

Новый министр сел.

— Как вам нравится эта бумажка? — снисходительно спросил старый министр.

Новый министр робко взял в руки бумажку и прочел:

— «В ответ на ваше определение по делу почетного гражданина Иеронима Бутыкина имеем честь сообщить, что на основании параграфа 1436 дальнейшему направлению означенного дела мешает отсутствие надлежащих документов, перечисленных в нашем предыдущем письме».

— Ну? — переспросил министр. — Как вы находите эту бумажку?

— Да... да... Бумажка ничего себе. Они, собственно, правильно пишут.

— Вы думаете? — неопределенно протянул министр.

— Ну, ладно. Господин Звездич, распорядитесь.

Секретарь взял бумагу и уверенно понесся с ней куда-то.

А новый министр подумал:

«Боже, как все эти дела непонятны... Какой-то Иероним Бутыкин, какие-то параграфы... Почему они все понимают, а я ничего не понимаю?»

Он свесил голову и застыл в нетерпеливой выжидательной позе...

Министр помялся немного, побарабанил пальцами по столу и, взглянув с некоторым сочувствием на покорно и печально согбенную, молчаливую фигуру, встал из-за стола.

Отвел в сторону второго секретаря и шепнул ему:

— Послушайте!.. Дайте ему какую-нибудь работу... Что же он так сидит?!

— Что же я ему дам, ваше высокопр-ство? Будь он сто-
лоначальник, а то — министр ведь!

— Придумайте ему какую-нибудь ведомость, что ли.

— Зачем?

— Ну, покажите ему, мнение спросите. Все-таки ему
веселее будет.

— Поздно уже сегодня. Четверть часа до конца присут-
ствия осталось. Пусть уж так досидит.

— Жаль ведь человека.

— Да уж не хотел бы я быть на его месте.

Министр приблизился к своему коллеге и ласково сказал:

— Устали? Ну, вот уже и присутствие кончено. Пора
расходиться. Ступайте, отдохните.

Новый министр облегченно вздохнул и стал радостно
собираться домой.

— Завтра когда приходите? — спросил он.

— Попозже можно. Это не важно.

— Слушаю-сь.

* * *

Идя по улице новый министр встретил товарища. Поз-
доровался.

— Послушай, — сказал товарищ. — Как это тебя угораз-
дило под трамвай попасть?

— Как попасть? Я не попадал!

— А руку-то тебе правую где искалечило?

— Разве она искалечена?

— Я думаю! Ты подал мне всего два пальца, я и думал,
что остальные колесом отхватило.

— Ты все шутишь, — солидно возразил новый министр, —
а я еле на ногах стою.

— Почему?

— Ведь я министр — поздравь. Работы — уйма! Ты ду-
маешь, государственные дела — это фунт изюму?...

БЛАГОРОДНАЯ КРОВЬ

Вы хотите знать, что это было за существо?

Лошадь. Самая обыкновенная лошадь.

Ее пол?

Мерин.

Цвет?

Сивого цвета она была.

Одним словом, это была любимая лошадь Вильгельма Гогенцоллерна.

* * *

Когда я впервые наткнулся на нее, она уже умирала. Вся кожа на спине и на боках то ходила большими, странными волнами, то сотрясалась мелкой дрожью, а глаз — выпуклый и добрый — был уже покрыт холодным голубоватым туманом смерти...

И галицийское поле, изрытое тысячами ног, пыльное, неприветливое, было ее предсмертным ложем.

— Умираешь? — тихо спросил я.

Ее бока раздулись и снова тяжело опали.

— Умираю, так точно, — ответила она, как ответила бы на ее месте всякая дисциплинированная немецкая лошадь.

— Ранена?

Она с трудом пожала плечами.

— С ума ты сошел, что ли? Как я могу быть ранена, если я носила на себе самого Вильгельма Гогенцоллерна. Да мы за сорок верст к линии огня не приближались... Шутка ли!

— Опоили?

Как ни плохо было ей, она отвернулась, приснула в копыто и потом, запрокинув голову, стала ржать надо мной — не скажу, как лошадь, потому что сравнение это в данном случае совсем неуместно.

— Опоили?! Меня-то? Кхе-кхе!.. Ничего более ядовитого, более насмешливого ты не мог бы сказать... Опоили! Да я и умираю-то от жажды! Умираю, потому что уже несколько месяцев принципиально ничего не пила. Умираю, потому что доверчива уж я очень.

— Что ты там бормочешь о принципах! — недовольно проворчал я. — Еще того не доставало, чтобы у какой-то несчастной лошади были свои принципы!

Она чувствовала себя так плохо, что даже не обиделась.

— Слушай... — шепнула она мне на ухо, с трудом приподнимая голову.

— Ну?

— Я что-то хочу у тебя спросить...

— Ладно. Спрашивай.

— Ты не обидишься?

— Ну, да Бог с тобой. Говори.

— Послушай... Правда, что у вас, у людей, есть выражение: «врет, как сивый мерин»?

Избегая ее пытливого взгляда, я отвернулся и, найдя на земле какую-то чахлую соломинку, стал обкусывать ее.

— Правда?

— Ну... правда.

— Так смотри же, голубчик: я сивая?

— Пожалуй, что и так.

— Мерин я, черт возьми, или что я такое?

— Не без этого, — неопределенно отвечал я, делая вид, что с аппетитом доедаю соломинку.

— Прекрасно. Значит, мы можем непреложно установить, что я именно и есть сивый мерин?

— Ошибка тут едва ли возможна.

И, опрокинувшись на спину и скрестив ноги на груди в порыве возмущения, спросила лошадь с нечеловеческой иронией в голосе.

— Значит, по-вашему, я идеал вранья? Значит, смысл и цель моей жизни только в том, чтобы врать?!

— Тебе нехорошо, — попытался я деликатно замять разговор. — Вредно волноваться.

Она усмехнулась.

— Какая разница? Ведь я все равно через несколько минут протяну ноги. Надеюсь, что хоть я сивый мерин, но *этому-то ты поверишь?*..

Она была слишком умна для лошади. Мне стал представляться совершенно с иной стороны поступок того римского

императора, который посадил лошадь в сенат в качестве председателя.

Что касается моей лошади, то сейчас нельзя было разоб-
раться — смеется она или кашляет.

— Что с тобой?

— «Врет, как сивый мерин»... Уморить вы меня хотите
от смеху. Скажи ты мне теперь вот что: когда император
дает какое-нибудь слово, можно ему верить?

— Безусловно! — горячо вскричал я.

— Вот так же думал и я — глупый сивый мерин!.. Увы!..
Это будет стоить мне жизни.

— Да что с тобой?!

— Я умираю от жажды!

— Почему?! Ведь вон же недалеко речка.

Она насмешливо оскалила зубы и взглянула на меня с не-
передаваемым выражением.

— Какая?

— Что какая? Речка? А черт ее знает. Ее даже на двух-
верстной карте нет.

— То-то и оно. А мне, братец ты мой, Нева нужна!

— Еще чего выдумай.

Она с трудом приподнялась на сгибе передней ноги
и посмотрела честными глазами в мои глаза.

— Послушай! Если десять месяцев тому назад император
Германии выходит вдруг перед фронтом, держа меня под
уздцы, и говорит громогласно, так что все слышат и я слы-
шу: «Солдаты! Я вас приведу в Париж! Даю вам слово.
Не пройдет и двух недель, как я буду поить свою лошадь
водою Сены!» — должна я этому верить или нет?

— Гм... Конечно, если он при всех дает слово...

— То-то и оно. Жду я честно и аккуратно две недели,
просыпаюсь утречком ровно через две недели и что же!
Начинают поить меня — знаете, из чего? Из ведра около
какого-то деревенского колодца! Как я ни фыркала, ни от-
ворачивалась, ни лягала конюха, это животное все-таки
вкатило мне всю порцию. Смолчала я. Затаила обиду. «Не-
чего сказать, — думаю. — Сами говорят: «врет, как сивый
мерин», а сами-то...»

— Ну? Дальше!

— Хорошо-с. Проходит некоторое время. Однажды смотрю опять: тащит меня по шаблону под уздцы, опять речь, опять: «Солдаты! Мы идем на Калэ, а оттуда прямая дорога на Англию! Не пройдет и трех недель, как я буду поить свою лошадь водой из Темзы». «Ладно, — думаю, — слышали». Однако, ты знаешь, сказал он это таким тоном, что я даже в сомнение пришла. Все-таки, думаю, император. Не будет же он врать, как... (снова ее голос зазвучал убийственным сарказмом) как сивый мерин!

— Вам нельзя волноваться, — мягко напомнил я.

Она отмахнулась хвостом, как от овода.

— Отстань. Ну-с... Так что же ты думаешь? Проходит три недели, проходит четыре недели — хоть бы капелька темзинской воды у меня во рту была! Опять надул. Два месяца тому назад вдруг опять хватает меня под уздцы, тащит куда-то. Сразу догадалась я, в чем дело: опять врать ведет. И удивительная вещь: почему он без меня врать не мог? Почему, когда он начинал врать, обязательно нужно меня под уздцы держать? Вдохновляла я его, что ли? Или думал он втихомолку все на меня свалить? Рядом, мол, стояли — неизвестно, кто из нас двоих говорил. Прямо поразительный человек... Как врать, так меня за шиворот — лучшей ему компании не надо.

— Что же он в третий раз обещал?

— Из Невы поить. «Ровно, — говорит, — через пятьдесят дней буду свою лошадь из Невы поить». Тут, знаешь, даже мне за него стыдно сделалось... Ладно, думаю, всякое дело до трех раз делается. Если и в третий раз соврешь — издохну, а докажу, что у меня свои принципы есть, не гогенцоллерновским чета! Подожду пятьдесят дней, а там или невскую воду буду пить, или никакую не буду пить!..

— Ну, и что же?

— Ты сам видишь... Полторы недели тому назад пятьдесят дней минуло... И вот... я...

Мне стало жаль эту глупую, доверчивую лошадь. Я попробовал ее урезонить.

— У нас невская вода нехорошая. С вибрионами.

— Для меня принцип важнее вибриона!

— И потом не виноват же Вильгельм, что русские не пустили его в Петроград.

— Не обещай!

— А ты знаешь что?.. Попробуй теперь сдать в плен: может, тогда и напьешься невской воды.

— Не хочу. Компромисс.

Помолчав, вспыхнула вдруг ярко, как догорающая свеча.

— Послушай! Неужели ты не понимаешь? Если мой император врет, как сивый мерин, то дай возможность его сивому мерину сдержать свое слово по-императорски!..

.....

И, закатив выпуклые глаза, испустило дух бедное доверчивое, благородное существо.

Сдержало слово.

ПОЗИТИВЫ И НЕГАТИВЫ

1. *Прежде — времена буколические*

Приглашение:

— Петр Иванович, пожалуйста завтра к нам на блины...

— Ах, это вам будет беспокойство...

— Ну какое там беспокойство — одно удовольствие.

Блинков поедим с икоркой, выпьем.

— Пожалуй...

— Не пожалуй, а непременно ждем. Обидите, если не придете.

* * *

За столом:

— Петр Иванович, еще блинков!

— Увольте, ей-Богу, сыт.

— Ну, еще парочку с зернистой.

— Что вы, довольны! Чуть не полтарелки икры наложили...

— Ничего, кушайте на здоровье. Коньячку или рябиновой?

— Ни того, ни другого. Ей-Богу, не лезет.

— Ни-ни. И думать не смейте отказываться. А семга!

Да ведь вы, разбойник, семги и не попробовали?

- Ей-Богу, ел.
- Нет, нет, лукавите! Позвольте, я вам положу два ку-сочка...
- О, Боже! Я лопну прямо... Надеюсь, больше ничего не будет?
- Уха еще и рябчики!
- Уморить вы нас хотите, дорогой хозяин!

* * *

Уход:

- До свидания, Петр Иванович! Спасибо, что зашли.
- Теперь вы к нам, Семен Мироныч...
- Да уж и не знаю, выберемся ли?
- Ну, вот новости! Послезавтра же и приезжайте! Жену привозите, деток, свояченицу и брата Николая Мироныча.
- Осторожнее, тут темно... Я вам посвечу...
- О, не беспокойтесь!

2. Теперь — собачьи времена

Приглашение:

- Петр Иванович, а я завтра думаю пожаловать к вам на блины...
- Ах, это нам будет такое беспокойство.
- Ну, какое там беспокойство — накормите блинами, и конец. Блинков поедим у вас с икоркой, выпьем.
- С чем, с чем?..
- А? С икоркой, говорю.
- Вам еще каменный дом в придачу не потребуется ли? Хм! С икоркой! А вы знаете, что икорка теперь 12 рублей фунт?
- Что вы говорите! Как дешево. А я думал, 14.
- Мало что вы думали... Для кого дешево, а для кого и не дешево...
- Так мы все-таки придем.
- Собственно, зачем?
- Да вот... блинков у вас поедим, выпьем.
- Это чего ж такого вы выпить собираетесь?!

— Да что у вас найдется. Не побрезгуем вашим хлебом-солью.

— Вода из водопровода у нас найдется — вот что у нас найдется. Лучше уж не приходите.

— Нет, что вы! Обязательно придем.

* * *

За столом:

— Дорогой хозяин... еще блинков... Можно попросить?

— Увольте! Ведь, ей-Богу, вы уже сыты.

— Ну еще парочку... с зернистой.

— Что вы делаете?! Довольно! Чуть не полтарелки себе икры навалили.

— Ничего, буду кушать на здоровье. Коньячку мне выпить или рябиновой?

— Ни того, ни другого. Ей-Богу, вам уже не лезет, а вы все пьете. Не дам больше.

— Ни-ни. И думать не можете отказывать! А то голову сметаной вымажу. Позвольте... А семга?! Я про семгу забыл. Ни кусочка не попробовал.

— Ей-Богу, вы уже ели.

— Нет, нет, лукавите. Позвольте, я себе положу два кусочка...

— Два?! А вы знаете, что каждый кусочек стоит копеек семьдесят...

— Ну и черт с ним — большая беда, подумаешь...

— Да для вас беда не большая... потому что не вы платили. Едят, едят люди, ей-Богу, не понимаю, как не лопнут!

— Да-а, с вашего угощения действительно лопнешь... Пригласили на блины, смотреть не на что.

— Кто вас приглашал? Сами навязались.

— Еще бы! Если бы мы вашего приглашения ждали — ноги бы с голоду протянули.

— И протягивайте, потеря небольшая...

— Что еще будет, кроме этих блинишек?

— Ничего не будет.

— Как так ничего? Бульон же должен быть какой-нибудь или уха там... Дичь тоже всякая полагается...

— Достаточно и так дичь несли за столом. Ну-с — можно вставать из-за стола, дорогие гости. Дорогие — сами понимаете почему. В 35 рублей обошлось ваше совершенно неуместное посещение.

— Господи! 35 рублей истратил, а поет на двести.

* * *

Уход:

— Прощайте, дорогой хозяин.

— То есть как это прощайте? До свидания, а не прощайте!

— Разве вы думаете еще раз нас пригласить?

— Нет-с, не пригласить, а я думаю сам к вам на блины приехать.

— Не стоит.

— То есть как же это так — не стоит?! Вот еще новости! Небось сами ко мне пришли, пили, ели — а мне нельзя?! Завтра же и приеду: жену привезу, детей, свояченицу и брата Николая Мироньча...

— Вы бы всю улицу еще притащили! Дворника уж забирайте, кухарку тоже — все равно!!! Э, ч... черт, какая тут темнота на лестнице... Хозяин! Ты бы хоть посветил.

— И так хорошо. Керосин-то ноне кусается, сами знаете.

— Да тут ногу еще сломаешь в этой тьме.

— И прекрасно! Туда вам и дорога.

— Ну, беспокойной вам ночи в таком случае.

— Всего нехорошего!..

Собачьи времена наступают, истинно говорю вам.

ЧЕЛОВЕК, КАКИХ ТЕПЕРЬ МНОГО

Смешно сказать: в течение двух дней я встретил этого человека три раза; и он мне был совершенно чужд и не нужен! А существуют люди, которых любишь и с которыми хотел бы встретиться, — и не видишь их годами...

Первая встреча с этим человеком произошла у крупного ювелира, где я выбирал булавку для подарка, а «этот человек» (до сих пор не знаю, как его зовут) бессмысленно переминался с ноги на ногу у прилавка, тоскливо вздыхая и то распахивая, то запахивая роскошную шубу с бобровым воротником.

— Вам, собственно, что хотелось бы? — спрашивал терпеливый приказчик.

— Да вот этих купить... ну, каких-нибудь драгоценных камней.

— Каких именно?

— Эти беленькие — бриллианты?

— Да.

— Значит, бриллиантов. Потом еще голубых я взял бы... красных... А желтеньких нет?

— Есть. Топазы.

— Это дорогие?

— Нет, они дешевые.

— Тогда не стоит. Бриллианты — самые дорогие. Они как — поштучно?

— Нет, по весу.

— Вот вы мне полфунтика заверните.

— Видите ли, так, собственно, нельзя. Бриллианты продаются на караты...

— На что?

— На караты.

— Это скучно. Я этого не понимаю. Тогда лучше поштучно.

— Вам в изделии показать?

— А что шикарнее?

— Да в изделии можно носить, а так, отдельные камни — они у вас просто лежать будут.

— Тогда лучше изделие.

— Желаете, кольцо покажу?

— Хорошо... Оно дорогое?

— 12 тысяч.

— Это ничего себе, это хорошо. Вот это оно? А почему же на нем одни белые камни? Хотелось бы чего-нибудь и зелененького...

— Вот вам другое, с изумрудом.

— Оно симпатичное, только куда я его надену?
— Виноват, это не мужская вещь, а дамская. Если жене подарить...

Незнакомец хитро прищурил один глаз:

— Экой вы чудак! А если я не женат?

— Гм! — промывчал приказчик, усилием воли сгоняя с лица выражение отчаяния. — Вы, значит, хотели бы что-нибудь выбрать для себя лично?

— Ну да же! А вы что думали?

— Тогда возьмите кольцо.

— А оно сколько стоит?

— Смотря какое. Вот поглядите здесь: какое понравится.

— Вот это — почему? Голубенькое.

— Двести пятьдесят.

— Гадость. Мне тысяч на пятнадцать, на двадцать.

— Тогда бриллиантовые возьмите. Вот это — редкая вода: семь с половиной тысяч.

— А дороже нет?

— Нет. Да ведь вы можете три взять!

— И верно ведь. Заверните. Вы думаете, что они достаточно шикарны?

— О, помилуйте, мсье!

— Вы меня извините, но я в этом ничего не понимаю. Вот насчет бумаг я хорошо наместачился.

— Но ведь теперь, м-сье, биржа, кажется, не работает?

— Какая биржа? Я говорю о газетной бумаге, писчей, оберточной — все что угодно! Получите за кольца. Вы их пришлете ко мне с мальчишкой — не хочется таскаться с этой ерундой. Или лучше я их на пальцы надену. Экие здоровые каменищи. Не выпадут?

— О, помилуйте...

— А то выпадут — и пропало кольцо. Куда оно тогда? Наместо камня — дырка. Будто окно с выбитым стеклом. Прощайте.

* * *

В тот же день вечером я увидел его в мебельном магазине...

— Послушайте, — горячился он. — Поймите, если бы вы сказали мне: хочу иметь самую лучшую бумагу — я отве-

тил бы: вот эта лучшая. А вы мне не говорите прямо, что хорошо, что нет. Вы говорите, что эта гостиная розового дерева, а эта — Людовика, ну? Какая же лучшая?

— Какая вам понравится...

— А которая дороже?

— Розового дерева. Три тысячи двести.

— Ну вот эту и заверните. Затем — какие еще комнаты есть у вас?

— Кабинет, спальня, столовая, передняя...

— А еще!

— Будуары еще есть.

— Ну, это всего шесть, а у меня десять. Чем же их заставлять прикажете?

— А кто у вас еще будет помещаться в квартире?

— Я один!

— Гм!.. Можно тогда библиотеку.

— Семь! А еще?

— Можно тогда какую-нибудь комнату в русском стиле.

Потом, ну... сделайте второй кабинет. Один для работы, другой... так себе.

Оба глядели друг на друга бессмысленными от натуги глазами и мучительно думали.

— Это девять. А в десятую что я поставлю?

— А десятую... сдайте кому-нибудь. Ну, на что вам одному десять? Довольно и девяти. Сдадите — вам же веселее будет.

— Это идея. Мне бы хотелось, чтобы эта комната была стильная.

— В каком стиле, мсье?

— В хорошем. Ну, вы там сами подберите. Охо-хо... Теперь подсчитайте — сколько выйдет?

* * *

А на другой день я, к своему и его удивлению (он уже начал привыкать к моему лицу), встретил его на картинной выставке.

Он поместился сзади меня, поглядел из-за моего плеча на картину, перед которой я стоял, и спросил:

— Это хорошая?

- Картина? Ничего себе. Воздуху маловато.
- Ну! А я уже было хотел купить ее. Вижу, вы долго смотрите — значит, думаю, хорошая. Я уже три купил.
- Какие?
- Да вот те, около которых стоят. Я себе так и думаю: те картины, около которых стоят, значит, хорошие картины. Я принял серьезный деловой вид.
- А сколько людей должно стоять перед картиной, чтобы вы ее купили?
- Десять, — так же серьезно ответил он. — Не меньше. Три, пять, шесть — уже не то.
- А вы сообразительный человек.
- Да, я только ничего не понимаю во многом. А природный ум у меня есть. Вы знаете, как ловко я купил себе автомобиль? Я ведь в них ничего не понимаю... Ну вот, прихожу в автомобильный магазин, расхаживаю себе, гуляю. Вижу, какой-то господин выбрал для себя машину... осмотрел он ее, похвалил, сторговался, а когда уж платил деньги, я и говорю: «Уступите ее мне, пятьсот отступного». Удивился, но уступил. Хороший такой господин.
- У вас, очевидно, большие средства?
- Ах, и не говорите. Намучился я с ними... Вы уже уходите? Пойдем, я вас подвезу на своей машине... Прогуляться хотите? Ну, пойдем пешком...

* * *

Взяв меня под руку, он зашагал подле, заискивающе глядя мне в глаза и согнувшись в своей великолепной шубе...

— Я был раньше такой бедный, что ужас: служил конторщиком, получал 40 рублей в месяц, но скопил сто рублей. Пришел один товарищ, говорит: «Давай купим пятнадцать стоп бумаги, а через неделю продадим». — «Давай». Купили по десяти рублей — через неделю продали по четырнадцати. Подождал он. — «Давай, — говорит, — купим по пятнадцати, продадим по двадцати». Опять купили, опять продали. Понимаете? Делать ничего не надо, а только покупать, подождать, а потом продавать. Понял я, в чем штука, стал один работать. Даже дело проще пошло: приезжаю на бумаж-

ную фабрику: почему эта бумага? По восемнадцать! Делайте тысячу стоп. Вот задаток. Дашь задаток и ждешь. Через две недели — письмо: «эта бумага уже стоит по двадцать четыре. Предлагаем пять тысяч отступного». Беру отступное, заказываю новую. Понимаете, удобно? Ни брать бумаги не нужно, ни возить ее, ни продавать... Ты себе гуляешь, а она себе растет. Очень спокойное дело. Ну, а теперь я решил зажить по-человечески... Скажите, лошадь иметь — шикарно?

— Очень.

— Надо бы купить. Знаете что? Я в лошадях ничего не понимаю. Вы купите лошадь с этой самой... с повозкой! А потом продайте мне с надбавкой. Заработаете — и мне спокойнее.

— Нет, я этими делами не занимаюсь.

— Жалко. На кого это вы так посмотрели?

— Дама одна прошла. Красивая.

— Серьезно красивая?

— Да, очень. Эффектная.

— Слушайте, а что, если ее взять на содержание?

— Почему непременно ее?!

— Я в этом, видите ли, ничего не понимаю, а вы говорите — красивая. Возьму ее на содержание, а?

— Позвольте! А вдруг это порядочная женщина?

— Ну, извинюсь. Большая беда. Сколько ей предложить, как вы думаете?

— Ей-Богу, затрудняюсь.

— Предложу три тысячи в месяц, черт с ним...

Он догнал даму, пошел с ней рядом...

Заговорил... На лице ее последовательно выразилось: возмущение, удивление, смущение, недоверчивость, колебание и, наконец, радость, розовым светом залившая ее красивое лицо.

Покупатель бумаги нашел самое нужное в своей пустой жизни...

* * *

И подумал я:

«Теперь ты научишься и бриллианты покупать с толком, и обстановку выбирать в настоящем стиле, и лошадь

у тебя будет не одна, а двадцать одна, и картины появля-
тся такие, перед которыми будут останавливаться не десятки,
а сотни, и во всем поймешь ты смысл и толк... и когда пой-
мешь ты все это, как следует, — не будет у тебя ни картин,
ни бриллиантов, ибо есть справедливость на земле, ибо
сказано: из земли взят, в землю и вернешься.

Да будет впоследствии тебе твое сорокарублевое жало-
ванье пухом!»

КАЛИФОРНИЯ БЕЗ ЗОЛОТА

Когда первые золотоискатели наткнулись на Калифор-
нию, они буквально купались в золоте. Вторая волна золо-
тоискателей — более многочисленная — ходила уже только
по колена в золотых струях, третья могла еле омочить
пятки, а четвертая, пятая, шестая как нахлынула на сухой
облезший, когда-то столь густо позолоченный берег, так
ни с чем и отхлынула: редкому счастливцу после долгих
поисков попадался золотой слиток, довольно ясно видимый
под микроскопом.

Кто, какой пионер, какой первый золотоискатель от-
крыл Выборг — этот золотой прииск, где можно купить
любую вещь дешевле грибов, — неизвестно. Может быть,
оно раньше так и было — мне о том неизвестно. Но вслед
за первым золотоискателем из Петрограда хлынул целый
поток золотоискателей — вот теперь они и бродят по унылым
опустевшим магазинам Выборга с видом усталых рудокопов,
изрывших целые десятины, намывших целые горы земли
и извлекших из ее недр одну только пару подозрительного
вида чулок за десять марок.

* * *

Компания измученных петроградцев с остолбенелым ви-
дом останавливается перед витриной крохотной выборгской
лавчонки и испускает ряд отрывистых восклицаний:

— Ого! Ботинки.

— Да. И как дешево. 50 марок.

— А в Петрограде за такие слупили бы рублей 25.
— Сколько это марок вышло бы?
— 25 рублей? Пятьдесят четыре с половиной марки.
— Ну, вот видите! На целых четыре с половиной марки дешевле.

— Зайдем, купим.

— Да мне таких не нужно. Я таких не ношу.

— Ну, вот еще какие тонкости! Дешево, так и бери.

Вваливаются в магазинчик.

— Покажите нам вот эти ботинки... Что? Последняя пара? Ну вот, видишь: я тебе говорил — покупай скорей. Гм! Последняя пара: вот что значит дешевка. Ну-ка, примерь.

— Гм... Вззз... ой!

— Что? Тесноваты? Ну, ничего — разносят. Заверните ему. Плати. Пойдем.

— Да я, собственно, такой фасон не ношу.

— Но ведь дешевы!

— Дешево-то они дешевы. Жаль только, что тесноваты.

— А зато на четыре с половиной марки дешевле.

— Дешевле-то они дешевле.

— То-то и оно. Бери, пойдем. А это что — смотри-ка...
Магазин рамок. Для чего эти рамочки?

— Для чего-нибудь да нужны. Зря продавать не будут. И как дешево — голубенькая, а семь марок стоит. Зайдем, купим.

Входят всего четверо, но лавочка так мала, будто вошли сто.

— Слушайте: для чего эти рамочки, что вы продаете?

— Ля картина...

— Для картин, значит, — переводит один, очевидно тонкий знаток финского языка.

— А через границу провезти их можно?

— Та, мосна.

— Я знаю, что таможня, так я вот и спрашиваю...

— Ты его не понял, — торопливо поправляет переводчик. — Он говорит, что можно. Но, вероятно, спрятать нужно, да?

— Та, мосна.

— Спрятать. Мы их под костюм спрячем, в чемодан.

— Знаешь, я возьму пять штук.

- И я три. Почем они?
- По восьми марок.
- А в Петрограде я такие по два рубля видел.
- Да уж там сдерут. Там могут. Россия!
- А тебе для чего эти рамки?
- Да придумаю. Сейчас не нужны, после понадобятся.

Вставляю что-нибудь в них.

- Заплатили? Пойдем. Ну, что тебе еще нужно?
- Да так, собственно говоря, ничего...
- А ты вспомни!
- Ей-Богу, ничего.
- Чулки не нужны ли?
- Чулки? — мямлит вялый петроградец. — Собственно

говоря...

— Ну вот видишь! Вот тебе и чулочный магазин. Здравствуйте. Есть чулки?

— Нету. Се родано.

— Ну, что вы! Нам всего несколько пар. Поищите. Может, найдется.

— Тамская есть чулки.

— Дамские?.. Гм! А ну, покажите.

— Послушай... да зачем мне дамские.

— Вот чудак! Дешево ведь. Бери — теплее еще, чем носки. До самого колена. Бери ты три пары и я три пары.

— Сести пара нету. Сетыри пара есть сего.

— Нету шести пар? Ну, давайте четыре. А остальные две пары можно чем-нибудь другим добрать. Вот эту штуку дайте.

— Не, это не родается. На эта стука сляпа надевается. Для окна. На выставка.

— Действительно, слушай... Ну зачем тебе болван для шляпы. К чему он?

— А? Ну, нет, знаешь, не скажи. Это штука удобная. Придешь домой— куда положить шляпу? Ну, и наденешь ее на эту чертовину. А что у вас еще есть?

— Нисего нету. Се родано.

— Русские все, черт их дери. Пронюхали — и сразу все расхватили. А это что за кошка? Почем?

— Эта наса коска. Сивой.

— Живая? А чего ж она лежит, как искусственная. Только покупателей зря смущает...

— Пойдем, господа.

— Вот драма так драма... Приехали в Выборг, а купить нечего. А вот магазинчик какой-то, зайдем. Что здесь продается?

— Черт его... не разберешь. Витрина пустая. Войдем на всякий случай.

— Здравствуйте... Гм... Какие-то рабочие, а товару не видно. Что вы тут делаете, братцы? Это магазин?

— Та. Только сицас есцо магазана нету. Акроица тая неделя.

— На той неделе? А что будут продавать?

— Ветоцна магазин.

— Цветочный? Ну, ладно. Если еще приедем — зайдем, купим. Смотри, какими хорошими обоями оклеивают. Послушайте, почем обои?

— Ве марки кусок.

— Ну продайте нам вот эту пачку... Нельзя? Подумаешь, важность... Почему нельзя? А ножницы продаются? Нет? Жалко: очень хорошенькие ножницы...

* * *

Номер гостиницы завален коробками, свертками, пачками.

— Ты чего сопишь?

— Да вот хочу ботинки в рукав пиджака засунуть. Боюсь, вдруг в Белоострове таможенные дощупаются.

— Если новые — конфискуют. А ты поцарапай подошвы — будто ношенные. Ношенные везти по закону можно.

Счастливый обладатель ботинок вытаскивает перочинный ножик и приступает к работе. Зажимает между колен подметкой кверху ботинок и начинает царапать ножиком блестящий лак.

— Ну что?

— Черт их дери: все-таки видно, что не ношенные, а просто поцарапанные. Грязи на них нету.

— А ты плюнь.

Владелец ботинок послушно плюет на подметку.

— Да нет, я тебе не в том смысле. Ну, да уж раз плюнул, теперь разотри получше. Об пол повози.

— И черт их знает, почему у них такие полы чистые... Не мажется! Блестит себе и блестит.

— Ножом потыкай. Постой, дай я. Вот так — и так... Ой! видишь — дырка.

— Ну вот, обрадовался.

— Ничего. Зато уж видно, что не новый. Оборви еще ушко ему, черту. Тогда уж никто не придерется.

— Я лучше шнурок будто оборву. Все поспокойнее.

— Собственно, на кой черт ты их взял? Фасон не модный тесные, на боку дырка.

— Ты же сам говорил...

— Мало что я говорил... Вон ты мне абажур ламповый посоветовал взять — на нос я его себе надевать буду, что ли, ежели у меня электричество.

— Сколько ты за него заплатил?

— Пятнадцать рублей на наши деньги.

— Вот видишь, а в Петрограде за восемь целковых купишь — и возиться не надо, и прятать не надо.

— Гм... Действительно. Рамочки... тоже закупили! Обрадовались! Грубые, аляповатые.

— А ты еще в другом магазине докупил две штуки — к чему?

— Рамочки — что... Их, в крайнем случае, выбросить можно. А вот чулки дамские — это форменное идиотство. Ну как я их надевать буду?

— Обрежь верхушку — носки получатся.

— Носки... Их еще подрубить нужно. Да и носки сколько стоят? Два целковых? А я по четыре с полтиной за эту длиннейшую дрянь платил.

— Подари кому-нибудь.

— А ты найди мне такую женскую ногу. Сюда три поместятся. Постой... Это еще что такое?

— Пресс-папье, из березовой коры.

— Боже, какая дрянь. Неужели это мы купили?

— Мы. А в этом пакете что?

— Тоже рамочки. А это подставка для фруктовых ваз, банка гуммиарабика, лапландский ножик, сигары...

— Мы ведь не курим...

— Что значит — не курим. Мы ничего и не режем, а лапландский ножик купили. Мы и не бабы, а шелковое трико коротенькое купили. Дураки мы, вот кто мы.

— А это что?

— Этого уж я и сам не знаю. К чему оно? Металлический ящик, ручка, какие-то колесики, задвижечка... Покупаешь, а даже не спросишь — что оно такое.

— Зато дешево. Тридцать две марки..

— Дешево?.. А я тебе вот что скажу: эти сорочки здесь стоят пять рублей, а в Петрограде — четыре, салфетки здесь десять рублей, в Петрограде — семь, а галстуки... Галстуки вообще ничего не стоят! Повеситься можно на таком галстуке.

— Поехали, действительно! Обрадовались, накинулись.

— А тут еще с таможенной может быть...

— Молчи, пока я тебя лапландским ножиком не полоснул!! Тяжелое настроение.

* * *

Поездки в Выборг напоминают мне историю с Марьиной слободой в городе К.

Была такая Марьиная слобода, которая вдруг прославилась тем, что живут там самые трезвые мещане и самые красивые, добродетельные девушки и жены.

И когда пошла эта слава, то стала ездить туда публика — любоваться на трезвых мещан и добродетельных красавиц... И чем дальше — тем больше ездило народу, потому что слава росла, ширилась, разливалась.

А когда мне совсем прожужжали уши о знаменитой слободе и я поехал туда, я увидел ряд грязных покосившихся домов, сломанные заборы, под каждым из которых лежало по пьяному мещанину, а из домов неслись крики, хохот гостей, взвизгивание женщин и звуки скрипки и разбитого пианино: это добродетельные девушки и жены укрепляли славу своей удивительной слободы.

Ибо сказано — о Выборге ли, о Марьиной слободе ли: чересчур большой успех портит.

НАЧАЛО КОНЦА...

Вполне уместным началом может послужить сообщение германского официального агентства, недавно опубликованное: «император Вильгельм, прибыв в северный городок Эльбинг, неожиданно вошел в трамвайный вагон и совершил вместе со своей свитой поездку к ближней верфи. Как кайзер, так и все лица его свиты заплатили за проезд полагающиеся 10 пфеннигов».

Вот какое сообщение появилось в газетах.

А дальше мы уже справимся сами безо всяких газет и сообщений... Мы знаем, что было дальше.

* * *

Снисходительно улыбаясь, Вильгельм вошел в подъезд маленькой второстепенной гостиницы и спросил:

— А что, голубчик, не найдется ли у вас номерок... так марки на три, на четыре?..

— О, ваше величество! — воскликнул остолбеневший портье. Для вас у нас найдется номер в две комнаты, с ванной за двадцать марок...

— О, нет-нет, что вы. Мне именно хочется испытать что-нибудь попроще. Именно так, марки на три...

— Весь в распоряжении вашего величества, — изогнулся портье. — Попрошу сюда, налево. Номерок, правда, маловат и темноват...

— Это ничего... Цена?

— Три марки, ваше величество.

— За мной.

* * *

Кайзер шагал пешком по улице, а за ним шла восторженная толпа. Тихо шептались:

— Обратите внимание, как он просто держится... Проехался в трамвае за десять пфеннигов, а теперь нанял номер в три марки. Что за милое чудачество богатого венценосца! Интересно, куда он направляется сейчас?..

— А вот смотрите... Ну, конечно! Вошел в дешевую общественную столовую.

— Господи! Зачем это ему?

— Наверное, попробовать пищу. Хорошо ли, дескать, нас кормят?..

— Это вы называете — попробовать? Да ведь он уплетает за обе щеки. Слышите, какой треск?

— Действительно, слышу. Что это трещит?

— У него. За ушами.

— Ну, ей-Богу же, это мило! Зашел, как простой человек, в столовую и ест то же, что мы едим.

— Как не любить такого короля!

— Правда — чудачество. Но какое милое, трогательное чудачество.

— Вот он... выходит. Сейчас, наверное, подадут ему карету. Любопытно, в каких это он каретах, вообще, ездит?

— Удивительно! Пешком идет... Заходит в табачную лавочку... Что это он? Покупает сигару! Да разве найдется у лавочника сигара такой цены, за которую он курит...

Что? За пять пфеннигов?! Нет, вы посмотрите, вы посмотрите на этого удивительного короля!

— Очевидно, решил за сегодняшний день испытать все.

— Тем приятнее завтра будет вернуться ему к императорской изысканности и роскоши.

* * *

Через три дня:

— Кто это проехал там в трамвае? Странно, на площадке народу битком набито, а он едет внутри совершенно один.

— А, это наш кайзер. Разве вы не узнали?

— Но ведь он уже раз проехался в трамвае. Зачем же ему еще?

— Я тоже немножко не понимаю. Третий день ездит. Заплатит кондуктору десять пфеннигов и едет.

— Странно. А публика не входит внутрь вагона, почему?

— Ну, все-таки кайзер, знаете. Неудобно стеснять.

— А куда это он едет?
— Вот уже выходит. Сейчас увидим. Гм! Опять заходит в общую столовую.

— Пищу пробует?

— Какое! Ест во все лопатки. Вчера чай пил тут тоже — так два кусочка сахара осталось. В карман спрятал.

— Что вы говорите! Зачем?

— Один придворный тоже его спросил. А он отвечает: «Пригодится, — говорит. — Один кусочек подарю Виктории-Августе, другой кронпринцу, если ему Верденская операция удастся».

— Прямо удивительный чудачина! Я думаю, пообедав, швырнет сотенный билет и сдачу оставит девушке?

— Нет, вы этого не скажите. Вчера наел он на четыре марки и десять пфеннигов. Дал девушке пять марок и говорит: оставьте себе двадцать пфеннигов, а семьдесят гоните сюда.

— Так и сказал: гоните сюда?

— Ну, может быть, выразился изысканнее, но семьдесят пфеннигов все-таки сунул в жилетный карман. Потом на них (я сам видел) купил 3 воротничка.

— Хватили, батенька! Что это за воротнички за семьдесят пфеннигов?!

— Даже за шестьдесят. Бумажные. А на оставшиеся десять пфеннигов купил сигару. Докурил до половины и спрятал.

— Какое милое чудачество!

— Ну, как вам сказать...

* * *

Через неделю.

— Виноват, позвольте мне пройти внутрь трамвая...

— Куда вы прете! Неудобно.

— Это почему же-с?

— Там кайзер сидит.

— Опять?!

— Да-с, опять.

— Господи, что это он каждый день разъездился. Торчи тут вечно на площадке!..

— Ничего не поделаешь. Все одинаково страдаем. Раньше хоть свита его ездила, а теперь и те перестали.

— Собственно, почему?

— Собственно, из-за сигары. Такие он сигары стал курить, что даже Гельфериха, друга его, извините, стошнило. С тех пор стараются с ним в закрытые помещения не попадать.

— Гм! Большое это для нас неудобство.

— И не говорите! Занимаю я номер в гостинице «Розовый медведь», как раз рядом с ним... И что же!

— Разве он до сих пор в этом «Медведе» живет?!

— Представьте! Отвратительнейший номеришко в три марки, и так он туда, представьте, вгвоздился, что штопором его не вытянешь. Ну, вот. Так придешь домой — портъе жить не дает: сапогами не стучи, умываться или что другое делать (перегородка-то в палец) не смей — чистое наказание! Будто не может человек себе дворца выстроить.

— Да-с. Оно и с обедами не совсем удобно. Приходит — все должны вставать и стоять, пока он не съест обеда. А ест он долго. Да еще кусок останется, так он норовит его в карман сунуть или в другое какое место. Верите, вчера полтарелки макарон за голенищем унес.

— Что за милое чудачество!

— Чудачество? Вот что, мой дорогой: если вы тихий идиот, то и должны жить в убежище для идиотов, а не толпиться зря на трамвайной площадке!..

* * *

Через месяц.

— Ездит?

— Ездит. Раза четыре в день: и все норовит до конца доехать за свои десять пфеннигов. Опять же вагон так прокурил своими сигарами, что войти нельзя. По полтора пфеннига за штуку сигары курит — поверите ли?!

— Как не стыдно, право. Ведь мы к нему в его дворцы не лезем, так почему же он к нам лезет. Кайзер ты — так и поступай по-кайзерячьи, а не веди себя, как мелкий комми из базарной гостиницы.

— Вот вы говорите — дворцы... Какие там дворцы, когда говорят, все заложено и перезаложено. Верите ли, исподнее

солдатское под видом шутки якобы под штаны надел, да так и ходит. Стыдобушка!

— Слушайте... А нельзя его не пускать в трамвай?

— Попробуй не пусти. Я, говорит, такой же пассажир, как другие! В столовой тоже: я, говорит, такой же обедающий, как другие... А какое там — такой! Все-таки кайзер — жалко — ну, лишний кусок и ввернут или полтарелочки супу подбросят.

— А в «Розовом медведе» все еще живет?

— Живет. За последние полмесяца не заплатил. Портъе жаловался мне. Напомнить, говорит, неудобно, а хозяин ругается.

— Положеньице! А кайзер так и молчит?

— Не молчит, положим, да что толку... Вот, говорит, выпущу военный заем — тогда и отдам. Что ж военный заем, военный заем. Военный заем еще продать нужно.

— Некрасиво, некрасиво. Лучше бы, чем сигары раскуривать, за номер заплатил.

— А вы думаете, он свои курит? У него теперь такая манера завелась: высмотрит кого поприличнее и сейчас с разговорчиком: «Далеко изволите ехать?» — «До Пупхенштрассе, ваше величество». — «А, это хорошо. Кстати: нет ли у вас сигарки. Представьте, свои дома забыл». Жалко, конечно, — дают. Но, однако, — сегодня забыл, завтра забыл, но нельзя же каждый день! Мы тоже не миллионеры.

— И не говорите!.. С займом тоже: подписался только он сам на полмиллиарда да дети по сту тысяч. Больше никто. Однако подписаться подписались, а взноса ни одного еще не сделали. Сухие орехи. Даже задатку не дали.

* * *

Через два месяца в общественной столовой:

— Послушайте, вы там! Бросьте есть свою гороховую сосиску. Кайзер пришел. Спрячьте ее.

— А что, разве неудобно при нем есть?

— Не то. А увидит еще да попросит кусочек, вам же хуже будет.

И Боже ж ты мой! Кайзер, кажется, как кайзер, а совсем не по-кайзеринному поступает.

— Довоевались.

НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ

Это был обыкновенный замухрышка — начальник станции. Ничего в нем не было замечательного: ни звезда во лбу не горела, ни генеральским чином не был он отличен, ни талантами, ни умом не блистал.

И однако же, когда я пришел к нему и сказал: «Прошу пропустить мои вагоны через вашу станцию» — он ответил:

— Не пропущу.

— То есть почему это не пропустите?

— Не пропущу.

— Однако по закону вы должны пропустить!

— Не пропущу.

— А что нужно сделать, чтобы вагон был пропущен?

— Смазать.

— Вас или вагон?

— Меня.

«Эх, смазал бы я тебя, — сладострастно подумал я. — Так бы я тебя смазал, что уж никогда больше не скрипел бы ты у меня над ухом».

Вслух я удивился:

— Как же это вас можно смазать? Чем? Не понимаю.

— Золя читали?

— Даже в подлиннике.

— А я в переводе. Роман у него есть один — «Деньги».

— Знаю. Так то ж роман.

— Хорошо... Пусть то будет роман, а то, что ваш вагон будет стоять здесь до второго пришествия, — это печальная действительность.

— Значит, вы хотите получить с меня взятку?

— Нет, я хочу получить от вас благодарность.

— Ну, хотите я вас поцелую, если пропустите вагон.

— Мне с вашего поцелуя не шубу шить...

— А вы хотите, значит, получить такое, с чего шубу можно сшить?

— И шапку.

— Не дам.

— Не надо. Я сейчас прикажу отцепить вагоны.

— А я донесу на вас.

— Доносите.

— Вас арестуют.

— Может быть.

— Посадят в тюрьму, будут судить.

— Чепуха! Ничего подобного.

— Ах, так? Хорошо же.

Я пошел и донес, кому следует, что начальник станции Подлюкин вымогает от меня взятку.

* * *

— Вы жалуетесь на Подлюкина?

— Да. Знаете, он хотел получить с меня «благодарность» за пропуск вагона.

— А вы что же?

— Я ему говорю: «Вы, значит, хотите получить взятку?»

— Так и спросили. А вы знаете, что это оскорбление должностного лица при исполнении служебных обязанностей?

— Да какое же это исполнение обязанностей, если он хотел содрать с меня взятку?!

— Это и есть исполнение его обя... Гм!.. Впрочем, что я говорю... Знаете что? Плюньте на это дело.

— Не хочу! Под суд Подлюкина!

— Трудновато. Вы знаете, что он в хороших отношениях с Мартыном Потапычем?..

— Хоть с Черт Иванычем!

— Гм!.. Экое каверзное дело... Тогда вот что: мы его арестуем, но только, ради Бога, не подпускайте его после ареста к телеграфу.

— Почему?!!

— Телеграмму даст.

— Кому?

- Мартыну Потапычу.
- А тот что же?
- Освободит.
- В таком случае я сам буду присутствовать при аресте...

* * *

Так оно и было:

- Вы начальник станции Подлюкин?
 - Я Подлюкин.
 - Мы вас должны арестовать по обвинению в вымогательстве.
 - Хоть в убийстве. Толко дайте мне возможность к телеграфному окошечку подойти.
 - Нельзя!
 - Первый раз в жизни побледнел Подлюкин.
 - Как нельзя? Я же не убегу! Только напишу телеграмму и при вас же подам...
 - Нельзя.
 - Ну, я напишу, а вы сами подайте.
 - Не можем.
 - В таком случае... вон там стоит какой-то человек.
- Позвольте мне ему сказать два слова.
- Это можно.
- Подлюкин приободрился.
- Послушайте, господин... Вы чем занимаетесь?
 - Я проводник в спальном вагоне.
 - Хотите быть начальником движения?
 - Хочу.
 - Так вот что: вы знаете Мартын Потапыча?
 - Господи... Помилуйте...
 - Прекрасно. Так пойдите и сейчас же дайте ему телегра...
- Мы заткнули ему рот носовым платком и повели к выходу.

* * *

- Я есть хочу, — заявил Подлюкин.
- Пожалуйста. Эй, буфетчик! Дайте этому господину покушать...

— Что прикажете?

Подлюкин бросил на нас косой взгляд и сказал:

— Так на словах трудно выбрать кушанье... Дайте я на бумажке запишу.

— Сделайте одолжение.

Я поглядел через плечо Подлюкина и заметил, что меню было странное: на первое — «Мартыну Потапычу», на второе — «Выручайте, несправедливо арестован, освобод...»

— Э, — сказал я, вырывая бумажку. — Этого в буфете нет. Выберите что-нибудь другое...

Он заскрежетал зубами и сказал:

— Вам же потом хуже будет.

Его повели.

Какой-то весовщик пробежал мимо и, увидев нашу процессию, с любопытством приостановился.

Подлюкин подмигнул ему и крикнул скороговоркой:

— Я арестован! Тысячу рублей, если сообщите об этом Мар..рр...

Мы заткнули ему рот.

— Кому, он говорит, сообщить? — с истерическим любопытством впился в нас весовщик. — Какой это Мар...?

— Не какой, а какая, — твердо сказал я. — Мар — это Маргарита, шведка тут одна, с которой он путался.

До арестантского вагона вели его с закрытым ртом. Он красноречиво мигал глазами встречавшейся публике, дергал ногой, но все это было не особенно вразумительно.

Посадили.

— Ф-фу! Наконец-то можно отдохнуть.

— Черт знает, какой тряпкой вы мне затыкали рот. Наверное, рот полон грязи, — проворчал Подлюкин. — Пойду в уборную, выполоскаю рот.

— Только имейте в виду, что мы будем сторожить у дверей.

— Сколько угодно!

Он криво усмехнулся и побрел в уборную.

Мы стали на страже у дверей.

Сначала был слышен только обычный грохот колес — потом резкий звон разбитого стекла.

— Выскочил! — кричал один.

— Ничего подобного! Он просто выбросил из разбитого окна какую-то бумажку, а пастух, сидевший на насыпи, схватил ее и убежал.

— Сорвалось!

— Я говорил, что глаз нельзя было спускать...

— Может, бумажка не дойдет.

— Как же, надейтесь. Нет, теперь уж не стоит и сторожить... Эй, господин Подлюкин... На ближайшей станции можете выходить. Ваша взяла.

— Ага... То-то и оно.

И в порыве великодушия добавил сияющий Подлюкин:

— Я вас прощаю.

P.S. Я нахожу этот фельетон совершенно цензурным. Если цензура его пропустит, то, я надеюсь, Мартын Потапыч не поднимет крика по этому поводу...

Если же цензура не пропустит фельетона, найдя в нем разглашение не подлежащих оглашению тайн, я промолчу. Во всяком случае, жаловаться к Мартын Потапычу не побегу...

МЫШЕЛОВКИ *(О русских курортах и тому подобной гадости)*

Поезд подходит к курортной станции...

Несколько ленивых туземцев, снабженных грязными щупальцами для переноски тяжестей и называемых поэтому носильщиками, врываются с алчным видом в вагоны и приступают к раскопкам с целью извлечения из-под чемоданов и узлов драгоценного человеческого материала.

Извлеченное из-под обломков и вытащенное на перрон человеческое тело сразу становится «курортным больным».

Существо это — жалкое, забитое, всеми униженное и оплеванное.

* * *

— Вам что — номер?

— Да, мне бы номерок... недорогой.

— На бильярде у нас одно место еще есть. В ванной можно устроить.

— Ну, нет... Спасибо. Извозчик, поезжай в другую гостиницу!

— Н-но, ты, каракатица! Ползи, что ли.

Ползут...

— Мне бы номерок. Недорогой.

— Пожалуйста: на бильярде есть, потом, ежели ванную уважаете или на галерейке тоже можем.

— Извозчик, вези дальше! Что ж ты, братец, уверял меня, что тут есть номера... Врать ты, я вижу, мастер.

— Никак нет, не вру я. Номера тут есть.

— Так вот они же говорят, что нет.

— Не знаю, а только номера есть.

— Послушайте, вот извозчик говорит, что номера у вас есть.

— Номера? Номера у нас есть.

— Как же вы говорите, что нет?

— Мы не говорим, что нет. А только, может быть, вы на бильярде предпочитаете или в ванной.

— За сумасшедшего вы меня считаете, что ли?

— Не знаю, а только больной так уже привык к безнумеровью, что прямо, как приедет — сейчас же на бильярд лезет. Даже и в газетах пишут: курорт переполнен, больные спят на бильярдах и в ваннах...

— Значит, номера есть?

— Пожалуйста, вот номерок в четырнадцать рубликов.

— Да мне помесечно не надо.

— Это, виноват, поденно. Помесечно триста.

— Крест-то на вас есть?

— На нас-то? Давно поставили. Мы — курорт, с нас что взять? Так как же номерок, желаете?

— Давай, чтоб он провалился, ваш курорт!

— Никак нет, грунт у нас крепкий. Васька, тащи чемоданы!

* * *

— Хозяин, тут у вас из окна дует.

— А чего ж вам! Свежий воздух идет, чего лучше!

- И замок в дверях не запирается.
- Испорчен, потому и не запирается. Будь бы не испорчен, так запирался бы.
- Однако не могу же я жить в незапертой комнате.
- А вы столик к двери приставьте, да и все. Чемодан можно сверху положить для тяжести.
- Однако когда я выхожу из дому...
- А зачем выходить? Сидите дома, слава Богу, никто не гонит. Хучь целый день сидите, мы слова не скажем.
- А мне лечебные ванны принимать нужно. Доктор прописал.
- А вы в прошлом году записывались?
- На что?
- На очередь. Ежели не записывались, до сентября не получите.
- Не записывался.
- Эх, вы... Ну, да все равно. В этом сезоне так поживете, отдохнете, а на будущий запишетесь. Это уж верное дело будет.

* * *

- Послушайте, что это за гадость перед самым окном валяется?
- Где-с? Это? Вы не извольте беспокоиться, она не укусит. Она смирная.
- Черт с ней, что она смирная! Но она ведь дохлая.
- Собачка-то? Так точно, померли. Хороший песик были.
- Но ведь она же смердит.
- Смердеть она смердит, это правда. Да оно, правду сказать, и в живой собаке толку мало.
- Однако нельзя же, чтобы во дворе дохлая собака валялась.
- Как прикажете, можно ее и на улицу выбросить. Как стемнеет, так мы ее за ворота и тово...

* * *

- Чего это там больной раскричался?
- Кушанье ему, вишь, не нравится. На свечном, говорит, сале жарите.

— А ты бы ему сказал, что свечи ныне тоже по три рубля двадцать копеек фунт.

— Потом говорит, что у вас не баранина, а какая-то кошатина.

— Понимает он много!.. И как это человек кошку от лошади отличить не может?.. Даже удивительно.

— А на рыбе, говорит, червячки были.

— А вилка ему на что дадена? Отгреби, да и ешь во славу Господню. И как это они, ей-Богу, ко всякой дряни готовы привязаться! Приехал на курорт, так терпи. Как говорит-ся у нас: терпи больной, мертвецом будешь.

* * *

— Человек! Коридорный! Худо мне что-то... Доктора бы позвать.

— Какого прикажете?

— По внутренним.

— По внутренним нет.

— Ну, по каким-нибудь, все равно.

— По каким-нибудь тоже нет. Акушерка есть — не желаете ли?

— С ума ты сошел, — для чего она мне?

— Да она женщина пожилая — что ж там стесняться. Пусть посмотрит. Прикажете?

— Неужели ни одного доктора нет?

— Курорт, сами знаете. Где их достать? Один-то, правда, есть, а только он на дом не ходит. К нему надо. В очередь записаться.

— Я с постели встать не могу, пойми ты это.

— А вы нашего комиссионера из гостиницы пошлите. Расскажите ему про вашу про болезнь, а тот ему уже и скажет, как и что...

— Разбойники вы все — вот что!

— Обижать изволите. А только вы сами ведь знали, куда ехали.

— Ох, коридорнушка, плохо мне!

— Чичас комиссионера нашего позову. Вы ему об своей болезни все и обскажете.

* * *

— Больной-то наш и не дышит.

— Что ж он, чудак? Такой у нас воздух хороший, а он не дышит.

— Помер он, дурья голова. Какой тебе воздух!

— Так-с, вылечился. Хи-хи! И черт их, анафемов, носит, таких кволых. Болен, так и сиди дома!

— Да он-то не так уж, чтобы и болен был. А рыбки мы ему, действительно, вчера, подсудобили. Как говорится: рыбка на червя идет, а червь на рыбку.

* * *

— Николай! В каком номере у нас покойник лежит?

— В сорок первом.

— Стащи его пока в ванную — сейчас с поезда новых привезут.

Несмотря на то что внутри мышеловки болтается уже разложившийся, полусгнивший кусок сала, мышеловка работает превосходно.



ИЗ СБОРНИКА
“ОККУЛЬТНЫЕ НАУКИ”
(1917)

ПОЗОЛОЧЕННЫЕ ПИЛЮЛИ



ОККУЛЬТНЫЕ НАУКИ

Предисловие

Большинство несведущих людей под словом оккультизм подразумевают столоверчение. Это не так.

Оккультизм — очень сложная и хлопотливая вещь; это громадная область — от вызывания духов до получения с помощью гипнотического внушения наследства от совершенно постороннего человека.

Мы не хотим хвастаться своей ученостью, но должны для полноты указать на такую область оккультизма, как учение йогов.

Ошеломлять так ошеломлять.

Учение йогов разделяется на хатха-йога, бхакти-йога, раджа-йога и жнани-йога.

Все это изложено в книгах индусского мудреца, носящего немного сложную, но звучную фамилию:

Рамачарака.

Наш товарищ по перу, Рамачарака, очень аккуратно и внимательно изложил принципы учения йогов, и если эти принципы сложны и запутанны, то не наш товарищ Рамачарака тому виной.

Наша задача скромнее задач Рамачараки — мы дадим только общую схему оккультных наук в сжатой форме. И если кто-нибудь, прочтя наш труд, сумеет вызвать духа — пусть он и разделяется с ним, как знает.

Глава I

Из чего состоит человек

Средний читатель уверен, что все окружающие его состоят из мяса, костей, крови и мозга.

О, как он глубоко заблуждается!

Некоторые смотрят на человека еще примитивнее:

— Боже, как вы похудели: кожа да кости!

Или:

— Как он растолстел: *одно сало*.

О, какой дикариный взгляд на сущность человека!

Вот из чего состоит человек: 1) Тело как таковое. 2) Эфирное тело. 3) Астральное тело и 4) Мысленное тело.

I. **Тело как таковое.** — Для ознакомления с этим предметом лучше всего ощупать самого себя.

II. **Двойник, или эфирное тело.** — Это тело, после физического, — самое видное. Ледбитер говорит (вы, конечно, не знаете, кто такой Ледбитер, а мы знаем...), что «эфирный двойник» ясно виден ясновидящему — в виде светловатой массы пара, серо-красной, выходящей за пределы физического тела. Эта светловатая масса называется аурой. Имеется она даже у подрядчиков строительных работ, скаковых жокеев и клубных шулеров.

Когда человек здоров — аура его с легким голубоватым оттенком, в виде множества лучей, ровнорасходящихся во все стороны. Но стоит человеку заболеть — лучи на заболевшей части тела становятся неправильными, пересекаются в беспорядке, поникают и перепутываются. В этом случае расчесывание перепутанной ауры гребенкой не рекомендуется.

III. Ланселен (его-то уже читатель знает) утверждает, что, когда эфирное тело (двойник) отделяется от физического тела, оно всегда выходит с левой стороны, в уровень селезенки, под видом излучений. Каждый это может легко проверить на самом себе.

III. **Астральное тело.** — Оно тоньше и нежнее, чем эфирное. Чем человек умнее, интеллигентнее, тем его астральное тело нежнее.

Например, пишушему эти строки однажды пришлось увидеть свое астральное тело. И что же — он чуть не ослеп

от блеска. Нежности оно было такой, что мясо цыпленка по сравнению с ним казалось куском чугуна.

Астральное тело, отделяясь от физического, по утверждению оккультистов, может появляться в других местах. Так, например, если ваше физическое тело занято на свидании с любимой женщиной, вы можете послать свое астральное тело в банкирскую контору для учета векселя или получения денег по чеку. Если же, возвратясь, астральное тело эти деньги зажилит, то, значит, оно где-нибудь материализовалось и пропило всю сумму в кабинете ресторана. При отделении астрального тела от физического физическое тело должно спать. Если же в ту комнату, где спит такое опустошенное тело, зайдет посторонний и начнет радостными криками будить спящего, астральное тело обязано сломя голову мчаться назад и, прибежав, моментально впрыгнуть в человека. Только тогда человек делается полным человеком и имеет право проснуться.

Оккультисты утверждают, что если астральное тело почему-нибудь к моменту пробуждения не вернется, то спящий умирает. Вообразите же себе изумление и досаду астрального тела, когда оно, разогнавшись, прибежит домой и вместо теплого футляра наткнется на холодный труп. Разочарованное, оно пойдет бродить около других людей, ехидно поджидая случая, когда кто-нибудь отпустит свое астральное тело погулять по местам не столь отдаленным... Тогда осиротевшее астральное тело влезает в живого спящего и, свернувшись там клубочком, станет поджидать своего коллегу.

И когда тот прибежит, запыхавшись, и полезет в спящее тело, оттуда выглянет наш первый астрал и, пряча смущенное лицо, проворчит:

— Ну, куда лезешь? Не видишь — место занято.

Иногда доходит до тяжелой сцены, кончающейся дракой.

IV. Мысленное тело. — Определение его оккультистами не совсем вразумительно («Это — орудие души на плане мысли, когда она покинула астральное тело»).

Мысленное тело (говорит Анни Безант) образуется под влиянием мысли, в особенности если последняя благообразна и возвышенна. Мысленное тело — яйцообразное.

У дураков это тело такое маленькое, что его почти не видно. Да и немудрено.

Глава II Проявление призрака

Призрак живых в древние времена назывался двутелесностью.

В своей книге «Cite de Dieu» святой Августин рассказывает, что «его отец, поевши у себя дома отравленного (?!) сыра, лежал на постели в глубоком сне, и его не могли разбудить никаким способом... Спустя несколько дней он проснулся и рассказал о том, что испытывал во сне: он был лошадью и вместе с другими лошадьми возил солдатам припасы, которые называются рецийскими, потому что доставляют их из Реции».

К сожалению, вопрос об этих метаморфозах не разработан. Человек, скажем, поел отравленного сыра и превратился в лошадь, возящую рецийские припасы... Спрашивается: в какое животное превратился бы он и что возил бы он, поев отравленного мяса, или разложившихся фруктов, или сгнившей рыбы? Может быть, рыба сделала бы его ослом, возящим донецкий антрацит, а мясо — слонем, несущим на лобастой голове канака с молоточком...

Много необъяснимого и загадочного на свете.

Тот же доктор Ш. Ланселен утверждает, что призраки живых существуют и отделить от тела спящего его эфирный двойник не так уж трудно. Он говорит, что сам проделывал это сотни раз. Его рассказ об этом дышит искренним простодушием и несокрушимой деловитостью.

«У меня. — говорит он, — есть несколько специальных субъектов, годных для раздвоения, и я произвожу с ними такие опыты: усаживаю субъекта в кресло, сбоку которого стоит другое кресло — для призрака. После нескольких гипнотических пассов субъект быстро засыпает и затем начинает излучать бледный свет, который быстро материализуется, сгущается, становясь призраком. Призрак помещается по левую сторону от субъекта на расстоянии 40–50 сантиметров. Субъект соединяется со своим призраком особым шнуром, толщиной в палец; шнур выходит из тела на уровне селезенки и служит для передачи от призрака субъекту и обратно чувствований и ощущений. Если быстро перерезать этот шнур — субъект может умереть».

Доктор Ш. Ланселен в своих опытах с выделением призраков дошел до такой развязности, что стал делать опыты над осязанием призраков, обонянием, вкусом, слухом и зрением... Одного призрака он даже взвесил. Призрак весил немного: что-то около полуфунта.

В некоторых опытах Ланселена много настоящего юмора. Например, он рассказывает, что однажды, усыпив со своим товарищем двух субъектов и выделив их призраки, он послал обоих призраков в другую комнату. Но, проходя в двери, призраки перепутались шнурами, соединяющими их с субъектами, и так как оба экспериментатора не видели в темноте этих шнуров, то после попытки распутать сцепившихся призраков запутали их еще больше. Призраки стали нервничать, дергаться в разные стороны, а спящие субъекты принялись издавать стоны и жаловаться на сильную боль... «Насилу, — говорит деловитый Ш. Ланселен, — мы распутали их, обводя одного вокруг другого».

Все это, конечно, кажется чем-то диким, сверхъестественным, но если бы читатель дал себе труд проштудировать всю эту интересную книгу («Призрак живых» Дюрвиля — Опыты Ш. Ланселена, книгоиздательство «Новый человек»), он вместе с нами был бы загипнотизирован серьезным спокойным тоном ученого, который безо всякой примеси шарлатанства рассказывает о вещах, от которых шевелятся волосы на голове.

Когда мы читаем беллетристические измышления о появлении призраков, вещающих загробным голосом какие-то странные слова, мы привыкли к тому, что всякий, кто присутствует при этом, или умирает от разрыва сердца, или остается на всю жизнь седовласым стариком.

Не таков человек доктор Ланселен.

«В субботу (рассказывает он) 13 июня 1908 г. г-жа Ламбер (одна из пациенток доктора Ланселена) была у А. Около 8 часов вечера, проходя по темной гостиной, она увидела у камина немного блестящую туманную колонну, вышиною с человека среднего роста, с неясно обрисованными контурами. Испуганная (еще бы!), она быстро прошла в столовую и объявила, что видела призрак. Г-жа А. подошла к дверям гостиной и увидела ту же светящуюся колонну».

Кажется, после всего этого единственный нормальный выход — бросить квартиру на произвол судьбы и бежать

куда глаза глядят... Так бы оно, вероятно, и было. Но тут вмешался доктор Ланселен, автор книги «Призрак живых».

Приступает он к исследованию просто и деловито: в том месте, где появился призрак, он вешает несколько термометров и выясняет, что температура этого места *выше на два градуса*, чем температура в 2-х шагах. Усыпленная им ясновидящая г-жа Ламбер объясняет, что призрак этот — умерший отец г-жи А. и что он все время напрягает свои слабые силенки, чтобы материализоваться и сообщить г-же А. что-то очень, по его мнению, важное. Повышение температуры и есть следствие его немощных усилий принять видимую внешность.

А г-жа А. в свою очередь рассказывает:

«Вот уже два дня как мы видим призрак покойного, который следует за нами или предшествует нам, куда бы мы ни шли — особенно в квартиру; тут, если мы менее заняты, он возвращается к своей стоянке у камина и виден все время в форме блестящей колонны. Протягивая руку в эту колонну, мы всегда ощущаем сильную теплоту».

Появление этого призрака кончилось ничем — старичок так и не излил дочери своей наболевшей души. Теплоту израсходовал совершенно зря и, побродив еще немного за дочерью, мирно вернулся к своим астральным занятиям — бедный, бесхитростный, беспомощный старик.

А деловитый Ланселен снял развешанные термометры, составил протокол и снова вернулся к своим «призракам живых», измеряя их, взвешивая, пробуя на вкус.

Деловитость его доходит в некоторых вещах до того, что, например, глава III (стр. 121) носит название «Действие призрака на сернистый кальций».

Даже об этом подумал ничего не упускающий доктор Ш. Ланселен!

Глава III Как приобрести личный магнетизм

Искусство дышать. Общее мнение таково, что дышать может всякий дурак. «И рыба дышит», — сказал Сенека. Однако дышать не так легко, как думают.

«Оккультные книги указывают на следующий способ дыхания: сперва выпустите воздух из легких, пока они не станут совершенно пустыми; затем встаньте прямо, вдохните через нос и наполните сначала нижнюю часть легких; затем наполняйте среднюю часть легких, выгибая вперед нижние ребра, грудную кость и грудь. Тогда уже наполняйте верхушку легких, выдвигая верхнюю часть грудной клетки и поднимая грудь вместе с верхними шестью и семью парами ребер». (См. Хатха-йога. Рамачарака, стр. 93.)

Рамачарака уверяет, что это наиболее простое и приближающееся к природе дыхание.

Однажды пишущий эти строки попробовал, сидя в театре, подышать минут пять по-настоящему, по-йоговски.

Когда капельдинер выводил пишущего эти строки, слегка подталкивая в спину, он все время шептал со вздохами (вздохи были не йоговские): «И где это вы так успели набраться, господин?» Впрочем, в вопросе этом было больше истерического любопытства, чем укоризны...

Правду сказать, йогам дышать легко: забрался себе в джунгли, лег под бамбуком и дыши как угодно: поднимай грудь вместе с шестью ребрами или выгибай нижние ребра — ни одна собака, кроме близлежащего тигра, не осудит тебя.

А нам все время приходится быть на людях — не очень-то тут задышишь по-йоговски. Дыши, как все — как говорит пословица: «С волками жить, по-волчьи выть».

Другая книга (д-р Ридель, «Оккультные науки») идет еще дальше:

«Дышите, как было указано выше, и одновременно с этим двигайте руками взад и вперед, пока ладони не сойдутся у вашего лба; когда же легкие вполне расширены, задержите дыхание и начинайте двигать руками назад, вперед и в стороны, описывая круг. Выдыхайте сначала верхнюю часть легких, потом нижнюю. Это нужно делать десять раз».

Оно можно бы делать и больше, но к десятому разу обычно сбегаются окружающие и, уложив вас с компрессом на голове в кровать, посылают за доктором, священником и нотариусом.

Это, в свою очередь, вызывает ряд глубоких вздохов как у вас, так и у окружающих...

Нервная мускулатура. «Примите правильное положение и, повернув лицо к окну (?), возьмите лист писчей бумаги за нижний правый угол большим пальцем и двумя следующими пальцами правой руки, держа верхний край бумаги в горизонтальной линии по отношению к вашему глазу и оконной раме; держать бумагу сначала надо минут пять, пока не устанет рука. Повторяя это упражнение, можно достигнуть получаса. Затем кладите на бумагу несколько дробинok и следите, чтобы они не скатывались».

Если вы выдержите эти упражнения три месяца, то в начале четвертого вы делаете следующее упражнение: снимаете с окна шнурок от портьеры, прикрепляете его к дверному косяку и, просунув голову в петлю, пробуете так висеть, стараясь глубоко и часто дышать по способу Рамачараки.

Упражнение это (придуманное исключительно нами) имеет ту хорошую сторону, что уже никаких повторений не потребует.

Гимнастика глаз (по доктору М. Риделю).

«Встаньте перед зеркалом, поставьте в середине его маленькую точку и пристально смотрите на нее; двигайте головой кругообразно, увеличивая постепенно радиус круга. Глаз принужден будет при этом вращаться с целью фиксировать точку. Упражняйтесь так время от времени по две, по три минуты в течение первых десяти — четырнадцати дней. Такое упражнение укрепляет глазные мускулы и дает вам возможность воспринимать зрением данный предмет со всех сторон.

В течение следующих десяти дней делайте круг больше, а движения быстрее, не теряя из виду точки, направо и налево, продолжая упражняться по десяти минут или более, если не чувствуете боли».

Если бы в вашей голове вместо мозга было молоко, то по истечении одного-двух дней этих упражнений молоко сбилось бы в превосходное сливочное масло. Но так как предполагается, что голова ваша наполнена нежным мозговым веществом — мы можем только по-братски пожалеть вас и протянуть руку помощи. Можем также дать вам совет: отыскать доктора Магнуса Риделя и, заведя его в темный уголок, поделиться с ним личным мнением по поводу его высоконаучной книги...

Упражнение для развития личного магнетизма (по М. Риделю).

«Возьмите стул, стоящий твердо на полу, и сядьте на него как можно глубже, не касаясь, однако, плечами до его спинки. Грудь вперед, а живот назад; плечи несколько откинута и слегка опустить. Руки положить на бедра, касаясь локтями верха бедер. Большой палец поднять так, чтоб он представлял собой с другими вытянутыми пальцами латинское V. Ноги отдельно, носки на расстоянии пяти-шести дюймов, пятки — двух или трех, представляя собой тоже латинское V. Губы сомкнуть, зубы разжать; язык должен лежать на нижней части рта, касаясь кончиком нижней челюсти, несколько вогнут, совершенно спокойно. Подбородок должен быть откинут назад для придания независимого положения. Сидеть совершенно прямо без напряжения мускулов — лишь один позвоночный столб должен быть твердым, спиной к свету.

Теперь выберите какой-нибудь неяркий предмет, чтобы не рассеивались мысли, как, напр., копейка. Поместите этот предмет на расстоянии четырех-семи футов и на высоте глаз. Смотрите на него упорно, не переставая и не моргая. В этом положении вы станете воспринимать, что посторонние мысли не оказывают на вас никакого влияния и вы находитесь, таким образом, в состоянии концентрации».

Лично мы того мнения, что копейка — крайне неудачный предмет для концентрации мысли. Этот предмет скорее рассеивает мысли, чем концентрирует их:

«Копейка, — думаете вы, сидя перед этим «неярким предметом». — Гм... копейка... А вот будь у меня тысяча таких копеек, что бы я на них сделал! Купил бы новый галстук, отдал башмаки в починку, и еще осталось бы на кинематограф для меня и для моей Мурочки. А кстати: Мурочка уже не заходит три дня. Не бегают ли она к этому художнику? Вообще, эти художники!.. Недавно видел в «Эрмитаже» Рубенса. Что только этот человек мог написать! Кстати: написать. Давно не отвечал маме на письма...»

Вот тебе и концентрация.

Ридель приводит еще много подобных упражнений, но мы не хотим приводить их, потому что в глубине нашей души все время сидит тайный страх: а что, если хоть один

из наших читателей примется серьезно за все предлагаемые Риделем упражнения. Что скажет нам его любимая жена? Его родственники? Его осиротевшая собака?

* * *

Усвоив принципы личного магнетизма, вы можете гипнотизировать всех, кто подвернется вам под руку...

Глава IV Гипнотизм

Гипнотизмом называется ряд поступков, благодаря которым один засыпает по желанию и воле другого. Однако автор какой-либо книги, развернув которую читатель засыпает, не может быть назван гипнотизером.

Гипнотизеры, как известно, усыпляют четырьмя манипуляциями, а именно:

- 1) Поглаживание.
- 2) Истечение силы.
- 3) Возложение рук.
- 4) Дуновение.

Поглаживание без гипнотического сна вызывает у поглаживаемого субъекта возложение на лицо рук гипнотизера с большим истечением сил. Это возложение рук нимало не напоминает дуновение.

Из вышеизложенного видно, что перед опытом субъект должен обязательно погрузиться в сон. Иначе получается неприятность.

Гипнотизировать не так трудно, как принято думать...

Вы просто усаживаете человека на стул, делаете перед его лицом несколько пассивов и приказываете:

— Спите.

После этого он засыпает.

Вы его спрашиваете:

— Вы спите?

— Ну да, — отвечает гипнотизированный, — конечно, сплю. Что вы — не видите что ли?

После этого начинаются опыты.

Вы берете чугунное пресс-папье, подносите к носу спящего и категорически, тоном, не допускающим возражений, говорите:

— Это — лампа.

— Нет, это не лампа, — говорит далее гипнотизер, — а кошка.

— Ну да, кошка, — спешит согласиться спящий. — Ясное дело — кошка. Где вы достали эту дрянь?

По нашему мнению, все дело в кротости и покладистости спящего. Человек этот настолько деликатен, что не хочет обижать гипнотизера. Кошка? Пусть будет кошка. Вы хотите, чтобы это пресс-папье было яблоком? Извольте. Я даже откушу кусочек промокательной бумаги, если это вам доставит некоторое удовольствие!

После того как гипнотизер натешился всласть над спящим, подсовывая ему одни предметы вместо других, гипнотизер может скомандовать:

— Проснитесь!

— Есть, — бодро откликается спящий...

Хороший тон гипнотизма требует, чтобы спящий по пробуждении спросил: «Где я?», а потом принялся бы уверять, что он «ничего, ну решительно-таки ничего, вот тебе ни крошечки не помнит».

Гипнотизеры очень ценят таких воспитанных субъектов и платят им за сеанс большие деньги.

Впрочем, мы лично ценим только таких гипнотизеров, в действиях которых преобладает элемент юмора.

Например, д-р Северин рассказывает в своей книге о гипнотизме об опытах английского гипнотизера Кеннеди.

«Кеннеди внушил нескольким мужчинам, что один из них — непослушный грудной ребенок, доведший до отчаяния своими криками няньку. Другому внушил, что он очень нетерпеливая нянька, третьему — что он мать.

Чтобы сделать комедию забавнее, он последних нарядил — одного в чепец, другого в фартук. Когда он сосчитал до трех, двое из находившихся под внушением — нянька и ребенок — серьезно принялись за исполнение своих ролей.

Ребенок, уже лежавший на полу, начал необыкновенно натурально кричать. Нянька бегала и искала (потом она их нашла) бутылку с молоком и пеленки. Дав ребенку

молока, она взяла его на руки, но, так как дитя не хотело успокоиться, завернула его в готовые пеленки и положила в громадную корзинку.

Но ничего не помогло. Дитя кричало все сильнее и сильнее, и нянька со злостью таскала корзинку по полу туда и сюда. Наступил момент появления матери. Было сделано внушение, и она появилась на сцену. Крупная перебранка между обеими сторонами. Мать берет ребенка на руки и начинает с ним ходить. Но дитя кажется слишком тяжелым и опять укладывается в корзинку, заменяющую колыбель. Однако крикуна ничем не успокоишь.

Наконец он надоел матери, та его отшлепала и отдала няньке.

Эта в отчаянии схватилась за бутылку, довольно похожую на ликерную, и дала ее ребенку; затем он с таким ожесточением начал с проклятиями дергать корзинку, что та перевернулась. Тут опять возгорелось недоразумение, обе стороны бросились друг на друга.

Внушение и удар в ладоши оператора, и все участвующие замерли на местах в живописных позах.

Другой раз Кеннеди среди добровольных зрителей заметил одного так называемого «просветленного», который за спиной оператора строил гримасы, давая публике понять, что дело не совсем чисто. Публика уже начала испытывать враждебное настроение к оператору. Последний, обеспокоенный этим, обернулся назад и увидел виновника. Он попросил у одного из присутствующих палку, приложил ее к плечу и начал фиксировать взором этого, совершенно неподготовленного к такой неожиданности человека. Просветленного это поразило. Его противодействие было сломлено. Он начал дрожать, встал со стула, бросился к Кеннеди и коснулся концом носа палки, которая все еще была устремлена на него.

Кеннеди, проведя его при помощи палки на некоторое расстояние, одним ударом опустил ее, и субъект не мог сдвинуться с места. То был случай каталепсии, вызванной страхом. Затем Кеннеди обратился к пораженному собеседнику: «Вы мне оказали большую услугу, и я хотел бы быть вам признательным за это. Скажите мне ваше желание, и, если возможно, я исполню его». Тот захотел много

денег. Кеннеди приказал принести стакан воды, подал его субъекту и сказал: «В этом стакане 240 золотых, если вы их высыпете в карман, не рассыпав, они все ваши». Радость просветленного была необычайна, все лицо его засияло от восторга ввиду необычайной легкости задачи.

Он ловко опорожнил карман, придержал его края и другой рукой вылил стакан с предполагаемыми 240 золотыми. Публика разразилась хохотом.

Кеннеди пробудил его, и он поразился, не понимая, как он тут очутился, и сделал несколько шагов, чтобы уйти. Теперь он заметил, что что-то случилось с одной половиной брюк, видит лужу на полу, хватается за брюки, которые непонятно влажны, заезжает рукой в карман, и скандал (?) готов».

А вот опыт Кеннеди с одной старухой:

«— Я, — говорит Кеннеди, усыпив старуху, — сделаю вас опять молодой!

Вам 20 лет, вы певица и сейчас выступаете на сцене с исполнением веселой песенки!

— Невозможно! 20 лет — как я могу стать двадцатилетней! Ведь я — старуха!

— Через две минуты вам будет 20 лет, вы сейчас почувствуете превращение.

Она вся как-то подбирается и через две минуты начинает: — Как хорошо! Вот чудо-то! — Она поправляет косынку и улыбается: она уже уселась на постели. — Ах, вот и г-н директор! Чья очередь? — Далее она вступает в разговор с воображаемой подругой: — Пойдешь ты или я? Моя очередь или твоя? Одной надо выходить! Скорей! Ну хорошо, я иду! Дайте звонок, г-н директор! Я даже не знаю, какой у меня номер по программе! Ах, что тут! Не все ли равно? — Она изящно трижды кланяется воображаемой публике и выразительно поет. Затем протягивает руку, как будто что-то берет: — Какой прекрасный букет! Да еще в день моего рождения! — Затем она обращается к своей соседке и спрашивает: — Видишь букет?

— Через минуту вы будете пьяным кучером, — говорю я ей. Она протирает глаза, выпрямляется в кровати и начинает угощать воображаемую лошадь здоровыми ударами кнута: «Но, но, но, старая кляча! — Жест к вожжам. — Ты что же, ложиться? Но, но! Нет, так больше нельзя! Мальчишка, бе-

регись! Смотри, смотри, чтобы тебя не переехали... Но, но, старая кляча! Ты уж, верно, чуешь овес! А я с самого утра еще ничего не пил! Ах, вот (взгляд влево), вот и вывеска!»

Я спрашиваю: «Ты угощаешь?» — «Я не богат! Ну, изволь стаканчик, войдем! Стой, стой, старая стерва! Ну, поскорей, а то она удерет, и завяжется история с полицией! Человек, два стакана! — Она опоражливает стакан. — А еще не нальешь? Еще разок. До свидания, до следующего раза!» И все это она произносит тоном, который сделал бы честь самому лучшему кучеру в мире.

— Теперь вы светская дама и едете в экипаже со своим слугою.

Она принимает важный, гордый и серьезный вид, откидывается назад, опирается на подушки, прикрывается старательно одеялом, торжественно скрещивает руки на груди и говорит серьезным, резким голосом: «Какая чудная погода! Жозеф, поезжайте к водопаду, но осторожнее! Ехать тихо!» Она делает приветственные жесты рукой, с улыбкой раскланивается с разными лицами: «Какая масса народу!» Так в этом положении, с этим же гордым, величественным выражением лица она пребывает две минуты и затем приказывает: «Поверните! Но осторожнее!»

Наконец я говорю: «Лошади испугались!» А она на это: «Осторожнее, Жозеф! (Все еще прежним резким, размеренным тоном.) Держите лошадей! Я вылезу! Держите лошадей! Я вылезу, держите же их скорее! Я не могу понять, отчего такая невнимательность! Успокойте лошадей, держите их! Недурно, мы едем назад, но скорее, чем мы ехали сюда! Эта толпа их так испугала, я не понимаю, что вы не следите! Ведь вы можете быть виною несчастья! Я с вами никогда больше не поеду! Я вам откажу, если вы не будете лучше следить за лошадьми! Дайте вожжи!»

— Я превращаю вас в капрала!

— Боже мой, капралом! Но какого полка? Ведь я женщина!

— Я превращаю вас в мужчину и капрала! Все ваши люди ждут ваших приказаний, вы во главе отряда!

Ей надо всего минутку, чтобы приготовиться к новой роли, затем она выпрямляется и кричит: «Эй, ребята, рекруты! Смирно! Голову выше! Поднять ружья! Возьмите их в руки! Следите за командой! Марш рядами! Ружья к левому плечу!

Вперед! Следить за рядом, не отставать! Держись прямо! Эй, ты там, держись лучше! Не то отправлю под арест! Раз, два, раз, два! Ты, осел, не можешь слушать! Потряси еще раз у меня локтями, идиот! Настоящее несчастье иметь дело с этими болванами! Ничему их не научишь! Шагом марш! Довольно!»

Я говорю наконец:

— Скушайте этот апельсин, затем к вам прилетит ангел, он вас разбудит дуновением в глаза.

Она берет воображаемый апельсин, аккуратно очищает его от кожи, складывает ее на ночной столик, с аппетитом кушает одну — две дольки и вынимает носовой платок, предварительно выплюнув зерна, чтобы обтереть рот, и затем прячет платок. Потом она обращается с закрытыми глазами кверху, и ее лицо просветлевает, она открывает глаза и просыпается».

Сколько должна была проявить доброты и мягкости старушка, чтобы добросовестно проделать все, подсказанное гипнотизером, и ни разу не обидеть его отказом от роли кучера или капрала, дающего солдатам по зубам.

Да... Недаром говорят: старость почтенна.

Глава V Спиритизм

Спиритизмом называется искусство довести деревянный стол до такого состояния, чтобы он заговорил.

Делается это так: несколько человек сговариваются «заглянуть нынче вечерком в потусторонний мир...».

Вечером съезжаются в одно место, закрывают двери, гасят огни и, усевшись вокруг стола, соединяют свои руки в непрерывную цепь.

Главное сделано. Остальное — пустяки.

Дав столу оправиться от первого смущения, вступают с ним в задушевный разговор.

— Дух, ты здесь?

— Здесь, — отвечает смущенно столик, почесав ножкой воображаемый затылок.

— А зачем ты здесь, дух?

— Вот, ей-Богу, странные люди, — недовольно бормочет столик. — Сами же собрались, вызвали меня, да сами же и спрашивают — зачем.

Он хмурит брови и неуверенно стучит ножкой семь раз.

— Дух! Зачем ты стукнул семь раз?

— Хотел и стукнул, — отвечает столик.

— Дух, кто ты такой? Как тебя зовут?

— Я царский истопник при дворе царя Алексея Михайловича. Зовут меня Петя.

— Дух Петя! Расскажи нам, что делается у вас на том свете.

«Ишь куда метнули», — ошарашенно думает Петя.

Но ответ дает более деликатный.

— Нам запрещено говорить об этом. Нельзя. Мне тяжело.

— Почему тебе тяжело, дух Петя?

— Да все задают глупые вопросы, вот и тяжело.

После этого наступает на мгновение неловкое молчание...

Однако руководитель спиритического сеанса быстро овладевает собою и начинает приставать к духу с разными просьбами:

— Если ты здесь, дух Петя, то прояви себя.

— Как я вам себя еще проявлю, — уныло бормочет Петя.

— Ну, сделай что-нибудь.

Петя размахивается и дает подзатыльник ближайшему.

— Он меня коснулся! — радостно кричит ближайший.

— Он меня тронул! Я уже тронутый.

— И я тронутая, — ревниво подхватывает дама. — Душечка дух! Брось что-нибудь на пол.

Дух вздыхает и покорно бросает на пол заранее приготовленную для этого случая гитару.

— Бросил! — радостно кричат все. — Он бросил на пол гитару.

«Что тут удивительного, — про себя недоумевает дух. — Неужели это так трудно? Неужели никто из них не мог бы этого сделать?»

— Дух, станцуй что-нибудь.

Очевидно, в царствование Алексея Михайловича весь народ был кротким и покладистым: услышав просьбу, Петя несколько раз притоптывает тяжелой ногой и смущенно смолкает.

«Отпустили бы они меня, — тоскливо думает призрак. — Ну чего там зря мучить?»

Пишущему эти строки приходилось несколько раз присутствовать на спиритических сеансах, и всегда его поражало одно: полное отсутствие фантазии как у духов, так и у спиритов: «Дух, разбросай по полу спички...» — «Извольте». Разбрасывает. «Дух, выбери из трех карт бубнового туза». — «Извольте». Выбирает, откидывает в сторонку.

А что дальше? Для чего спиритам эта карта? Повертят ее задумчиво и недоуменно в руках и снова сунут в колоду.

Нет существа с более бедной фантазией, чем вызванный дух. Все его поступки необычайно примитивны: то он коснется холодной рукой чьего-то колена, то постучит ногами, то сбросит на пол с этажерки книгу, то найдет в уголке кусочек бумажки и сомнет ее.

По-моему, раз дух вызван и если он сам ничего путного не придумает, отчего бы им не воспользоваться с утилитарной целью: поставить кофейную мельницу, чтобы дух смолот фунта два кофе, положить на стол неразрезанную книгу и костяной ножик (всегда такая лень самому разрезать книги...), поручить почистить картофель к ужину или перебрать ягоды для варенья.

И в хозяйстве прибыток, да и духу приятно, что он не зря коптит небо.

Для этого нужно только раз навсегда отрешиться от взгляда на духа как на существо особенное, чудесное; не надо глядеть на него, как пошехонцы на гоночный автомобиль... Нужно помнить, что дух такой же человек, как и мы, а если он сейчас находится на особом положении — ну что ж такое: никто из нас от этого не застрахован.

Заключение

Читатель! Мы дали тебе в руки могучее и страшное оружие, раскрыв перед твоими глазами все тайны природы.

Читатель! Будь мудр и действуй этим оружием с толком. Не употребляй его во зло: если вызовешь духа, не обижай его, если загнипотируешь знакомого — не вытаскивай из его кармана бумажник, пользуясь тем, что он в ката-

лепсии, и, если тебе удастся извлечь из любимой женщины астральное тело, не давай волю своим рукам — помни, что оно эфирно и беспомощно.

Читатель! Старайся быть достойным нас, благородных оккультистов и йогов.

Прощай, читатель.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОУЧИТЕЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ

Как Дидона построила Карфаген

Когда встречаются мошенник и дурак, то ясно: в этой комбинации всегда проиграет дурак.

Сестра жестокого тирского царя Пигмалиона, спасаясь от его преследований, пришла со своими приближенными в Африку. Осмотревшись и познакомившись с жителями, она уговорила их пойти на такую сделку:

— Я вам плачу вот эти небольшие деньги за то, чтобы вы мне продали земли столько, сколько охватит воловья шкура.

Африканцы почесали затылки и сказали друг другу:

— Видно, дура баба. Земли у нас сколько угодно — пусть берет этот клочок. Не обеднеем, чай.

— Ну, как же? — торопила Дидона.

— Идет! По рукам.

— По рукам, так по рукам, — пробормотала Дидона.

Непосредственно за тем разрезала воловью шкуру на тонкие ремни и охватила себе такой кусок земли, который можно было охватить воловьим ремнем.

Снова почесались африканцы — да уж поздно было.

Отсюда и пошло выражение: «народ мы темный». Как известно, африканцы черные.

Так и возник Карфаген.

* * *

Вот, милые дети: если будете совершать земельные сделки, то имейте в кармане воловью шкуру. Если же этот прием не пройдет, то можно смошенничать как-нибудь иначе.

Преступная лень

Мидийский царь Астиаг покушал на ночь поросенка с хреном, и ему приснилось, будто из живота его дочери выросло развесистое дерево, которое тенью своею покрывало всю Азию.

Спрошенные по этому поводу маги объяснили:

— Дело ясное: Кир родится.

Понятно, что Астиаг испугался своего будущего тенистого развесистого родственника... Призвал вельможу Гарпага и сказал ему:

— Голубчик Гарпаг... Там у дочери родился Кир, так ты его тово... Ну, да мне тебя не учить... Понял?

— Ухлопать прикажете?

— Натурально.

Гарпаг откланялся, но по лени передал это поручение пастуху; тот тоже был не из прилежных: попросил жену. А жена, конечно, раскисла и, вместо того чтобы распорядиться с ребенком по-царски, — спрятала его.

Так и вырос Кир.

* * *

Дети! Никогда не поручайте другим тех дел, которые возложены на вас.

О, Солон, Солон, Солон!

Персидский царь Кир победил Лидийского царя Креза — богатого, действительно, как Крез.

Когда Креза взяли в плен, Кир благосклонно сказал:

— Нынче что-то холодно. Пленник наш мерзнет. Подогрейте его на костре.

Когда Креза взвалили на костер, он поднял глаза к небу и заплакал, как дитя:

— О, Солон, Солон, Солон!

— Солоно тебе приходится? — осведомился плохо понимавший по-лидийски Кир.

— Не то, коллега, — отвечал Крез. — А я просто вспомнил греческого мудреца Солона, перед которым я однажды

расхвастался своими богатствами. «Правда, — спросил я, — что меня можно назвать самым счастливым человеком?» — «Ну, нет, — сказал Солон, — прежде своей кончины никто не может назвать себя счастливым».

— Ишь ты, — удивился Кир и приказал стащить Креза с костра.

* * *

Эта история, дети, должна научить вас искать беседы с мудрецами, а не с дураками, которые всегда могут, как говорится, подвести под монастырь...

Перстень Поликрата, или Как ни вертись, от судьбы не уйдешь

Жил-был тиран Поликрат. Ему так везло, что все удивлялись.

Чтобы смягчить зависть богов, Поликрат решил подвергнуть себя какому-нибудь лишению: он выехал в открытое море и бросил в воду свой самый дорогой перстень. Дальше все пошло как по маслу: рыбак поймал большую рыбу, подарил (и тут повезло) ее Поликрату, Поликрат зажарил ее, и когда стал есть, то чуть не сломал зуб (все-таки не сломал; и тут повезло!) ... Почему же, спрашивается, он чуть не сломал зуб? Да очень просто: в рыбе был брошенный им в воду перстень (самый редкий случай везения)...

Нужно ли добавлять, что вскоре после этого Поликрат был пойман персидским сатрапом и повешен, со всем уважением, которое было его сану свойственно.

Вот тебе и перстень. Вот тебе и везение.

* * *

С тех пор цена на рыбу так поднялась, что нынче фунт осетрины меньше чем за три рубля не купишь.

Жаль только, что рыба совершенно перестала питаться перстнями.

Об искусном поэте

Афинский поэт Фроних написал трагедию «Взятие Милета». Во время ее представления зрители не могли удержаться от рыданий, и поэт был осужден заплатить пеню в 1000 драхм за такое живое напоминание этого печального события.

* * *

О, дети! Как мы были бы счастливы, если бы и сейчас тоже применялся этот закон по отношению к авторам военных пьес и рассказов.

Пусть бы лучше денежки их плакали, а не читатели.

Что может быть хорошего в бочке

Как известно, Диоген жил в бочке, почему многие доверчивые люди и считали его мудрецом.

Мы с этим не согласны. Например.

Однажды его посетил (?) Александр Македонский. Диоген, по обыкновению, как дурак, сидел в своей бочке.

— Диоген, — сказал Александр. — Хочешь, я окажу тебе какую-нибудь милость?

— Хочу, — грубо ответил Диоген.

— Какую?

— Отойди, ты закрываешь мне солнце.

Остроумно ли это, дети? Ничуть. Человек высокопоставленный обращается к тебе, как к порядочному, хочет сделать тебе что-нибудь приятное, а ты? Как ты ему отвечаешь? Где тебя учили таким ответам? Мудрец ты? Водовоз ты, а не мудрец.

За свои грубые ответы Диоген, как известно, и ходил всегда с фонарями...

* * *

Дети! Будьте благопристойны.

Где у человека должны быть камни

Оратор Демосфен, в юности заика, начал свою ораторскую деятельность тем, чем многие современные ораторы начинают, продолжают и кончают: его освистали.

Но он не смутился этим: набил себе рот камнями и произнес такую громовую речь против Филиппа, что эту речь удивленные современники назвали филиппикой.

* * *

Очень жаль, что современные ораторы не похожи на Демосфена: у них не камни, а каша во рту.

Камни же они обыкновенно держат за пазухой и бросают их безо всякого толку в чужой огород.

Благородный жест Александра Македонского

Александр Македонский и все его войско залезли однажды в такую глушь, где не было совсем воды. Однако какой-то расторопный воин нашел небольшую лужицу, зачерпнул шлемом воды и принес ее Александру.

Александр заглянул в шлем и сказал:

— Как я буду пить воду, в то время когда мое войско изнывает от жажды.

И вылил воду на землю.

Поступок, конечно, красивый, но вот, дети, его объяснение: перед тем как пить, Александр заглянул в шлем — и что же он увидел там? Немного жидкой кашицы из мусора и грязи, в которой плавала дохлая крыса.

Дети, какой поступок он совершил?

1. Гигиенический.
2. Красивый.
3. Исторический.

* * *

Дети! Помните, что вы тоже можете совершать красивые исторические поступки, в особенности тогда, когда другого выхода нет.

Жарение Муция á la Сцеволы

Молодой римский человек Муций Сцевола пробрался во вражеский этрусский лагерь с целью ухлопать царя Пор-

сену. Но, по близорукости или по чему другому, убил постороннего, совершенно не заинтересованного человека.

Когда его поймали, Порсена сказал:

— Я сожгу тебя живым.

Тогда Муций положил руку на огонь, пылавший в жаровне, и сказал:

— Начихать мне на твои угрозы. Видишь — сам могу жариться, сколько угодно.

Историк говорит, что изумленный таким героизмом Порсена помиловал Муция Сцевола и поспешил (?) заключить мир.

* * *

Дети! Встречали ли вы более практичного молодого человека, чем Сцевола?

Он сразу сообразил, что пусть лучше сгорит одна рука, чем весь он — с руками, с ногами и головой, если его начнут жечь палачи Порсены.

А если бы даже его трюк с рукой и не произвел впечатления, то чем он рисковал? Так или иначе — сожгут целиком... А если царь, восхитясь таким поступком, помилует, то руку потом можно залечить: сделать компресс из картофельной муки или помазать обожженное место чернилами. Тоже помогает.

* * *

Дети! Будьте практичны, и вы никогда ни в огне не сгорите, ни в воде не потонете.

Несчастье особого рода

Римский консул Дуилий разбил карфагенян. В благодарность за это римляне постановили, чтобы за ним всюду следовали флейтист, дудящий на флейте, и человек с зажженным факелом.

Как известно, у консула Дуилия была интрижка с одной знатной патрицианкой — и что же? Этот победитель и герой очутился в самом невыносимом положении: как только он собирался на тайное свидание к своей возлюбленной,

за ним бежала целая процессия — впереди флейтист, за ним факелonosец, а сзади толпа любопытных.

— Куда это несет нашего Дуилия?

— Да к этой, знаете... Он с ней уже второй год путается.

— А муж что же?

— Ну, уж эти мужья... Ему и факелом освещают и в дудку дудят — разве муж видит и слышит что-нибудь?

Историк говорит, что Дуилий, терпение которого лопнуло, выхватил однажды у флейтиста дудку, пробил ему голову, а потом поджег факелом и факелonosца и себя...

Так и погиб этот чудный отзывчивый человек...

Дети! Помните: для преуспевания в жизни не нужно совершать громких подвигов... живите себе тихо, смиренно, почитайте старших, кланяйтесь начальству, и ни один ваш поступок не будет освещен светом факела, и ни об одном вашем поступке не продудят на весь мир...

Зря не топай

Римский военачальник Помпей вздумал воевать с непослушным воле римского сената Юлием Цезарем.

Войск у Помпея не было, но он не смущался этим.

Часто говорил своим друзьям:

— Лишь топну ногой, и из земли появятся легионы.

В это время Цезарь перешел Рубикон и обрушился на беззаботного Помпея.

Помпей вздумал топнуть ногой, чтобы из-под земли явились легионы.

Топнул раз, топнул два — никто из земли не вылез. Ни одна собака.

Топал он, топал, пока не пришлось ему сломя голову топтать от Цезаря, куда глаза глядят.

И чем же кончилось это топанье? Убили его в Египте (куда человека занесло!), и конец.

* * *

Помните, милые дети, что исторические фразы говорить легко, а исполнять обещанное трудно.

Так что — зря не топайте.



**ПОДХОДЦЕВ
И ДВОЕ ДРУГИХ
Повесть
(1917)**

позолоченные пилюли



ВВЕДЕНИЕ

Если бы на поверхности земного шара оставались следы ото всех бродящих по земле человеков — какой бы гигантский запутанный клубок получился! Сколько миллиардов линий скрестились бы, и сколько разгадок разных историй нашел бы опытный следопыт в скрещении одного пути с другим и в отклонении одного пути от другого...

Бог с высоты видит все это, и, если бы его Божественное Внимание могло быть занято только такой неприхотливой пищей, — сколько бы занимательных, трагических и комических историй представилось Всевидящему Оку.

Мы все жалки и мелки перед лицом Бога... Ни одному из нас не удалось проникнуть в лабиринт запутанных путей человеческих, никто даже сотой части клубка не распутал; и только автору этих строк удалось проследить пути одной человеческой троицы, которая причудливо сошлась разными путями к одной и той же точке.

Сошлась, чтобы надолго не разойтись.

Вот их пути.

Часть I

Глава I ПОДХОДЦЕВ

Молодой широкоплечий блондин, с открытым веселым лицом и энергичными движениями, вышел из дома № 7 по Новопроложенному переулку и, усевшись на извозчика, сказал:

- Вези меня на Дворянскую, 5, да только, братец, поскорее. Извозчик чмокнул губами, и лошадь затрусил.
- Ты не особенно хорошо едешь, извозчик, — иронически заметил седок.
- Еду себе и еду, — холодно возразил извозчик.
- Скажу тебе больше: ты едешь просто плохо.
- Н-о-о-о, ты, проклятая!
- Должен тебя огорчить, извозчик, но ты едешь гнусно, отвратительно.
- Овес нынче дорог, барин.
- Не вижу никакой логической связи между ценой на овес и скоростью движения лошади.
- Чаво?
- Тово. Это все равно как если бы я, доехавши до места назначения, отказался от уплаты причитающихся тебе денег под тем предлогом, что нынче калоши вздорожали на сто процентов.
- Лошадь не бежит, — угрюмым тоном промолвил извозчик.
- Тогда она не лошадь, — учтиво возразил седок.
- А что ж она?
- Не знаю. Я думаю, что тебе нужно было бы быть осмотрительнее при покупке лошади. Ты ее когда купил?
- О позапрошлом годе.
- Покупая, ты требовал именно лошадь или тебе сорт имеющего быть всунутым в оглобли животного был безразличен?
- Чаво?
- Может быть, тебе по твоей неопытности подсунули вместо лошади крокодила?
- Извозчик обиделся.
- Почему это? — надменно спросил он.
- Очень просто: что такое лошадь? Это — животное, которое бежит. Твое животное не бежит. Значит, оно — не лошадь.
- Четыре ноги имеет, — усмехнулся извозчик, — значит, и лошадь.
- Стул тоже имеет четыре ноги, а, однако, не бежит.
- У ей голова есть, а у стула нету, — возразил извозчик, очевидно, серьезно заинтересованный этим принципиальным спором.

— Подумаешь, важность — голова. Вон и у тебя голова есть, а что толку?

На это извозчик ничего не нашелся ответить.

— Вон видишь, все нас перегоняют.

— Что ж, и мы кой-кого перегоним, — хвастливо усмехнулся извозчик и, действительно, перегнал лошадь, запряженную в щегольской экипаж и мирно дремавшую у чьего-то подъезда.

Голову седока осенила какая-то мысль. Он лукаво улыбнулся и предложил:

— Хочешь, сделаем так: за каждую лошадь, которую ты перегонишь, я плачу тебе пятак. За каждую лошадь, которая перегонит тебя, я вычитаю с тебя пятак.

Это странное предложение произвело на извозчика ошеломляющее действие. Он в один момент вышел из состояния полудремоты, дико захохотал, привстал на козлах и, хлестнув по лошади, закричал:

— Идет! Считай, барин.

— Стой, стой! Только, брат, уговор: стоячие и противоположно едущие не считаются.

— Само собой! Будьте покойны. Эх, ты, милая-а-ая!!..

Лошадь понеслась как стрела, а седок, откинувшись с довольным видом на спинку экипажа, принялся отсчитывать пятаки.

— Пять! Десять! Пятнадцать! Двадцать пять! Пять долой — нас экипаж один обогнал.

— Так то ж рысак!

— Это деталь! Опять двадцать пять, тридцать! Сорок...

Хитрый извозчик в один момент постиг своим светлым мужицким умом не только принципы этой азартной игры, но и ее выгоды. Поэтому он при первом удобном случае свернул с малолюдной улицы на проспект, где экипажей было в десять раз больше, и, не обращая внимания на сделанный крюк, развил такую скорость, что седок еле успевал считать:

— Рубль тридцать! Еще пять! Рубль сорок. Рубль сорок пять!

— Нет, рубль пятьдесят, — заспорил извозчик. — Сейчас обогнал пару.

— Да ведь она в одной запряжке, пара.

— Это все едино! Уговаривались за лошадь пятак, а тут на-кося двух обогнали!

— Однако и фрукт; брат, ты! Значит, за тройку ты сдерешь пятиалтынный?

— Само собой: три лошади, три пятака. Н-но!!

— Да не гони ты так, черт. Ты меня разорить можешь!

— Мой антирес! — весело заорал извозчик. — Н-но!!

— Извозчик...

— Ась?

— Имей в виду, если кого-нибудь раздавишь — по рублю с человека буду вычитывать.

— Ладно, будьте покойны. А если не раздавлю — вы мне руль.

— Еще что выдумай! Этаким образом ты с меня и тысячу выколотишь.

— Хи-хи! Н-н-но!!

— Смотри, дурак, чуть на женщину не наехал.

— На женщину я никак не могу наехать, — солидно возразил извозчик и сейчас же подтвердил эти слова самым положительным образом: наехал на мужчину.

Раздались крики, оханья, кто-то смачно выругался, кто-то поднимал с земли испачканного в пыли и прахе небольшого роста господина, отплевывавшегося розовой кровавой слюной.

— Черти! — орал доброволец из публики. — Прут на народ. Рази так ездют. Надо хорошо ездить, а не плохо ездить надо.

— Дать бы извозчику по морде, — посоветовал дворник.

Недовольный такой перспективой, извозчик подобрал в руки вожжи, с явным намерением ускакать от всей этой катавасии, но седок угадал это намерение, опустил могучую руку на его плечо и сказал спокойно, но твердо:

— Нет, брат, стой. Уезжать нельзя. Умели воровать, надо уметь и ответ держать! Может быть, его в больницу нужно свезти — как же мы уедем?..

Он легким юношеским прыжком соскочил с экипажа и подошел к пострадавшему, которого поддерживал под руку инициатор награждения извозчика оплеухой.

Глава II ГРОМОВ

Пострадавший поднял на подошедшего ясные кроткие голубые глаза и сказал:

— С какой это радости вы так рассказали?

— Простите. Моя фамилия Подходцев, и я готов вам дать всяческое удовлетворение. Конечно, вы не виноваты: переходили себе спокойно улицу, а в это время мой дурак и налетел на вас безо всякого предупреждения. Я могу так и на суде показать.

— А вы думаете, должен быть суд? — с легким беспокоейством спросил пострадавший, еще раз отплюнувшись кровавой слюной.

— Это от вас зависит.

К месту происшествия спокойно, с развальцем, подходил околоточный.

— В чем дело, господа? Прощу разойтись.

— Мне бы очень хотелось разойтись, но едва ли это удастся, — проворчал Подходцев. — Мой возница, благодаря моим же подстрекательствам, ехал быстрее, чем нужно, и наехал на этого господина, который, ничего не подозревая, переходил улицу.

— Этот господин говорит неправду, — возразил пострадавший, счищая пыль с локтей. — Они ехали, как следует, а я сам виноват: мне захотелось покончить жизнь самоубийством, я и бросился под лошадь.

Околоточный немного растерялся от такого оборота дела.

— Как же вы это так, — укоризненно сказал он. — Разве можно так?

— Что?

— Да кончать жизнь самоубийством?..

— А что в ней хорошего, господин околоточный? Так, чепуха какая-то, а не жизнь. И вообще, ответьте мне на вопрос: к чему жизнь наша? Куда мы стремимся? В чем идеал?

— Вы не имете права задавать таких вопросов при исполнении служебных обязанностей! — запальчиво сказал околоточный.

— Ну, вот видите! Если даже полиция не может ответить, в чем смысл жизни, то кто же может?

Околоточный пожал плечами, вынул книжку и сухо спросил:

— Вы имете к седоку и извозчику какую-нибудь претензию?

— Никакой буквально.

— А вы? — обратился околоточный к Подходцеву.

— Я? К этому господину? Претензию? Да я его считаю самым очаровательным существом в мире!

— В таком случае, в чем же дело?

— Ни в чем.

— Так расходитесь! Зачем скопляться?!

Околоточный сердито откашлялся и ушел, а Подходцев протянул пострадавшему руку и спросил с легким смущением:

— Не могу ли я быть чем-нибудь вам полезен?

— Шить умеете? — улыбнулся одними голубыми глазами пострадавший.

— Не умею.

— Значит, не можете быть полезны. У меня порядочная дыра на локте.

— У такого порядочного человека даже дыра на локте должна быть порядочная, — сказал Подходцев, но, считая этот комплимент недостаточной компенсацией за все, что произошло, добавил:

— Может быть, вам трудно идти — тогда я уступлю вам своего извозчика.

— Не могу ехать.

— Почему? Вам трудно сидеть?

— Да, трудно, когда не знаешь, чем заплатить извозчику.

Это было сказано с такой благородной простотой, что Подходцев почувствовал еще большую симпатию к молодому человеку.

— Как ваша фамилия? — осведомился он.

— Моя фамилия — Громов. А вашу я слышал: Подходцев.

Снова оба пожали друг другу руки, продолжая оживленную беседу на краю панели, возле извозчика, совсем погасшего после того, как его увлечение спортом было приостановлено столь резко и неожиданно.

— В таком случае разрешите мне отвезти вас домой.

— К кому домой? — подмигнул Громов.

— К вам, конечно.

— А вы знаете адрес?

— Чей?

— Мой.

— Я думаю, вы его знаете.

Громов усмехнулся.

— Даже под пыткой я не назову его. Первое: я только вчера вечером приехал в этот город. Второе: у меня нет

денег для квартиры. Третье: я, пожалуй, сам виноват в том, что попал под вашу лошадь, — не спавший всю ночь и рассеянный.

— Хотите поехать ко мне? Мы вдвоем что-нибудь сочиним.

— Мне неудобно. Будто вы обязаны сделать для меня что-нибудь только потому, что ваш возница на меня наехал...

Подходцев протянул могучие руки, взял своего нового знакомого под мышки, усадил на извозчика и сказал:

— Пошел! Обратно на Новопроложенный.

Извозчик оживился.

— С пятаками?

— Ну тебя к дьяволу! Поезжай просто.

Извозчик снова погас, на этот раз уже окончательно и бесповоротно. Не загорелся он и тогда, когда они доехали и Подходцев, вынимая деньги, сказал:

— По таксе, плюс тридцать восемь перегнанных лошадей, с меня следует два рубля тридцать. Минус рубль за раздавленного, по уговору, — остается рубль тридцать. Получай и постарайся переменить свое загадочное животное на обыкновенную человеческую лошадь.

Громов, с удивлением слушавший странные математические вычисления, при последних словах засмеялся, и таким образом эти два человека со смехом вошли в дом и со смехом стали оба жить в нем.

Глава III ДОМА

Квартира Подходцева состояла из двух комнат — одной огромной и одной микроскопической, — похожая на большую жирафу, увенчанную маленькой головкой.

Обстановка была скудная, и Подходцев, обедая широким жестом комнату, поспешил объяснить гостю:

— То, что маленькое на четырех ножках, — ходит у меня под именем стульев. Большое, уже выросшее и сделавшее себе карьеру, называется у меня: стол. Впрочем, так как я иногда на столе сижу, а на стуле, лежа в кровати, обедаю, то я совершенно сбил с толку этих животных, и они ходят у меня под всякую упряжь.

— А почему у вас две кровати? — осведомился гость.

— Эта комната так велика, что мне иногда, когда я бываю по делам в южной ее стороне, трудно достигнуть северной стороны, в особенности если хочется спать. Поэтому я поставил на каждой стороне по кровати. А в общем, черт его знает, зачем я поставил две кровати.

Хозяин опустил на одну из кроватей и погрузился в задумчивость.

— Действительно, зачем я поставил другую кровать? Недоумеваю. Вы есть хотите?

— То есть как?

— Да так: рыбу, мясо, хлеб. Вино вот тоже некоторые пьют.

— Да я, собственно, уже пообедал, — проямлил гость.

Но тут же врожденная искренность и простота его характера взяли перевес над требованиями хорошего тона. Он рассмеялся и сам перебил себя:

— С чего это мне вздумалось соврать? Ничего я не обедал и за котлету отдал бы столько собственного мяса, сколько она будет весить.

— Странные мы народы: я зачем-то поставил лишнюю кровать, вы корчите из себя великосветского денди, щелкая в то же время зубами от голода.

— Да, если откровенно сказать, то мне... действительно... неловко.

— А мне, думаете, ловко? Чуть не размазал по мостовой хорошего человека. Положим, и извозчик идиот порядочный.

— Послушайте, Подходцев... Скажите откровенно, что заставило вас не удрать от меня на своем извозчике, а остаться и расхлебывать всю эту историю до конца?

— Хотите, я вас удивлю?

— Ну?

— Я просто порядочный человек. А теперь скажите и вы: почему вам пришло в голову обелить нас с извозчиком, вместо того чтобы предать обоих в руки сбиров?

— Хотите, теперь я вас удивлю?

— Вы тоже порядочный человек?

— Нет! Я просто хитрый человек. Я просто поступаю по рецепту одного умного художника. Однажды к нему пришел судебный пристав описывать за долги его имущес-

тво. И что же! Вместо того чтобы отнестись к этому неприятному гостю с омерзением, повернуться к нему спиной, мой художник принял его по-братски, угостил завтраком, откупорил бутылочку вина и так сдружился с этим тигром в образе человека, что тот ему сделал всяческие послабления: что-то рассрочил, чего-то не тронул, о чем-то предупредил. По-моему, этот художник был не добрый, а хитрый человек.

— Мне ваш художник нравится. Действительно, если бы вы ввергли нас с извозчиком в темницу — все бы на этом проиграли, а вы ничего не выиграли. Тогда как теперь...

— Тогда как теперь я заключил такое, хи-хи, милое знакомство...

— Ах, как можно говорить такие вещи молодым девушкам, — смутился Подходцев.

И, чтобы скрыть свое смущение, засуетился: вынул из шкапчика коробку сардин, блюдо с холодными котлетами, сыр, хлеб и бутылку красного вина; быстро и ловко постлал скатерть и разложил приборы.

Гость сверкающими глазами следил за всем, что появлялось на столе. В ответ на пригласительный жест хозяина пододвинул к столу стул и сказал:

— Завтра же опять пойду на ту самую улицу...

— Зачем?

— Может быть, опять какое-нибудь животное наедет. Если всякая такая катастрофа несет за собой пир Валтасара...

— О, — засмеялся Подходцев, — мы постараемся найти для вас другую профессию, менее головоломную...

Громов поддел на вилку сардинку, понес ее ко рту и вдруг на полдороге застыл, выпучив глаза...

— Что с вами?..

— Ах я, идиотина!

— А, знаете, ей-Богу, не заметно!

— Ах, бревно я! Ведь вы очень спешили, когда на меня наехали?

— Очень. Я, видите ли, обещал извозчику по пятаку за каждую лошадь, которую мы обго...

— В том-то и дело!! Ведь вы спешили?

— Ну?

— И не доехали!

— Не доехал, — машинально повторил Подходцев.

— А если спешили, значит, по очень важному делу, а я вас запутал, и благодаря мне вы не попали в это место...

— А ведь в самом деле, я и забыл...

— Что ж теперь будет?! Может быть, вы еще успеете?

— Кой черт! Эта собака уже ушла из дому.

— Никогда не прощу себе этого... Дело спешное?

— Очень. Нужно было перехватить у Харченки пятьдесят рублей для квартиры и прочего. Ну, да черт с ним, выкручусь!

— Как же вы выкрутитесь?

— У меня светлая голова на этот счет. Да вот слышите? Кто-то бежит по лестнице... В этом этаже больше никого нет, значит, ко мне; спешит, значит, я ему нужен. А раз я ему нужен, он должен ссудить меня пятьюдесятью рублями. Я так прямо и скажу ему...

Дверь с треском распахнулась, и странный гость влетел в комнату, до того странный, что оба — и Подходцев, и Громов — инстинктивно поднялись со своих мест и придвинулись ближе друг к другу...

Это был молодой человек довольно грузного вида, с черными, коротко остриженными волосами и лицом в обыкновенное время смуглым, но теперь таким бледным, что черные блестящие глаза казались на фоне этого лица двумя маслинами в куске сливочного масла.

Но не это поразило двух новых приятелей. Поразил их костюм незнакомца... На ногах его, лишенных брюк, красовалось голубенькое щегольское трико, жилет отсутствовал совсем, а пиджак чудесным образом переместился с плеч владельца на одну из его рук, которая ходила ходуном от ужаса.

Отсутствие воротничка и галстука даже в слабой степени не могла заменить большая японская ваза, которую незнакомец держал в другой руке с явно выраженной целью самозащиты.

Увидев двух молодых людей, окаменевших от удивления, новопривывший, задыхаясь, опустился на кровать и прохрипел:

— Затворите дверь! На ключ.

Подходцев поспешил исполнить его желание, потом уселся верхом на стул, вперил свой спокойный взор в нового гостя и любезно сказал:

- Не хотите ли чего-нибудь закусить?
- Спасибо... Я уже тово... ел. Нельзя ли полстакана вина?
- Пожалуйста... Эта ваза вас, кажется, стесняет? Поставьте ее сюда. Ну, как вам нравится моя квартирка?
- Ничего, — пробормотал незнакомец, колотясь зубами о край стакана. — Нич... чего себе... У... уд... добная.
- Да, знаете. Теперь хорошую квартиру так трудно найти, — любезно заметил Подходцев, изнемогавший от приступа деликатности и упорно не замечавший более чем легкого костюма нового гостя.
- Вам не дует из окна? — участливо спросил Громов.
- Н... ничего. Я немного посижу и пойду себе... домой.
- Ну, куда вам спешить, — радушно воскликнул Подходцев. — Только что пришли и сейчас же уходить. Посидите!
- Я к вам зашел совершенно случайно...
- Помилуйте! Мы очень польщены... Позвольте, я вам помогу надеть пиджак на руки.

И едва новоприбывший надел с помощью Подходцева пиджак, как половина самообладания (вероятно, верхняя, если расчленить самообладание по частям костюма) вернулась к нему.

- А мы ведь не знакомы, — сказал он.
- Встал и расшаркался:

Глава IV ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЙ КЛИНКОВ

- Позвольте представиться: Клинков.
- Ага! А мы — Подходцев и Громов.
- Гость снова опустил на кровать и тоскливо прошептал:
- Вас, вероятно, очень удивляет мой костюм.
- Ничего подобного! — горячо воскликнул мягкосердечный Громов. — Это даже красиво. Голубой цвет вам удивительно к лицу.
- Клинков вдруг вскочил и с ужасом в глазах стал прислушиваться.
- Он, кажется, идет?!
- Кто, кто?
- Муж. Вы понимаете, он меня застал... Хотел, кажется, стрелять, я насилиу убежал...

— Если что меня и удивляет, — заметил Подходцев с самым непроницаемым видом, — так это японская ваза.

— О! Я схватил первое, что попало под руку. Я разбил бы ее об его голову, если бы он напал на меня. Я пробежал так три этажа, а он, кажется, гнался за мной... И если бы не подвернулась ваша квартира...

— Кстати! — хлопнул себя по лбу Подходцев. — У вас есть пятьдесят рублей?

— Нет... Двадцать есть. И еще мелочь.

— Мало, — призадумался Подходцев. — Не обернусь. Мне пятьдесят нужно.

— А вы продайте эту вазу, — подмигнул Клинков, очевидно совсем успокоившийся. — Ваза, кажется, не дешевая.

— Удобно ли? Ваза принадлежит любимой женщине...

— Пустяки! Ведь не буду же я возвращать им эту вазу: «Нате, мол, не ваша ли? По ошибке вместо шляпы захватил...» Да кроме того, я у них оставил своих вещей рублей на пятьдесят.

— Может быть, сходить за ними?

— Боже вас сохрани! Вы его наведете только на след. Это животное размахивает револьвером, будто это простая лайковая перчатка...

— Однако послушайте... Вы покинули на произвол судьбы женщину, оставили ее во власти этого зверя...

— Женщину?! — воскликнул Клинков тоном превосходства. — Вы, очевидно, не знаете женщин вообще, а ее в особенности. Женщина, предоставленная сама себе, от десяти мужей отвернется безо всякого ущерба.

И закончил тоном записного профессионала:

— Нет, нашему брату куда труднее.

— А все-таки вазу лучше вернуть, — нерешительно промямлил Подходцев.

— Боже вас сохрани! Произошла страшная, но красивая в своем трагизме драма. И вдруг вы ее будете опошлять возвратом какой-то вазы. Ну до вазы ли человеку, у которого сейчас сердце разбито, который разочаровался в женщинах. Продайте ее антиквару, и конец. А пока что — вот вам мои двадцать рублей.

— Позвольте! Они вам самим понадобятся. Вы можете послать на квартиру за другим костюмом и сегодня выйти на улицу. Вы где живете?

— Ах, не спрашивайте, — простонал Клинков.

— Почему?

— Я снимал комнату у сестры того человека, который хотел в меня стрелять...

— Ну?

— И я не могу теперь к ней показаться...

— Вот глупости! Какое ей, в сущности, дело? Муж живет здесь, сестра его в другом месте... Вы просто ее жилец...

— Да, «просто жилец»! Если она узнает от брата, что я ей изменил, она...

Раздался такой взрыв смеха, что даже мрачный Клинков повеселел.

— Вам смешно, а мне, ей-Богу, пока некуда деваться...

В его тоне было столько добродушной беспомощности, что подходцевское сердце растаяло.

— Э, чего там, право. Не вешайте носа. Есть у меня две кровати и диван. Ум хорошо, два лучше, три совсем великолепно, а так как вазой оплачивается целый будущий месяц, то... не будем омрачать наших горизонтов! Вот вам, Клинков, одеяло, подсаживайтесь к столу, вы, Громов, выньте из-за окна две новые бутылочки, а я, господа, поднимаю этот стакан за людей, которые не вешают носа!

— За что ж его вешать, — сказал Клинков, закутываясь в одеяло. — Это было бы жестоко. Мой нос, во всяком случае, этого не заслуживает.

Три стакана наполнились красной влагой, и эта влага была первым цементом, который так крепко спаял трех столь не похожих друг на друга людей.

Разные пути их вдруг причудливо скрестились, и эти три реки — одна тихая, меланхолическая (Громов), другая быстрая, прямая (Подходцев), а третья капризная, непостоянная (Клинков) — слились воедино и потекли отныне по одному руслу...

После третьего стакана было много хохота и возни (Подходцев в лицах представлял первое появление Клинкова), а после четвертого стакана Громов довольно искусно изобразил, как точильщик точит ножи, что навело Клинкова на мысль рассказать не совсем приличный анекдот.

И только ложась спать, все трое с некоторым удивлением отметили, что они как будто созданы друг для друга.

Вот так они и встретились — причудливо, неожиданно и не совсем обычно, с общепринятой точки зрения. Но такова и жизнь — причудливая, полная необычайностей и неожиданностей.

Глава V ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Большая пустынная комната, только по окраинам обставленная кое-какой мебелью, дремлет в сумерках. На одной из кроватей еле виден силуэт крепко спящего человека. То, что он крепко спит, чувствуется по его ровному дыханию и неподвижной позе.

И если бы к нему наклониться ближе, можно было бы увидеть, что во сне он улыбается. Так спать может только человек с чистой совестью.

Это Подходцев.

Его неразлучные товарищи по комнате в совместной жизни — Клинков и Громов — должны быть недалеко, потому что эта троица почти никогда не расстается...

Действительно, не успели еще сумерки сгуститься в темный весенний вечер, как на лестнице раздались два голоса — бархатный баритон Клинкова и звенящий тенор Громова:

— А я тебе говорю, что эта девушка все время смотрела на меня!

— Это ничего не доказывает! В паноптикумах публика больше всего рассматривает не красавицу Клеопатру со змеей, а душительницу детей Марианну Скублинскую!

Не найдя на это ответа, грузный Клинков сердито запыхтел и первым вошел в общую комнату, захлопнув дверь перед самым носом Громова.

— Пусти! — прозвенел Громов, налегая плечом на дверь.

— Проси прощенья, — прогудел голос Клинкова изнутри.

— Ну ладно. Прости, что я тебя назвал идиотом.

— Постой, да ведь ты меня не называл идиотом?

— Я подумал, но это все равно. Пусти! Если непустишь, встану завтра пораньше и зашью рукава в твоём пиджаке.

— Ну, иди, черт... С тебя станется.

Громов вошел, и тут же оба издали удивленное восклицание:

— Чего это он тут набросал на полу?

— Какие-то бумажки. Может быть, старые письма его возлюбленных...

— Или счета от несчастного портного...

— Или повестки от мирового...

Клинков поднял одну скомканную бумажку, расправил ее и вскрикнул:

— Господи Иисусе! Да ведь это деньги. Пятирублевая бумажка.

— И вот!

— И вот! Я слепну! Я задыхаюсь!

— Да тут их десятки!

— Сотни!

— Зачем он их разбросал тут?

— Я догадываюсь: он хочет нас поразить.

— Знаешь, давай сделаем вид, что мы ничего не замечаем.

— Идет. Эй, Подходцев! Не стыдно ль спать, когда цвет русской интеллигенции бодрствует?! Вставай!

Подходцев проснулся, спустил ноги с кровати, поглядел на бумажки, на спокойные лица товарищей и до глубины души удивился их равнодушию.

— Вы только сейчас вошли?

— Уже минут пять. А что?

— Вы ничего не замечаете?

— Нет. А что?

— На полу-то...

— Что ж на полу... Бумажки какие-то набросаны. Зачем ты соришь, ей-Богу? Что за неряшливость?

— Да вы поглядите, что это за бумажки!! — прогремел Подходцев.

Клинков поднял одну бумажку и в ужасе бросил ее.

— Ой! Деньги! И на них кровь.

— Подходцев... Он умер сразу или агония у него была мучительная?

— У кого?

— Кого ты убил и ограбил.

— Животное ты! Эти денежки чисты, как декабрьский снег!.. Оказывается, что три дня подряд я снился одной

из моих теток... И снился «нехорошо», как она пишет. Думая, что я болен или заточен в тюрьму, она и прислала мне ни с того ни с сего четыреста рублей.

— Что за достойная женщина!

— Завтра же, — сказал Клинков, — я приснюсь своей тетке.

— Да уж... Если бы это от тебя зависело, ты извел бы бедную старуху своими появлениями.

— Что ж ты думаешь делать с этими деньгами?

— Не я, а мы. Деньги общие.

— Нет! — твердо сказал Клинков. — Для общих денег это слишком большая сумма!..

— Но ведь я получил их благодаря вам.

— Каким образом?

— Тетке снилось, что я нехорошо живу. Результат — деньги. Теперь: если я действительно нехорошо живу, то благодаря кому? Благодаря вам. Значит, мы заработали эти деньги все вместе.

— Убийственная логика.

— Верно, за нее убить мало.

* * *

Три друга собрали деньги, разгладили их, положили на середину стола и, усевшись вокруг, принялись их рассматривать чрезвычайно пристально.

— Большие деньги, — покачал головой Громов. — Если начать на них пить — можно получить белую горячку, если есть — ожирение сердца и подагру, если тратить на красавиц — общее расстройство организма.

— Следовательно, нужно сделать на них что-нибудь полезное.

— Можно открыть кроличий завод. Выгодное дело!

— Или купить имение с образцовым питомником.

— Или нанять целиком доходный дом и отдавать его под квартиры.

— А почему ты молчишь, Громов?

— Мне пришла в голову мысль, — застенчиво произнес Громов.

— И как же она себя чувствует в этом пустом помещении?

— Мысль такая: давайте, господа, издавать сатирический журнал.

— Я могу только издать удивленный крик, — признался Подходцев, действительно ошеломленный.

— Но ведь это идея, — вдруг расцвел Клинков. — Вы знаете, а может быть, и не знаете, что я довольно недурно рисую карикатуры. Громов пишет прозу и стихи.

— А что же я буду делать? — ревниво спросил Подходцев.

— Ты? Издательская и хозяйственная часть.

— Это будет чрезвычайно приятный журнал.

— И полезный в хозяйстве, — добавил Подходцев, кусая ус.

— Почему?

— Как средство от мух.

— Не понимаю.

— Мухи будут дохнуть от ваших рисунков и стихов.

— Берегись, Подходцев! Мы назовем свой журнал «Апельсин», и тогда ты действительно ничего в нем не поймешь.

— Пойдите, пойдите, — вскричал Громов, сжимая голову руками. — «Апельсин»... А, ей-Богу, это недурно. Звучно, запоминается и непретенциозно!

— По-моему, тоже, — хлопнул тяжелой рукой по столу Клинков. — Это хорошо: «Газетчик, дайте мне «Апельсин»!»

Громов вскочил, схватил с дивана подушку, приложил ее, как сумку, к своему боку и, приняв позу газетчика, ответил густым басом:

— «Апельсинов» уже нет — все распроданы.

— Что ж ты, дубина, не берешь их больше?

— Да я взял много, но сейчас же все расхватили. Поврите — с руками рвут.

— А ты мне не можешь ли где-нибудь достать старый номер?

— Трудновато. За рубль — пожалуй.

— Три дам, только достань.

— Слушаю-с, ваше сиятельство.

Эта наглядная интермедия произвела на колебавшегося Подходцева глубокое впечатление.

— Действительно, издавать журнал прелюбопытно. А книжные магазины тоже будут продавать?

— Конечно! — вскричал Клинков. И обратился к Громову: — Скажите, приказчик книжного магазина, у вас имеется «Апельсин»?

Громов зашел за стол, изображавший собою прилавок, и, изогнувшись, ответил:

— «Апельсин»? Сколько номеров прикажете?

— Десять. Хочу послать своей племяннице, брату, еще кое-кому.

— У нас осталось всего три штуки...

— О, добрый приказчик! Дайте мне десять номеров.

— Не могу, — сухо ответил Громов, — на вас не напа-сешься.

— О, многомилостивый торговец! Сжальтесь надо мной... Жена запретила мне являться домой без десяти номеров «Апельсина».

— Или берите три, или проваливайте.

Клинков упал на колени и, протягивая молитвенно руки, завопил:

— Я утоплюсь, если вы не дадите мне десяти номеров. О, спасите меня!..

И, встав с колен, отряхнул пыль с брюк, обернулся к Подходцеву и сказал другим, более спокойным тоном:

— Так будет в книжных магазинах.

— Значит, публика, по-вашему, заинтересуется им?

— Публика? — подхватил Клинков. — Я себе рисую такую картину...

Он снова упал перед Громовым на колени и, протягивая к нему руки, простонал:

— Марья Петровна! Я люблю вас, будьте моей.

— Хорошо, — пропищал Громов, кокетливо обмахиваясь подушкой.

— Мы будем так счастливы... Будем по вечерам читать «Апельсин».

— А что такое «Апельсин»? — снова пропищал Громов, скорчив бессмысленную физиономию.

— А-а! — свирепо зарычал Клинков. — Вы, Марья Петровна, не знаете — что такое «Апельсин»?! В таком случае — черт с вами! Отказываюсь от вас! Навсегда!

— Ах! — вскрикнула «Марья Петровна» и в обмороке упала Подходцеву на руки.

Такая блестящая иллюстрация успеха и значения журнала рассеяла последние колебания Подходцева.

— А денег у нас хватит? — спросил этот деловой малый.

— Конечно! Полтораста — за бумагу, столько же — типографии, пятьдесят — на клише и остальное на мелкие расхды. Первый же номер даст рублей двести прибыли.

— Evviva, «Apelsino»! — вскричал Клинков. — Господин издатель! Дайте сотруднику десять рублей аванса.

Подходцев развалился на стуле и снисходительно поглядел на Клинкова.

— Ох уж эти мне сотрудники. Все бы им только авансы да авансы. Ну, нате, возьмите. Только чтобы это было последний раз. И, пожалуйста, не запоздайте с материалом.

Клинков сунул деньги в карман и шаркнул ногой:

— Заведующий художественной частью журнала «Апельсин» приглашает редактора и издателя в ближайший ресторан откусать хлеба-соли, заложив этим, как говорится, фундамент.

Поднимаясь в три часа ночи по лестнице, редакция журнала «Апельсин» делала не совсем уверенные шаги и хором пела следующую не совсем складную песню:

Мать и брат, отец и сын,
Все читают «Апельсин»
Нищий, дворник, кардинал —
Все читают наш журнал.

А Громов добавлял соло:

Кто же не читает,
Тот —
Идиот,
В «Апельсинах» ничего не понимает!

Глава VI ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

Подходцев с утра до вечера носился по типографиям, продавцам бумаги и цинкографиям...

А ночью ему тоже не было покоя.

Будил его заработавшийся за столом Громов:

— Слушай, Подходцев... Ты извини, что я тебя разбудил... Ничего?

— Да уж черт с тобой... Все равно проснулся. Что надо?

— Скажи, хорошая рифма — «водосточная» и «уполномоченная».

— Нет, — призадумавшись, отвечал Подходцев. — Поставь что угодно, но другое: восточная, неурочная, молочная, сочная, потолочная...

— Спасибо, милый. Теперь спи.

Будил и Клинков.

— Подходцев, проснись.

— Что тебе надо?!

— Сними на минутку рубашку.

— Что ты — сечь меня хочешь? — стонал уставший за день Подходцев.

— Нет, мне нужно зарисовать друглавый мускул. У меня тут в карикатуре борец участвует.

— Попроси Громова.

— Ну, нашел тоже руку... У него кочерга, а не рука...

— О, чтоб вас черти... Ну, на, рисуй скорей.

— Согни руку так... Спасибо, дружище. А может, ты бы встал и надел ботинки?.. У тебя такие красивые. Я рисую светскую сценку, и одна нога у меня какая-то вымученная.

— О, чтоб вы...

А с другой стороны доносился заискивающий голос Громова:

— Подходушка, можно выразиться: «ее розовые губки усмехнулись»?

— Можно! Выражайся. Если вы меня еще раз разбудите — я тоже выражусь!..

Работа кипела.

* * *

В одной из комнат типографии лежал правильными пачками свежий, только что вышедший номер «Апельсина».

Это был великий день для трех товарищей. Десятки раз они хватались за номер, перелистывали его, даже внюхивались в запах типографской краски:

— А, ей-Богу, хорошо пахнет. По-моему, прекрасный номер. И рисунки хлесткие, и текст. Хе-хе...

Первый газетчик, который явился за десятком номеров, вызвал самые бурные овации трех друзей.

— Газетчик. Здравствуйте, дружище! У вас давно такое симпатичное лицо?

— А глаза! Прекрасные серые глаза.

— А голос! Если таким голосом сказать покупателю: «Вот, купите этот прекрасный журнал под названием «Апельсин», — то всякий разорится, а купит!

— Вы, газетчик, держите его на виду. Он оранжевый, и этот цвет даст такие чудесные рефлексы на вашем лице, что вы покажетесь вдвое красивее...

Распропагандировав таким образом нескольких газетчиков, вся редакция высыпала на улицу и отправилась бродить по самым людным местам.

У всех троих в руках красовались номера «Апельсина»... Подходцев шел впереди, делая вид, что читает журнал, и время от времени раздражался громким демонстративным смехом.

— Ну и чудачки же! Господи, до чего это смешно.

А Климов и Громов, шагая сзади и стараясь запутаться в толпу гуляющих, беседовали громче, пожалуй, чем нужно:

— Это новый номер «Апельсина»?

— Да.

— Скажите, это хороший журнал?

— О, прекрасный! Его так расхватывают, что к вечеру, пожалуй, ни одного номера не будет...

— Что вы говорите! Это безумие! Сейчас же побегу, куплю.

— О-ой, — надрывался впереди Подходцев. — Ой, уморили! Ну и юмористы же!

На него поглядывали с некоторым удивлением.

— Читали? — интимно подмигнул он какому-то солидному господину в золотых очках.

— Нет, не читал.

— Напрасно. Такое тупое лицо от чтения хоть немного бы прояснилось.

— Виноват...

— Бог подаст! Я на улице не занимаюсь благотворительностью.

— Как вы смеете?!

Но Подходцев был уже далеко, догоняя ушедших вперед Громова и Климова и крича им во все горло:

— Читали новый журнал? Замечательный!

— Как же, как же! Говорят, на Казачьей улице одного газетчика убили и ограбили у него все номера «Апельсина». В некоторых местах уже по рублю продают! В книжных магазинах уже нет!

— Да, — тихо прошептал Подходцев... — Еще бы! В книжных магазинах нет, потому что эти свиньи не берут. Нам, говорят, журналы не интересны.

— Не берут, — еще тише прошептал Клинков. — А мы их заставим!

И скоро стройная организация пошла в обход по всем магазинам.

Первым входил Клинков.

— Есть у вас журнал «Апельсин»?

— Нет, не держим.

— А селедки у вас есть?

— Что-о?

— Да ясно: раз в книжном и журнальном магазине нет журналов — этот магазин, по логике, должен торговать селедками.

Постепенно он разгорячался.

— Как не стыдно, право! Весь город только и говорит что о журнале, а они, извольте видеть, не держат! А мыло, свечи, гвозди — есть у вас?! Тьфу!

И уходил, хлопнув дверью и вызвав великий восторг и сенсацию среди скучающих покупателей...

Через пять минут входил Громов:

— Есть... «Апельсин»? — спрашивал он умирающим голосом. — С утра хожу, ищу.

— Нет, извините...

Пошатнувшись, он издавал глухой стон и падал на стойку в глубоком обмороке... Его отпаивали водой, утешали как могли, обещали, что завтра журнал у них будет, и Громов уходил, предварительно взяв клятву, что его не обманут — усталого доверчивого бедняка...

Через пять минут после него являлся Подходцев.

— Имею честь представиться: управляющий главной конторой журнала «Апельсин»... Хотя вы и отвергли наше телефонное предложение...

— Собственно, мы... гм! Не знали журнала... Теперь, ознакомившись... Вы нам пока десяточка три-четыре пришлите...

Около последнего из намеченных магазинов собрались все трое. Решили устроить самую внушительную демонстрацию, потому что магазин был большой и публики в нем всегда толклось много.

Все трое вошли плечо к плечу, все трое хором спросили: «Есть ли у вас «Апельсин», и все трое, услышав отрицательный ответ, в беспамятстве повалились на прилавок.

Впечатление было потрясающее.

Глава VII КОНЕЦ ПРЕДПРИЯТИЯ

На следующее утро приступили к составлению второго номера.

Подходцев позировал Клинкову для спины Зевса-громовержца, а Громов тщетно подбирал рифму к слову «барышня».

— Поставь вместо барышни девушку, — участливо посоветовал Подходцев.

— А на девушку, думаешь, есть рифма, — пробормотал Громов и вдруг задрожал: в открытых по случаю духоты дверях стоял околоточный.

— Вы не туда попали, — нерешительно заметил Громов.

— Здесь живет Громов?

— В таком случае вы туда попали. Подходцев! Ведь мы вчера не были пьяны! И не скандалили?

— Нет!

— Так чем же объяснить появление этого вестника горя и слез?

Все трое встали, сдвинулись ближе.

— Вот вам тут бумага из управления. По распоряжению г. управляющего губернией издание сатирического журнала «Апельсин» за его вредное антиправительственное направление прекращается.

Трое пошатнулись и, не сговариваясь, как по команде упали на пол в глубоком обморочном состоянии.

Это была наглядная аллегория падения всего предприятия, так хорошо налаженного.

Околоточный пожал плечами, положил роковую бумагу на пол и, ступая на носках, вышел из комнаты.

— Почему ты, Клинков, — переворачиваясь на живот, с упреком сказал Подходцев, — не предупредил меня, что мы живем в России.

— Совсем у меня это из головы вон.

— Ну, что ж... Теперь, если приснюсь тетке — буду умнее.

Громов несмело сказал:

— Что ж, господа... Если праздновали рождение — отпразднуем и смерть «Апельсина»...

* * *

В этот день пили больше, чем обыкновенно.

Глава VIII ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК, ВСТРЕЧЕННЫЙ ПО-ХРИСТИАНСКИ

Все проснулись на своих узких постелях по очереди... Сначала толстый Клинков, на нос которого упал горячий луч солнца, раскрыл рот и чихнул так громко, что гитара на стене загудела в тон и гудела до тех пор, пока спавший под ней Подходцев не раскрыл заспанных глаз.

— Кой черт играете по утрам на гитаре? — спросил он недовольно.

Его голос разбудил спавшего на диване третьего сонливца — Громова.

— Что это за разговоры, черт возьми, — закричал он. — Дадите вы мне спать или нет?

— Это Подходцев, — сказал Клинков. — Все время тут разговаривает.

— Да что ему надо?

— Он уверяет, что ты недалекий человек.

— Верно, — пробурчал Громов, — настолько я недалек, что могу запустить в него ботинком.

Так он и поступил.

— А ты и поверил? — вскричал Подходцев, прячась под одеяло. — Это Клинков о тебе такого мнения, а не я.

— Для Клинкава есть другой ботинок, — возразил Громов. — Получай, Клинище!

— А теперь, когда ты уже расшвырял ботинки, я скажу тебе правду: ты не недалекий человек, а просто кретин.

— Нет, это не я кретин, а ты, — сказал Громов, не подкрепляя, однако, своего мнения никакими доказательствами...

— Однако вы тонко изучили друг друга, — хрипло рассмеялся толстяк Клинков, который всегда стремился сравнить двух друзей и потом любовался издали на их препирательства. — Оба кретины. У людей знакомые бывают на крестинах, а у нас на крестинах. Хо-хо! Подходцев, если у тебя есть карандаш, запиши этот каламбур. За него в том журнале, где я сотрудничаю, кое-что дадут.

— По тумачу за строчку — самый приличный гонорар. Чего это колокола так раззвонились? Пожар, что ли?

— Грязное невежество: не пожар, а Страстная суббота. Завтра, милые мои, Светлое Христово Воскресенье. Конечно, вам все равно, потому что души ваши давно проданы дьяволу, а моей душеньке тоскливо и грустно, ибо я принужден проводить эти светлые дни с отбросами каторги. О, мама, мама! Далеко ты сейчас со своими куличами, крашеными яйцами и жареным барашком. Бедная женщина!

— Действительно, бедная, — вздохнул Подходцев. — Ей не повезло в детях.

— А что, миленькие: хорошая вещь — детство. Помню я, как меня наряжали в голубую рубашечку, бархатные панталоны и вели к Плащанице. Постился, говел... Потом ходили святить куличи. Удивительное чувство, когда священник впервые скажет: «Христос Воскресе!»

— Не расстраивай меня, — простонал Громов, — а то я заплачу.

— Разве вы люди? Вы свиньи. Живем мы, как черт знает что, а вам и горюшка мало. В вас нет стремления к лучшей жизни, к чистой, уютной обстановке — нет в вас этого. Когда я жил у мамы, помню чистые скатерти, серебро на столе.

— Ну, если ты там вертелся близко, то на другой день суп и жаркое ели ломбардными квитанциями.

— Врете, я чистый, порядочный юноша. А что, господа, давайте устроим Пасху, как у людей. С куличами, с накрытым столом и со всей вообще празднично-буржуазной, уютной обстановкой.

— У нас из буржуазной обстановки есть всего одна вилка. Много ли в ней уюта?

— Ничего, главное — стол. Покрасим яйца, испечем куличи...

— А ты умеешь?

— По книжке можно. У нас две ножки шкафа подперты толстой поваренной книгой.

— Здорово удумано, — крикнул Подходцев. — В конце концов, что мы, не такие люди, как все, что ли?

— Даже гораздо лучше.

* * *

Луч солнца освещал следующую картину: Подходцев и Громов сидели на полу у небольшой кадочки, в которую было насыпано муки чуть ли не доверху, и ожесточенно спорили.

Сбоку стояла корзина с яйцами, лежали кусок масла, ваниль и какие-то таинственные пакетики.

— Как твоя бедная голова выдерживает такие мозги, — кричал Громов, потрясая поваренной книгой. — Откуда ты взял, что ваниль распустится в воде, когда она — растение.

— Сам ты растение дубовой породы. Ваниль не растение, а препарат.

— Препарат чего?

— Препарат ванили.

— Так... Ваниль — препарат ванили. Подходцев — препарат Подходцева. Голова твоя — препарат телячьей головы...

— Нет, ты не кричи, а объясни мне вот что: почему я должен сначала «взять лучшей крупитчатой муки 3 фунта, развести 4-мя стаканами кипяченого молока», проделать с этими 3-мя фунтами тысячу разных вещей, а потом, по словам самоучителя, «когда тесто поднимется, добавить еще полтора фунта муки»? Почему не сразу 4 фунта?

— Раз сказано, значит, так надо.

— Извини, пожалуйста, если ты так туп, что принимаешь всякую печатную болтовню на веру, то я не таков! Я оставляю за собой право критики.

— Да что ты, кухарка, что ли?

— Я не кухарка, но логически мыслить могу. Затем — что значит, «30 желтков, растертых добела»? Желток есть желток, и его, в крайнем случае, можно растереть дожелта.

Громов подумал и потом высказал робкое, нерешительное предположение:

— Может, тут ошибка? Не «растертые» добела, а «раскаленные» добела?

— Знаешь, ты, по-моему, выше Юлия Цезаря по своему положению. Того убил Брут, а тебя сам Бог убил. Ты должен отойти куда-нибудь в уголок и там гордиться. Раскаленные желтки! А почему тут сказано о «растопленном, но остывшем сливочном масле»? Где смысл, где логика? Понимать ли это в том смысле, что оно жидкое, но холодное или что оно должно затвердеть? Тогда зачем его растапливать? Боже, Боже, как это все странно!

Дверь скрипнула в тот самый момент, когда Громов, раздраженный туманностью поваренной книги, вырвал из нее лист «о куличах» и бросил его в кадочку с мукой.

— На! Теперь это все перемешай!

... Дверь скрипнула, и на пороге появился смущенный Клинков. Не входя в комнату и пытаясь заслонить своей широкой фигурой что-то, прятавшееся сзади его и увенчанное красными перьями, он разочарованно пролепетал:

— Как... вы уже вернулись? А я думал, что вы еще часок прошатаетесь по рынку.

— А что? Да входи... Чего ты боишься?

— Да уж лучше я не войду...

— Да почему же?

За спиной Клинкова раздался смех, и красные перья закачались.

— Вот видишь, — сказал женский голос. — Я тебе говорила — не надо. Такой день нынче, а ты пристал — пойдем да пойдем!.. Ей-Богу, бесстыдник.

— Клинков, Клинков, — укоризненно воскликнул Подходцев. — Когда же ты наконец перестанешь распутничать? Сам же затеял это пасхальное торжество и сам же среди бела дня приводишь жрицу свободной любви...

— Нашли жрицу, — сказала женщина, входя в комнату и осматриваясь. — Со вчерашнего дня жрать было нечего.

— Bravo! — закричал Клинков, желая рассеять общее недовольство. — Она тоже каламбурит!! Подходцев, запиши — продадим.

— У человека нет ничего святого, — сурово сказал Громов. — Сударыня, нечего делать, присядьте, отдохните, если вы никуда не спешите.

— Господи! Куда же мне спешить, — улыбнулась эта легкомысленная девица. — Куда, спрашивается, спешить, если меня хозяйка вчера совсем из квартиры выставила?

— Весна — сезон выставок, — сострил Клинков, снимая пальто. — Подходцев, запиши. Я разорю этим лучшую редакцию столицы. Ах, как мне жаль, Маруся, что я не могу оказать вам того гостеприимства, на которое вы рассчитывали.

— Уйдите вы, — сердито сказала Маруся, нерешительно присаживаясь на кровать. — Ни на что я не рассчитывала. Отдохну и пойду.

Взгляд ее упал на кадочку с мукой, и она широко раскрыла глаза.

— Ой! Это что вы, господа, делаете?

— Куличи, — серьезно ответил Громов, поднимая измазанное мукой лицо. — Только у нас, знаете ли, не ладится...

— Видишь ли, Маруся, — важно заявил Клинков. — Мы решили отпраздновать праздник святой Пасхи по-настоящему. Мы — буржуи!

Маруся встала, осмотрела кадочку и сказала чрезвычайно озабоченно:

— Эй, вы! Кто ж так куличи делает. Высыпайте обратно муку. Хотите, я вам замешу?

Громов удивился.

— Да разве вы умеете?

— Вот тебе раз! Да как же не уметь!

— Уважаемая, достойная Маруся, — обрадовался совершенно измученный загадочностью поварской книги Подходцев. — Вы нас чрезвычайно обяжете...

Увидев такой оборот дела, сконфуженный сначала Клинков принял теперь очень нахальный вид. Заложил руки в карманы и процедил сквозь зубы:

— Теперь вы, господа, понимаете, для чего я ее привел?

— Лучше молчи, пока я тебя не ударил по голове этой лопаткой. По распущенности ты превзошел Гелиогабала!

— Да, пожалуй... — подтвердил самодовольно Клинков. — Во мне сидит римлянин времен упадка.

— Нечего сказать, хорошенькое помещение он себе выбрал. Разведи-ка в этой баночке краску для яиц.

Римлянин времен упадка покорно взял пакетики с краской и отошел в угол, а Подходцев и Громов, предоставив гостю все куличные припасы, стали суетиться около стола.

— Накроем пока стол. Скатерть чистая есть?

— Вот есть... Какая-то черная. Только на ней, к сожалению, маленькое белое пятно.

— Милый мой, ты смотришь на эту вещь негативно. Это белая скатерть, но сплошь залитая чернилами, кроме этого белого места. И, конечно, залил ее Клинков. Он всюду постарается.

— Да уж, — отозвался из угла Клинков, поймавший только последнюю фразу. — Я всегда стараюсь. Я старательный. А вы всегда на меня кричите. Вон Марусю привел. Маруся, поцелуй меня.

— Уйди, уйди, не лезь. Заберите его от меня, или я его вымажу тестом.

Вдруг Подходцев застонал.

— Эх, черррт! Сломался!

— Что?

— Ключ от сардинок. Я попробовал открыть.

— Значит, пропала коробка, — ахнул Громов. — Теперь уж ничего не сделаешь. Помнишь, у нас тоже этак сломался ключ... Мы пробовали открыть ногтями, потом стучали по коробке каблуками, бросали на пол, думая, что она разобьется. Исковеркали — так и пропала коробка...

— И глупо, — отозвался Клинков. — Я тогда же предлагал подложить ее на рельсы, под колесо трамвая. В этих случаях самое верное — трамвай.

— Давайте я открою, — сказала озабоченная Маруся, отрываясь от места.

— Видите, какая она у меня умница, — вскричал Клинков. — Я знал, что с сардинами что-нибудь случится, и привел ее.

— Отстань! Подходцев, режь колбасу. Знаешь, можно ее этакой звездочкой разложить. Красиво!

— Ножа нет, — сказал Подходцев.

— Можно без ножа, — посоветовал Клинков. — Взять просто откусить кусок и выплюнуть, откусить и выплюнуть. Так и нарежем.

— Ничего другого не остается. Кто же этим займется?
Клинков категорически заявил:

— Конечно, я.

— Почему же ты, — поморщился Подходцев. — Уж лучше я.

— Или я!

— Неужели у вас нет ножа? — удивилась Маруся.

Подходцев задумчиво покачал головой.

— Был прекрасный нож. Но пришел этот мошенник Харченко и взял его якобы для того, чтобы убить свою любовницу, которая ему изменила. Любовницы не убил, а просто замошенничал ножик.

— И штопор был; и штопора нет.

— Где же он?

— Неужели ты не знаешь? Клинков погубил штопор; ему, после обильных возлияний, пришла на улице в голову мысль: откупорить земной шар.

— Вот свинья-то. Как же он это сделал?

— Вынул штопор и стал ввинчивать в деревянную трюарную тумбу. Это, говорит, пробка, и я, говорит, откупорю земной шар.

— Неужели я это сделал? — с сомнением спросил Клинков.

— Конечно. На прошлой неделе. Уж я не говорю о рюмках — все перебиты. И перебил Клинков.

— Все я да я... Впрочем, братцы, обо мне не думайте: я буду пить из чернильницы.

— Нет, чернильница моя, — ты можешь взять себе пельницу. Или сделай из бумаги трубочку.

* * *

Маруся с изумлением слушала эти странные разговоры; потом вытерла руки о фартук, сооруженный из наволочки, и, взяв карандаш и бумагу, молча стала писать...

— Каламбур записываешь? — спросил Клинков.

— Я записала тут, что купить надо. Вилки, ножей, штопор, рюмки и тарелки. Покупайте посуду, где брак, — там дешевле... Всего рубля на четыре выйдет.

— Дай денег, — обратился Клинков к Подходцеву.

— Что ты, милый? Я последние за муку отдал.

— Ну, ты дай.

— Я тоже все истратил. Да ведь у тебя должны быть?

Клинков смущенно приблизил бумагу к глазам и сказал:

— Едва ли по этой записке отпустят.

— Почему?

— Тарелка через «ять» написана. Потом «перид» через «и». Такого перца ни в одной лавке не найдешь.

— Клинков! — сурово сказал Подходцев. — Ты что-то подозрительно завертелся! Куда ты дел деньги, а?

— Никуда. Вон они. — Видишь — пять рублей.

— Так за чем же остановка?

— Видите ли, — смутился Клинков. — Я думаю, что эти деньги... я... должен... отдать... Марусе..

— Мне? — искренно удивилась Маруся. — За что?

— Ну... ты понимаешь... по справедливости... я же тебя привел... оторвал от дела...

— И верно! — сухо сказал Подходцев. — Отдай ей.

Маруся вдруг засуетилась, сняла с себя фартук, одернула засученные рукава, схватила шляпу и стала надевать ее дрожащими руками.

— До свиданья... я пойду... я не думала, что вы так... А вы... Скверно! Стыдно вам.

— Подходцев дурак и Клинков дурак, — решительно заявил Громов. — Маруся! Мы вас просим остаться. Деньги эти, конечно, пойдут на покупку ножей и прочих тарелок, и я надеюсь, что мы вместе разговеемся, мы с вами куличом, а эти два осла — сеном.

— Ура! — вскричал Клинков. — Дай я тебя поцелую.

— Отстаньте... — улыбнулась сквозь слезы огорченная гостья. — Вы лучше мне покажите, где печь куличи-то.

— О, моя путеводная звезда! Конечно, у хозяйки! У нее такая печь есть, в которой даже нас, трех отроков, можно изжарить. Мэджи! Вашу руку, достойнейшая, — я вас провожу к хозяйке.

Когда они вышли, Громов сказал задумчиво:

— В сущности, очень порядочная девушка.

— Да... А Клинков осел.

— Конечно. Это не мешает ему быть ослом. Как ты думаешь, она не нарушит ансамбля, если мы ее попросим освятить в церкви кулич и потом разговестись с нами?

— Почему же... Ведь ты сам же говорил, что она порядочная девушка.

— А Клинков осел. Верно?

— Клинков, конечно, осел. Смотреть на него противно.

А поздно ночью, когда все трое, язвя, по обыкновению, друг друга, валялись одетые в кроватях в ожидании свяченого кулича, кулич пришел под бодрый звон колоколов — кулич, увенчанный розаном и несомый разругавшейся Марусей, «вторым розаном», как ее галантно назвал Клинков.

Друзья радостно вскочили и бросились к Марусе. Она степенно похристосовалась с торжественно настроенными Подходцевым и Громовым, а с Клинковым отказалась, на том основании, что он не умеет целоваться как следует.

— Да, — хвастливо подмигнул распутный Клинков. — Мои поцелуи не для этого случая. Не для Пасхи-с! Хе-хе! Позвольте хоть ручку.

Желание его было исполнено не только Марусей, но и двумя товарищами, сунувшими ему под нос свои руки.

Этой шуткой торжественность минуты была немного нарушена, но, когда уселись за стол и чокнулись вином из настоящих стаканов, заедая настоящим свяченым куличом, снова праздничное настроение воцарилось в комнате, освещенной лучами рассвета.

— Какой шик! — воскликнул Клинков, ощупывая новенькую, накрахмаленную скатерть. — У нас совсем как в приличных буржуазных домах.

— Да... настоящая приличная чопорная семья на четыре персоны!

И все четверо серьезно кивнули головами, упустив из виду, что никогда приличная чопорная семья не допустит сидеть за одним столом с собою безработную проститутку.

Глава IX НЕХОРОШИЙ ХАРЧЕНКО

Это была очень печальная осень: мокрая, грязная и безденежная...

Сидя верхом на стуле, Подходцев говорил:

— Безобразие, которому имени нет. Свет изменился к худшему. Все проваливается в пропасть, народ нищает, все ка-

питалы скопляются в руках нескольких лиц, а мы не имеем даже пяти рублей, чтобы принять и угостить как следует нашего дорогого гостя.

«Дорогой гость» Громов лежал тут же, на кровати.

Сейчас же после Пасхи — «первой буржуазной Пасхи», как называл ее Клинков, Громов уехал на завод, летним практикантом. Все лето Подходцев и Клинков вели жизнь сиротливую, унылую, забрасывали «практиканта» письмами, наполненными самыми чудовищными советами, наставлениями и указаниями по поводу ведения дел на заводе, заклинали Громова возвратиться поскорей, а в последнем письме написали, что доктора приговорили Клинкова к смерти и что приговоренный хотел бы испустить последний вздох на груди друга («Если грудь у тебя еще не стерлась от работы» — добавлял Подходцев...) Этого Громов не мог больше выдержать: ликвидировал свои заводские дела и вихрем прилетел в теплое гнездо. Случилось так, что к моменту его приезда все средства друзей пришли в упадок, и только этим можно было объяснить ту мрачную окраску, которую принял разговор. Выслушав Подходцева, Громов сделал рукой умиротворяющий жест и добродушно сказал:

— О, стоит ли обо мне так заботиться... Пара бутылок шампанского, котлетка из дичи да скромная прогулка на автомобиле — и я совершенно буду удовлетворен.

Подходцев, не слушая его, продолжал плакаться.

— Что делать? Где выход? Впереди зияющая бездна нищеты, сзади — разгул, пороки и кутежи, расстроившие мое здоровье...

— Чего ты, собственно, хочешь? — спросил его, кусая ногти, толстый Клинков.

— Я хотел бы и дальше расстраивать свое здоровье кутежами.

— Что-то теперь делает этот болван Харченко? — вспомнил Клинков.

— Ты говоришь об этом жирном пошляке Харченко?

После этого Клинков и Подходцев принялись ругать Харченко. Стоило им только вспомнить о Харченко, как они принимались его ругать. Ругать Харченко был хороший тон компании, это был клапан, с помощью кото-

рого облегчалось всеобщее раздражение и негодование на жизнь.

— Жирная, скупая свинья!

— Богатый, толстокожий хам.

— Конечно, это ясно. Он пользуется нашим обществом бесплатно.

— Давай брать с него по пяти рублей за встречу, — предложил Клинков.

— Или лучше — полтора рубля в час. По таксе, как у посыльных.

— Это баснословно дешево. Подумать — такое общество.

— Кто Харченко? — спросил гость Громов.

— Харченко? О-о, это штука. Мы с ним за лето успели познакомиться как следует и уже хорошо изучили... Папенькин сынок, недалекий парень. Ему отец присылает триста рублей в месяц, и он проживает все это один, тайком, прячась от друзей, попивая в одиночестве дорогие ликеры, покуривая сигары и закатывая себе блестящие пиры. Он любит нас, потому что мы веселые, умные, щедрые, когда есть деньги, люди... Он частенько вползает в нашу компанию, но как только у компании деньги исчерпаны — он выползает из компании.

— Так он, значит, нехороший человек?

— Да, Громов. Нехороший.

— Так... Нехороших людей надо наказывать. Сведите меня к нему, познакомьте. Устроим ему какую-нибудь неприятность.

— Следует. Ты обратил внимание, Клинков, что в компанию к нам он всегда лезет, наше изящное, остроумное общество забавляет его, а как только дело коснется того, чтобы выпить с нами бутылочку винца и погулять в тот период, когда мы «в упадке», — он сейчас же назад.

— Давай надуем его. Скажем, что ты англичанин и ни слова не понимаешь по-русски. Пусть помучается.

— Слабо, — возразил Громов. — Пойдите.

Он встал и сжал руками голову так крепко, что в ней родилась мысль... Он сказал:

— Вот что ему нужно сделать...

Глава X ПЕРВОЕ НАКАЗАНИЕ ХАРЧЕНКИ

Харченко занимал маленький особняк из трех комнат, с парадным входом на Голый переулок. Переулок этот кончался каким-то оврагом, заросшим сорной травой, и «вообще», как говорил Подходцев, «это место пользовалось дурной славой, потому что здесь жил Харченко...»

Шли шумно, весело, в ногу, громко, на удивление прохожих, напевая какой-то солдатский марш.

Харченко был дома.

— Здравствуй, Витечка, — ласково приветствовал его Подходцев. — Как твоё здоровье?

— А-а, веселые ребята! Здравствуйте. Чайку хотите?

— Ты нас извини, Витя, но мы к тебе с одним человеком. Вот, познакомьтесь.

Харченко протянул Громову руку; тот схватил ее, крепко сжал и неожиданно залепетал:

— А-бб-а... Мму...

— Что это он? — испугался Харченко.

— Глухонемой. Ты его не бойся, Витя. Он из Новочеркасска приехал.

— Да зачем вы его привели ко мне?

— А куда его девать? Второй день как пристал к нам — вот возимся.

— Вот несчастный, — сказал сострадательно Харченко, осматривая Громова. — Неужели ничего не понимает?

— Ни крошечки.

— Гм... И глаза у него мутные-мутные. Совершенно бессмысленные. И ему тоже дать чаю?

— И ему дай. Только ты с ним, Витя, не особенно церемонься... Налей ему чаю в какую-нибудь коробочку и поставь в уголку. Он ведь как животное — ничего не соображает.

— А он... не кусается? — спросил, морщась, Харченко.

— Ну, Витенька... Ты форменный глупец... Где же это видно, чтобы глухонемые кусались? Ты только не дразни его.

— Черт знает! Очень нужно было приводить его. Эй, ты!.. А-бб-а! Иди сюда. Куш тут.

Харченко был действительно человеком без стыда и совести... Он налил чаю в большую чашку с отбитым краем,

бросил в нее кусок сахара и поставил в уголку на стуле, указав на нее Громову.

— А-вввв-в... Хххх... — залепетал беспомощно Громов и замахал руками перед лицом Харченки.

— Что он?! — закричал испуганно Харченко.

— Сахару ему мало положил. Не скупись, Витя. Разве ты не знаешь, что глухонемые страшно любят сахар?

Как будто в подтверждение этих слов, Громов подскочил к столу, запустил руку в сахарницу и, вытащив несколько кусков, набил ими рот и карманы.

— Видишь? — прищурился Подходцев.

— Да что это вы, братцы, — возмутился Харченко, — привели черт знает кого!.. Скажи ему, Подходцев, чтобы он сидел смирно и пил свой чай.

— А-бб-а! — закричал Подходцев, давая Громову пинок. — Ты! Сиди там! Куш! Пей это... чай... понимаешь? Дубье новочеркасское!

Громов покорно отошел в уголок, сел на пол и, склонив голову, стал тянуть из своей громадной чашки чай. Нерастаявшие куски сахара вылавливал руками и, причмокивая, ел с громким хрустеньем.

— Форменная обезьяна, — покачал головой Харченко и обратился к Подходцеву: — Что поделяваете, ребята?

— Ничего, Витечка. Занимаемся, книжечки читаем, по бульварчикам гуляем, котлетки в ресторанчиках кушаем.

Замолчали. Наступила многозначительная пауза. Подходцев вдруг крикнул и спросил с места в карьер, безо всяких приготовлений:

— Скажи, Витечка, ты никогда не травил мышей?

— Не травил, — отвечал Харченко. — А что?

— Да, понимаешь, завелись у нас в квартире мыши. Купил я сейчас отравы, а как им ее давать — не знаю.

— А какая отравы?

— Да вот, взгляни.

Подходцев вынул из кармана маленький сверток с белым порошком и, развернув его, положил на стол.

— Как же это называется?

— Это, Витенька, вещь вредная, ядовитая. Мышьяковистое соединение.

«Глухонемой» Громов встал на ноги, поставил пустую чашку в уголок, приблизился к столу и, увидав белый порошок, с радостным, бессмысленным криком бросился на него.

— Что он делает?! — вскричал Харченко.

Было поздно... Громов схватил горсть «мышьяковистого соединения» и с довольным визгом, кривляясь, отправил его в широко открытую пасть.

— Сахар!!! — в ужасе вскричал Подходцев. — Он думает, что это сахар!!! Остановите его...

Харченко бросился к Громову, но на пути ему попался Клинков; он обхватил руками шею Харченки и заголосил:

— Витенька, миленький, что же мы наделали?!

— Пусти! — бешено крикнул Харченко и, оттолкнув прилипшего к нему Клинка, нагнулся к Громову.

Громов лежал на ковре, пуская изо рта пузыри, и смотрел на Витю закатившимся белым глазом. Грудь и живот его с храпом поднялись несколько раз и опали... По всему телу прошла судорога, ноги забились о ковер, и — Громов затих.

Картина смерти была тяжелая, потрясающая...

Подходцев встал на колени, преклонил ухо к груди усопшего, перекрестился и, обратив на Витю полные ужаса глаза, шепнул:

— Готов.

Затем, сняв со стены зеркало и приложив его ко рту усопшего обратной деревянной стороной, благоговейно повторил:

— Готов.

Харченко захныкал.

— Что вы наделали!.. Зачем вы его привели?.. Это вы его отравили! Яд был ваш!

— Молчи, дурак. Никто его не травил. Сам он отравился. Клинков, положим его на диван. Дай-ка, Витя, простыню... Надо закрыть его. Гм... Действительно! В пренеприятную историю влопались.

— Что же теперь будет? — в ужасе прошептал Харченко, стараясь не глядеть на покойника.

— Особенного, конечно, ничего, — успокоительно сказал Подходцев. — Ну, полежит у тебя до утра, а утром пойдешь заявлять в участок. Ты не бойся, Витя. Все равно улики против тебя нет. Поддержат несколько месяцев в тюрьме, да и выпустят.

— За... что? В... тюрьму?..

— Как за что? Подумай сам: у тебя в квартире находят отравленного человека. Кто? Что? Неизвестно. Что ты скажешь? Что мы его привели? Мы заявим, что и не видели тебя, и никого к тебе не приводили. Не правда ли, Клинков?

— Конечно. Что нам за расчет... Своя рубашка к телу ближе.

— А ты, Витя, уж выпутывайся, как знаешь, — жестко засмеялся Подходцев. — Можешь, впрочем, разрезать его на куски и закопать в овраге. Пойдем, Клинков.

— Братцы! Господа! Товарищи! Куда же вы?! Как же я?..

— Какие мы тебе товарищи, — сурово сказал Подходцев. — Пусты! Идем, Клинков.

— Нет, я не пушу вас, — закричал Харченко, наваливаясь на дверь. — Я боюсь. Вы его привели, вы и забирайте.

— Вот дурак... Чего тебе бояться? Ты привилегированный и получишь отдельную камеру; обед будешь покупать на свои деньги. Да, пожалуй, отец и возьмет тебя на поруки.

— Я покойника боюсь, — рыдая, завопил Харченко.

— По-кой-ни-ка? Не надо было травить его, и не боялся бы.

— Товарищи!!! Миленькие! Заберите его... что хотите отдам...

— Вот чудак-человек... Куда же мы его возьмем? Можно было бы на извозчика его взвалить да вывезти куда-нибудь за город и бросить... Но ведь извозчик-то даром не поедет!

— Конечно! — поддержал Клинков. — А у нас денег нет.

— Ну, сколько вам нужно?.. — обрадовался Витя. — Я дам. Три рубля довольно?

— Слышишь, Подходцев, — горько усмехнулся Клинков. — Три рубля. Пойдем, Подходцев... Три рубля! Ты бы еще по таксе предложил заплатить...

Стали торговаться. Несмотря на трагизм момента, Харченко обнаружил невероятную скупость, и, когда друзья заломили цену сто рублей, — он едва не упал мертвый рядом с «покойником»...

Сошлись на сорока рублях и трех бутылках вина. Вино, по объяснению Подходцева, было необходимо для того, чтобы залить воспоминание о страшном приключении и заглушить укоры совести.

Подходцев взвалил «покойника» Клинкову на спину, подошел к Харченко, получил плату и, пожимая ему руку, внушительно сказал:

— Только чтобы все — между нами! Чтобы ни одна душа не знала! А то: гнить нам всем в тюрьме.

— Ладно, — нервно содрогаясь, простонал Харченко.
— Только уходите!

Вышли в пустынный переулочек... Впереди шел Клинков с «глухонемым» на спине, сзади Подходцев с выторгованным вином.

Отошли шагов двадцать...

— Опустим меня, — попросил «покойник». — Меня после сахара мучает страшная жажда. У кого вино?

— Есть! — звякнул бутылками Подходцев. — В овраг, панове!

Возвращались в город поздним вечером.

— Меня мучает голод, который не тетка, — заявил Громов.

— К «Золотому якорю»? — лаконически спросил Клинков Подходцева.

— Туда.

Ресторанчик «Золотой якорь» помещался в подвальном этаже большого дома. Был он мал, дешев, изобиловал винами, славился своими специальными блюдами и категорической прямизной мрачного, неразговорчивого хозяина.

Три друга вошли в боковую комнатку и велели вызвать неразговорчивого хозяина.

— Здравствуйте, хозяин, — небрежно кивнул головой Подходцев. — Мы были должны вам десять рублей, на которые вы, по вашему же выражению, «махнули рукой». Пусть же эта ваша рука, вместо таких беспочвенных жестов, проделает жест, более соответствующий ее назначению. Хозяин! Протяните руку.

На протянутую руку хозяина легло восемь золотых монет.

— Хозяин! Две штучки в расчет, шесть штучек — по нашим указаниям! Хозяин! Я и моя друзья — народ все упрямый, непоколебимый, с твердым, настойчивым характером. Если эти деньги будут у нас, мы их сегодня же прикончим. А вы человек слабохарактерный, мягкий, безвольный, и сам черт не выдерет у вас этих монет, когда они к вам попадут. Поэтому забирайте их и кормите нас, куда хватит. Я думаю,

дней пять мы здесь протянем... А когда деньги кончатся, заявите нам об этом в мягкой, деликатной форме.

Каменное лицо хозяина не пошевелилось. Он сунул деньги в карман и, волоча ноги, ушел.

Маленькая, темная комната освещалась тусклой лампой. На столе вместо скатерти лежала клеенка, над головами навис тяжелый каменный свод... И тем не менее Подходцев, развалившись на диване, заявил:

— Какая чудесная погода!

Глава XI СЛУЧАЙ С КЛИНКОВЫМ. ЗАКАТ ПЫШНОГО СОЛНЦА

Несколько дней прокатились над отуманенными успехом и вином головами троих друзей.

... Они сидели в мрачной комнатке ресторана «Золотой якорь» и вели веселую непринужденную беседу обо всем, что приходило на ум.

— Наша беда в том, — заявил Подходцев, — что мы мало времени обращаемся в светском изысканном обществе. Мы дичаем, и нравы наши грубеют.

Громов рассмеялся.

— Это верно! Недавно я попал случайно в большое, чрезвычайно приличное общество, где было много дам. Я чувствовал себя отвратительным, угрюмым кабацким гулякой, а дамы казались мне такими чистыми, светлыми... ангелами из другого мира. Когда одна из них спросила меня — жива ли моя матушка? — я был так растроган, что чуть не заплакал...

— Более странная история случилась со мной, — перебил его Клинков. — Надо вам сказать, братцы, что я пользуюсь у женщин чрезвычайным успехом... Правда, женщины эти — горничные, хорошенькие прачки, приносившие мне белье, а в лучшем случае — какие-нибудь девицы из «Эльдорадо», которым нравятся мой внушительный вид и благородство жестов. Но я человек нетребовательный и довольствуюсь малым — прачка так прачка, девица так девица... Ей-Богу. И вот, вращаясь все время в этом обществе, попал я однажды

на именины к одному видному человеку. Вам все равно, кто он такой... Важный такой старик, имеет единственную дочь барышню. Выпил я за столом несколько стаканов разных напитков, а потом пошел в маленькую комнатку рядом с гостиной, сел на диван да и давай рассматривать книжку с картинками. Смотрю, эта девица, дочка-то, вошла, смотрит на меня, потом села около. «Как вам, — говорит, — нравится этот рисунок?» «Забавный», — отвечаю я и в то же самое время машинально (такая уж у меня выработалась привычка с женщинами) кладу свою руку на ее талию... Она вздрогнула, изумленно смотрит на меня: «Что вы это? Что такое?!» Я, ничего не понимая, спрашиваю рассеянно, с легким недоумением: «А что? Что случилось?» Тут только я сообразил... Отдернул руку, будто оса ее ужалила, стал извиняться. «Извините, — говорю, — машинально!» Она сначала рассердилась, потом стала расспрашивать: «Что за странная машинальность?» Я и объяснил ей откровенно: «Видите ли, мне, собственно, не особенно и хотелось обнять вас — устал я от всего этого, — но как-то все-таки странным и невежливым казалось — сидеть рядом и не обнять. Войдите в мое положение: ведь с приличными, порядочными женщинами мне не приходилось сидеть...»

— Что ж она? — спросил Подходцев.

— Ничего. Пожалела... «Бедный вы, — говорит. — Вас спасти бы надо...» Выпьем за ее здоровье, братцы.

— Эй, кравчий, — крикнул Подходцев, властно хлопнув в ладоши. — Две бутылки вина и три порции фаршированных помидоров.

Слуга кивнул головой и убежал. Через пять минут он явился с громадным подносом, на котором стояли крошечный стакан вина и одна фаршированная помидорка.

— Это... что... такое?.. — с грозным изумлением вскочил Подходцев.

— Не знаю-с. Хозяин дали.

Все трое переглянулись.

— Баста, — засмеялся Громов. — Хозяин — машина хорошая и действует автоматически. Очевидно, наш капитал кончился на этой помидоре. Нельзя было более деликатно намекнуть об этом. Из тридцати рублей осталось копеек двенадцать. Щелк — и машинка захлопнулась!

— Позови хозяина, кравчий! Посмотрим в глаза опасности. А, хозяин! Здравствуйте, хозяин! Здоровы, хозяин? Ну, дорогой хозяин... Говорите прямо, мы — приготовились к самому худшему. Ну, что — уже?

— Уже, — заявил хозяин, бесчувственно и равнодушно осматривая потолок.

— Ладно. Будем же мужественны, Панове! Берите ваши шапки и пойдем. Место богатым! Место миллионерам, черт возьми!!

... Через пять минут друзья очутились уже на свежем воздухе, искоса с лукавыми улыбками поглядывая друг на друга...

Глава XII ВТОРОЕ НАКАЗАНИЕ ХАРЧЕНКИ

Так как в душе у всех чувствовалась некоторая пустота, то все первым делом принялись, по своему обыкновению, ругать Харченку.

— Экий подлец этот Харченко...

— А! Ты говоришь об этой порочной свинье? Стоит ли говорить о нем?!

— Скуп и глуп.

— Вот уж — что верно, то верно. Подумайте, если бы он дал за глухонемого не сорок, а семьдесят или восемьдесят рублей, мы бы жили-поживали еще недельку.

— Да уж... от этого человека дожидаться чего-нибудь! Как же! Подумать только — вынесли покойника, рисковали будущностью, прятали концы в воду — и все это за какие-то сорок рублей. Сорок рублей за сокрытие трупа!

«Труп» неодобрительно заявил:

— Конечно, он обошел вас — ясно как день. Вы продешевили. Я еще тогда же собирался сказать вам это, когда лежал на диване под простыней, да только не хотелось обесценивать предприятия.

— Да... продешевили. Надо сознаться. Ты не знаешь, Громов, сколько вообще берут за сокрытие мертвых тел?

— Разно... Смотря по телу... Конечно, глухонемые дешевле, но ведь не сорок же рублей?! Я должен стоять до ста.

— Гм... Жалко... может, подбросить тебя к нему снова?
— Нет. Я могу быть глухонемым, могу сделаться на короткое время трупом, но разложившимся трупом сделаться невозможно. Это удастся только раз в жизни и — безвозвратно.

— Что же делать?

— Нужно вернуть свои деньги, — сказал Громов серьезно. — Идите сейчас к Харченке и ждите меня... не смущайтесь и не ахайте, когда я войду, — не в усах счастье.

Он сделал друзьям приветственный жест и исчез за углом.

— Пойдем к этому мошеннику, — сказал Подходцев. — Интересно, как он себя чувствует?

Мошенник Харченко чувствовал себя неважно. Он лежал на кровати и читал какую-то книгу. Не особенно обрадовался неожиданным гостям.

— Куда вы пропали? Я ждал, беспокоился... А он где?

— Здравствуй, Витечка. Ну, как твое здоровье?

— Убирайтесь к черту! Я из-за вас ночей не сплю...

— Является? — таинственно прищурился Подходцев.

— Ну, ничего... Это до сорока дней будет. А потом исчезнет.

— Куда вы его дели?..

— Ах, Витечка... Ты нам слишком мало дал денежек!.. Мы его возили, возили, извозчику дали пятьдесят рублей, чтоб молчал, а мертвенького у тебя в овражке закопали. Десять рубликов своих приплатили. Может, вернешь?

Харченко побледнел.

— Как, в овраге?! Здесь, около меня?

Зазвенел звонок.

Харченко пошел отворять парадную дверь и впустил невысокого, бритого, коротко остриженного человека, который мрачно оглядел всю компанию и, нимало не медля, опустился на стул.

Жаль ли было ему своих элегантных усов и прекрасных мягких волос, или его мучил голод, но Громов был чрезвычайно мрачен.

Харченко со страхом и изумлением оглядывал его, а потом нервно спросил:

— Кто вы такой? Что вам угодно?

— Что мне угодно? Справочку. У вас не было моего брата?

— Какого брата? — закричал Харченко. — Что нужно? Никакого брата мы не знаем!

— Какого брата? Моего. Глухонемого. Он несколько дней как исчез... Сначала я думал, что он уехал в Новочеркасск, а потом, по справкам, выяснилось, что он был у вас.

— Я... сейчас... — пролепетал Харченко и выскочил в столовую.

Там он сел за стол, положил голову на руки и, сотрясаясь тяжелым телом, заплакал.

Подходцев вышел вслед за ним, положил руку на его плечо и спросил сурово:

— Чего реवेशь, дурак? Надо бы следы замести, а он разливается, как дождик. Замолчи.

— Да... чт... что вы наде... лали? З... зачем вы меня втянули в это? Вон, теперь брат появился.

— Ничего. Выкрутимся. Пойдем туда, вытри слезы; как не стыдно, право! Как преступления совершать, так ты мастер, а как тянуть Варвару на расправу — так ты в слезы! Экий дурак... Боже ты мой...

— Я совершил преступление? Да какое?..

— Как какое? А сорок рублей за что дал? Лучше бы молчал, миленький! Пойдем.

Подходцев втолкнул Харченко в дверь, вошел вслед за ним и, приблизившись к бритому незнакомцу, сказал:

— Вы спрашиваете о глухонемом? Да, он был здесь, но в тот же день уехал.

— Что-то мне не верится, — с сомнением сказал бритый. — Боюсь — не случилось ли с ним чего?.. Тут места глухие, а он человек больной, без языка и ушей. Говорят, здесь какой-то овраг близко... Я думаю, не пошарить ли мне в овраге?

Подходцев бросил мимолетный взгляд на бледного, близкого к обмороку Харченку и всплеснул руками, фальшиво смеясь:

— Что вы! Да чего же ему быть в овраге?.. Вот новости... Уехал просто человек в Новочеркасск... Гм... А оттуда он собирался в Пятигорск и Тифлис... еще куда-то. Где-нибудь в этих городах вы его и найдете.

Бритый человек закрыл лицо руками и заплакал...

— Я верю вам! Но что-то подсказывает моему сердцу, что с несчастным братом стряслось неладное. О, как бы я хотел выяснить это... Нет! Так или иначе — я разыщу его.

— Поезжайте в Новочеркасск или в Пятигорск!

— Я поехал бы... Я сегодня бы и выехал, но — увы! У меня нет денег.

— Вот оно что, — задумчиво протянул Подходцев. — Действительно... А уехать вам надо! Обождите... Одну минутку. Подходцев взял Харченку за руку и вышел с ним в столовую.

— Слушай... во что бы то ни стало нужно его сплавить!.. Харченко захныкал.

— Все — я! Опять я... Опять денег давай... Что, у меня завод денежный, что ли?.. Откуда я возьму?..

— Да пойми, чудак, ежели он здесь останется — ведь мы ночей спать не будем. Вдруг он полезет в овраг...

— Ну?

— Ты понимаешь? Труп в двухстах шагах от твоего дома... Труп человека, который, как уже осведомлен брат, был у тебя... А? Как на тебя посмотрят?

— Будьте вы прокляты! — заплакал Харченко. — Злой дух принес вас тогда ко мне. Сколько ему дать на отъезд?

— Чем больше, тем лучше, Витечка. Пойми, что тогда он будет себе колесить по Кавказу и забудет о нас совершенно.

— Пятнадцать рублей довольно?

— Что?! Шестьдесят! И то — за одну только дорогу... Харч свой. Ничего, Витечка... На такое дело жалеть не надо. После дорожке может стоять... Чего там! Зато теперь уж можем начать новую жизнь.

Харченко заскрежетал зубами и, ударив кулаком по стене, выхватил из кармана новенький щегольской бумажник коричневой кожи.

— На! Пусть лопают! Я не выйду к нему. Очень уж он напоминает лицом покойника... Бррр!..

Когда все трое шли в «Золотой якорь», Громов сказал, потирая непривычно гладкую верхнюю губу:

— Если бы Харченко не был такой скотиной, то вся эта история... Гм!.. Мне бы не особенно была по сердцу...

— Конечно, — поддакнул Подходцев. — но раз он скотина, то — кто же ему виноват?

И все согласились:

— Никто.

Глава XIII ЖЕСТОКИЙ ПОЕДИНОК

Подходцев лежал на диване, Громов на кровати, оба, повернув изумленные лица, смотрели на Клинкова, а он шагал по комнате и, криво улыбаясь, говорил:

— Да-с. Дуэль. Раз он считает себя оскорбленным, вы понимаете, я как честный человек не мог отказать. Хорошо, говорю я ему, хорошо... Только если ты, говорю, убьешь меня, то позаботься о моих стариках, живущих в Лебедине.

— Ну, что же он?

— Говорит, хорошо. Позабочусь, говорит. Я ему, впрочем, о родителях так вставил — для красоты слова. Отец-то у меня, правду сказать, богат, как черт!..

— И все это из-за того, что ты разругал его картину?

— Да как я ее там ругал? Просто сказал: глупая мазня. Бессмысленное нагромождение грязных красок! Только и всего.

— Может, помирились бы?

— Да... так он и согласится! Эй! Убьет, братцы, этот зверь вашего Костю. А?

— Урываев? Конечно, убьет, — подтвердил Подходцев, безмятежно лежа на постели и значительно поглядывая на Громова. — Или попадет пуля в живот тебе. Дня три будешь мучиться... кишки вынут, перемоют их, а там, смотришь, заражение крови и — капут. Да ты не бойся: мы изредка будем на твою могилку заглядывать.

— Спасибо, братцы. А секундантами не откажетесь быть?

— Можно и секундантами, — серьезно согласился Подходцев. — Тебе теперь отказывать ни в чем нельзя: ты уже человек, можно сказать, конченный.

— Да ты, может быть, смеешься?

— Ну, вот... Там, где пахнет кровью, улыбка делается бессмысленной гримасой, как сказал один известный мыслитель.

— Какой? — спросил Громов.

— Я.

Дверь приотворилась, и в комнату просунулась смущенная голова художника Урываева.

Это был здоровенный широкоплечий детина с огромными ручищами, кудлатой головой и трубным голосом.

Впрочем, несмотря на такой грозный вид, был он человеком добрым, а иногда даже и сентиментальным.

— А-а! Виновник торжества! — приветствовал его Громов. — Входи, сделай милость, скорее, а то здесь сквозит.

Урываев бросил угрюмый взгляд на Клинкава, подал Громову и Подходцеву руки и строго сказал:

— Я знаю, что не принято являться к противнику перед дуэлью, но не виноват же я, черт возьми, что он живет вместе с вами... Вы же мне, братцы, понадобится... В качестве свидетелей, а? Согласны? А то у меня здесь ни одного человека нет подходящего.

— Стреляться хотите? — вежливо спросил Подходцев.

— Стреляться.

— Так-с. Дело хорошее! Только мы уже дали Косте слово, что идем в секунданты к нему. Правда, Костя?

— Правда... — уныло подтвердил Костя.

— Может, ты бы, Костя, — спросил Подходцев, — уступил одного из нас Урываеву? На кой черт тебе такая роскошь — два секунданта?!

— Да, пожалуй, пусть берет, — согласился Костя.

— Господа! — серьезно сказал Урываев. — Я вас очень прошу не делать из этого фарса. Может быть, это вам кажется смешным, но я иначе поступить не могу.

Во мне оскорблено самое дорогое, что не может быть урегулировано иным способом... На мне лежит ответственность перед моими предками, которые, будучи дворянами, решали споры только таким образом.

— Царство им небесное! — вздохнул Подходцев.

— Пожалуйста, не смотрите на это, как на шутку!

— Какая уж там шутка! — вскричал Громов. — Дельце завязалось серьезное. Правда, Саша?

— Конечно, — подтвердил Подходцев, — Вещь кровавого характера. Стреляться решили до результата?

— Да. Я не признаю этих комедий с пустыми выстрелами.

— И ты совершенно прав, — подтвердил Подходцев, — в кои-то веки соберешься ухлопать человека — и терять такой случай... Правда, товарищ?

— Изумительная правда.

Дверь скрипнула. Все обернулись и увидели квартирную хозяйку, с двусмысленной улыбкой кивавшую им головой.

— Ах, черт возьми! — прошептал Клинков, бледнея. Хозяйка подошла к нему и сделала веселое лицо.

— Ну-с? Обещали сегодня, Константин Петрович.

— В чем дело? — спросил, хмурясь, Громов.

— Да видишь ли... В этом месяце за квартиру плачу я. Моя очередь.

— Ну?

— Ну, вот и больше ничего.

— То есть как же ничего? Это, по-вашему, ничего? Вы на сегодня обещали.

— Неужели сегодня? Непростительный, легкомысленный поступок... Гм... Что это у вас, новая кофточка? Прехорошенькая.

— Новая. Позвольте получить, Константин Петрович.

— Что получить?

— Да деньги же! Пожалуйста, не задерживайте, мне на кухню нужно.

— Хозяйничаете все? Хлопчете? — ласково спросил Клинков. — Хе-хе.

— Может, вам разменять нужно? Я пошлю.

— Сколько там с меня?

— 20 рублей.

— Деньги, деньги... — задумчиво прошептал Клинков. — Шесть букв... а какая громадная сила в этом коротеньком словце! Вы читали: Анна Марковна, роман Золя «Деньги»?

— А вы читали когда-нибудь повестку о выселении? — полюбопытствовала хозяйка.

— К сожалению, я до сих пор не мог расширить своего кругозора чтением этих любопытных произведений. Но на досуге, даю вам слово, прочту.

— Хорошо-с! Если вы еще позволяете себе смеяться, я сяду здесь и не сдвинусь с места, пока не получу денег.

Подходцев засмеялся.

— Просто признайтесь, хитрая женщина, что вы соскупились по изысканному обществу. Костя! Стул Анне Марковне.

С мрачным лицом хозяйка уселась у дверей... Тягостная пауза нависла над обществом.

Урываев побарабанил пальцами по столу и смущенно обвел взглядом комнату. Потом в качестве воспитанного человека начал разговор:

— Сами белили?

— Что такое?

Урываев смутился.

— Комнату, говорю, сами белили?

— Да-с! Я все сама... День-деньской на ногах, а за это вместо благодарности вот, извольте видеть!

Помолчали опять.

— Погодка сегодня разгулялась, — сказал Урываев, смотря в окно.

— Это ее дело. А когда человек разгуливается и тратит деньги на пьянство, это, извините-с! Извините-с!

Клинков нервно вскочил и подошел к Подходцеву.

— У тебя нет денег?

Подходцев улыбнулся краешком рта.

— У меня? Нет. Громов!

— Ну?

— У тебя нет денег?

— У меня? Нет. Урываев!

— Что?

— У тебя нет денег?

— Есть. Сколько нужно? Двадцать? Вот, пожалуйста.

— Господа! — возмущился Клинков. — Это черт знает что! Я с Урываевым в... таких... отношениях... а он — мне же... деньги дает взаймы!! Вы не имели права делать этого!

Молча Громов взял у Урываева деньги и передал их Подходцеву. Подходцев молча взял и сунул обе бумажки в руку Клинкова.

Клинков застонал, положил деньги на ладонь хозяйки и сказал, указывая ей на дверь:

— Прямо, потом налево.

Громов растянулся на кровати и принялся что-то насвистывать.

Противники, избегая встречаться взглядами, смущенно смотрели в окна, а потом Урываев неуверенно сказал:

— Подходцев! Ты позаботишься о том, что нужно? Вот тебе записка к моему знакомому офицеру, у которого есть отличные пистолеты.

— Bravo! — сказал Подходцев, торопливо одеваясь.

— Дело начинает налаживаться! По дороге я забегу также в погребальную контору... Костя, ты какие больше предпочитаешь — газетовые?

- Все равно.
- С кистями?
- Все равно.

Подходцев вздохнул, нахлобучил шапку самым решительным образом и вышел...

Глава XIV ЧЕРТЫ ИЗ ЖИЗНИ КЛИНКОВА. РЕЗУЛЬТАТ ПОЕДИНКА

«Знакомый офицер» оказался очень симпатичным человеком. Узнав, что Подходцеву нужны пистолеты, он засуетился, достал ящик и, подавая его, сказал:

— Для Урываева я это сделаю с удовольствием! Вот пистолеты. Прекрасные — за пару плачено полтора ста рублей!

— А ведь их после дуэли могут конфисковать, — возразил Подходцев с искусственным сожалением.

Офицер омрачился.

— Неужели?

— А что вы думаете! «А, — скажут, — стреляться! Убиваете друг друга!» И отымут.

Офицер, вздохнул, посмотрел на ящик.

— Знаете что? — сказал Подходцев. — Положитесь на меня. Пистолеты не пропадут. Я эти самые дуэли умею преотлично устраивать. Есть у вас десять рублей?

— Как... десять рублей?

— Очень просто, займы. Первого числа возвращу.

Офицер, вынув кошелек, засуетился снова.

— Вот... У меня все трехрублевки. Ничего, что здесь 12 рублей?

— Что же с вами делать, — снисходительно сказал Подходцев. — Давайте! Вы водку пьете?

— Пью. Иногда.

— Вот видите! Командный состав нашей армии всегда приводил меня в восхищение. Одевайтесь, поедем к нам.

— А... пистолеты?

— Мы их забудем здесь. На меня иногда находят припадки непонятной рассеянности. Едем!

Офицер рассмеялся.

— А вы, видно, рубаха-парень?!

— Совершенно верно. Многие до вас тоже находили у меня поразительное сходство с этой частью туалета.

Оба среди оживленного разговора заехали по дороге в гастрономический магазин и купили вина, водки и закусок.

У Клинкава был трагический характер. Каждый час, каждую минуту он был кому-нибудь должен, и каждый час, каждую минуту ему приходилось выпутываться из самых тяжелых, критических обстоятельств.

Но занимал он деньги единолично, а ликвидировал свои запутанные дела, прибегая к живейшему участию Подходцева и Громова.

Отношений это не портило, тем более что Громов признавал Костю лучшим специалистом по съестному.

Это значило вот что:

Когда все трое сидели без копейки денег, не имея ни напитков, ни пропитания, ленивый Клинкав долго крепился, а потом, махнув рукой, вставал с кровати, ворчал загадочное:

— Обождите!

Натягивал пальто и выходил из комнаты.

Последующие операции Клинкава усложнялись тем, что водка в бакалейных лавках не продавалась, а в казенных ее отпускали за наличный расчет.

Клинкав по дороге заходил к соседу по номерам, какому-нибудь обдерганному студенту, и говорил ему крайне обязательно:

— Петров! Я, кстати, иду в лавку. Не купить ли вам четверку табаку.

— Да у меня есть еще немного.

— Тем лучше! Новый табак немного подсохнет. А? Право, куплю.

Студент долго задумчиво глядел в окно, ворочая отяжелевшими от римского права мозгами, и отвечал:

— Пожалуй! Буду вам очень благодарен.

Клинкав получал 45 копеек и, выйдя на улицу, непосредственно затем смело входил в дверь бакалейной лавочки на углу.

— Здравствуйте, хозяйка! Позвольте-ка мне фунт колбасы и нарежьте ветчины!

Потом беззаботно опускался на какой-нибудь ящик и, оглядев лавку, сочувственно говорил:

— Магазинчик-то сырой, кажется!
— Какое там сырой! — подхватывала хозяйка. — Прямо со стен вода течет!

Клинков омрачался.

— Экие мерзавцы! Им бы только деньги за помещение брать! Небось три шкуры с вас дерет?

— И не говорите! 600 рублей в год.

— 600 рублей? Да ведь он разбойник. Ах, негодяй... 600 рублей... Каково?! Коробочку сардин, сударыня, и десяток яиц.

Рассеянный взгляд Клинкова падал на ребенка, хныкавшего на руках хозяйки, и с Клиновым внезапно приключался истерический припадок любви к измызганному пищавшему малышу.

— Прехорошенький мальчишка! Ваш?

Хозяйка расплывалась в улыбке.

— Девочка. Моя.

— Учится?

— Помилуйте. Ей три года.

— Что вы говорите! Три года — а как двенадцать. Она, кажется, на вас похожа?

— Носик мой. А глазки папины.

— Совершенно верно. Ах ты, маленький поросеночек! Ну, иди ко мне на руки, а мама пока отрежет три фунта хлеба и даст четверку табаку. Она уже говорит?

— Да, уже почти все.

— Неслыханно! Это гениальный ребенок. Вырастешь, я тебя за генерала замуж отдам. Хочешь?

Тронутая хозяйка брала счета и высчитывала, что с Клинова приходится 3 рубля 30 копеек.

— Только-то? Детская сумма! Вот что, уважаемая... вы отметьте сумму в книжечке — я знаю, у вас есть такая, — а первого числа я уж, как следует, чистоганом! Мы тут же живем, у Щемиллина.

Взор хозяйки омрачался, так как Клинов был ей лицом совершенно чужим, но он строил такие забавные гримасы ее дочке и с таким простодушием просил, забирая покупки, «непременно передать поклон мужу», что она молча вздыхала и разворачивала книгу на конторке.

Купив затем на студентов деньги водки, Клинов, торжествующий, возвращался в номера, вручал студенту табак

и, получив от него теплую благодарность, насыщал принесенным вечно пустые желудки своих друзей.

Когда Подходцев и офицер вернулись обратно, то в квартире нашли четырех человек: Громова, Клинкава, Урываева и клинковского портного — всех в очень удрученных, скорбных позах.

— Меня интересует, — говорил опечаленный Клинкав, — почему я обещал вам именно сегодня и почему именно 8 рублей?

Громов заявил, что его это тоже интересует, портной сказал, что это его не интересует, а Урываев молча глядел на своего врага с тайным сочувствием.

Пришедшие стояли в дверях, когда Клинкав машинально спросил:

— Громов! У тебя нет 8 рублей?

— Нет, — ответил Громов. — Урываев! У тебя нет 8 рублей?

— Да я все отдал, что были... А! Полководец! У тебя нет 8 рублей?

Офицер по-давешнему засуетился и, вынимая кошелек, сказал, будто бы в этом было неразрешимое затруднение:

— Да у меня все трехрублевки. Ничего?

— Очень печально! — строго сказал Урываев. — Нужно быть осмотрительнее в выборе средств к существованию. Впрочем, давай три штуки!

— Урываев! Не смей этого... то есть... не делайте этого, господин Урываев! — закричал смущенный Клинкав.

— Идите, портной, — величественно сказал Урываев, вручая портному деньги. — На лишний рубль я обязую вас сшить одному из нас шелковую перевязку на руку или на голову.

— А как же с дуэлью? — лениво спросил Громов. — Я уже по телефону успел знакомого доктора пригласить.

— Да и у меня все сделано, — подхватил энергичный Подходцев, похлопывая рукой по сверткам.

— Пистолеты?

— Они самые.

— Странно, что они имеют бутылочную форму.

— Новая система. Казенного образца!

В дверь постучали, и перед обществом предстал доктор — сияющий дебютант на трудном медицинском поприще, приятель Громова.

— Здравствуйте, господа. Ты меня серьезно приглашал, Громов?

— Совершенно серьезно.

— А где же больная?

Все онемели от изумления.

— Какая больная?

— Да ведь я специалист по женским болезням.

Взрыв хохота поколебал драпировки окон и вырвался на тихую улицу.

— Здесь есть двое больных. И оба они больны хронической женскою болезнью — глупостью, — сказал Подходцев. — Бросьте, ребята, дурака валять. Надоело!

— Смотреть тошно! — поддержал Громов.

— Нелепо! — подхватил офицер.

На Урываева и Клинкава набросились всей компанией, повалили на кровать, накрыли одеялом, подушками и держали до тех пор, пока они не взвыли от ужаса.

— Миритесь?

— Черт с ним! — взревел Урываев. — Только пусть он возьмет назад свои слова о моей живописи.

— Беру! При условии, если ты напишешь мой портрет, и он будет гениален.

— Иным он и не может быть!

Офицер раскладывал закуски и откупоривал бутылки.

Лохматый, растрепанный Урываев сидел на коленях доктора, пил с ним из одного стакана вино и, опустив бессильно голову на его грудь, говорил:

— Жаль все-таки... Ушла, Петя, поэзия из жизни. Нет больше красивых жестов, беззаветно смелых поступков, героизма... Ушла из нашего прозаического мира храбрость, поединки по поводу неудачно сказанного слова, рыцарское обожание женщины, щедрость, кошельки золота, разбрасываемые на проезжей дороге льстивому трактирщику... Удар ножом какого-нибудь зловещего бродяги на опушке леса...

— Это верно. Обидно, дурачок ты этакий, — поддакивал улыбающийся доктор, глядя художника по кудлатой, ослабшей голове.

.....

Глава XV ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В ВОЗДУХЕ

Пишущий эти строки заметил странную вещь: как только он начинает новую главу своей повести, так обязательно глава начинается тем, что «Клинков, Громов и Подходцев лежали в большой комнате на трех кроватях...»

А объясняется это просто: все трое были люди такого сорта, что, если не сидели в каком-нибудь кабачке или не работали, добывали себе на пропитание, — они обязательно и безусловно лежали на кроватях.

Так и в данном случае: было уже половина двенадцатого дня, а все трое и не думали о вставанье... Лежали на кроватях под спустившимися включенными одеялами и с плохо скрытым омерзением поглядывали друг на друга.

— Удивительное дело, — прошипел вдруг Громов, отворачиваясь к стене и показывая всем своим видом, что дальнейшее созерцание Клинкова и Подходцева для него невыносимо. — Как много на свете паразитов...

На это Подходцев возразил:

— Ты не настолько знаменит, чтобы отнимать у нас время своей автобиографией.

«Как с ними тяжело, — подумал толстый Клинков, у которого, несмотря на его добродушие и незлобливость, уже с раннего утра что-то накопало... что-то поднималось отвратительное, неприятное. — Все эти их остроты, взаимные шпильки... Никогда они не поговорят, как люди, а все с вывертом. И завтра это же будет... и послезавтра. Вот тоска-то!»

— Ничего не отвечу тебе, — сказал Громов, поворачиваясь от стены и со злостью глядя на голые мускулистые руки Подходцева, которые тот разминал, вздрагивая их к потолку и с треском опуская на одеяло. — Ничего не отвечу на это, потому что плоско острить — это твоя специальность. И потом, пожалуйста, не ввязывайся, когда я говорю не о тебе!!

Как стрела, выпрямился, натянулся под одеялом грузный Клинков и, быстро повернувшись к Громову, вперил в него горящий бешеной злобой взгляд.

— Ах, ты не о нем говоришь?! Нас тут трое... Значит, ты говоришь обо мне?! Я, по-твоему, паразит?!

— Прошу тебя — без громких фраз, — холодно процедил Громов. — Я знаю, почему ты не встаешь так долго... Потому что сегодня твоя очередь заваривать чай. Ты хочешь перележать. Думаешь: «Потеряют же они когда-нибудь терпение, вскочат же они и заварят же они когда-нибудь чай. А я тут как тут — встану и напьюсь горячего чайку».

— Господа-а-а, — искусственно удивился Клинков, — Громов постиг человеческую психологию!! Ты слышишь, Подходцев?! Он разбирается в человеческой психологии — этот человек, для которого загадочна психология даже кухонной мясорубки...

— Не вижу большой разницы, — пробурчал Подходцев.

— Значит... ты меня сравниваешь с мясорубкой? — растерялся Клинков. — Свинья, ах свинья! А еще вчера признавался, что встретил во мне человека исключительно тонкой организации.

— Говорил... — цинично согласился Подходцев, — но почему говорил? Просто хотел подмазаться к тебе. Вспомни, что сейчас же после этих слов я попросил тебя сочинить мне заявление в университет, а ты, как дурак, растаял, поверил и сочинил.

— Ну, знаете, — дрожащим от возмущения и обиды голосом проговорил беспомощный Клинков. — Чем дальше, тем я больше убеждаюсь, что я здесь, среди вас, лишний. Наглость человеческая — кушанье не для меня. Я вижу, нам просто нужно расстаться.

Подходцев ехидно прищурился.

— К дяде думаешь поехать?

— К дяде, к черту, к дьяволу, только чтобы не быть в этом хлеве.

Он со злобой оглядел комнату и вдруг истерически закричал:

— Тысячу раз я вам говорил, чтобы вы не бросали на стол грязные воротнички?! Это вы мне назло делаете?! И я заметил, что, как только мы усаживаемся за стол, вы сейчас же подвигаете пепельницу мне под нос. Знаете прекрасно, что я не курю, что мне противен запах раздавленных папирос, — и нарочно ставите пепельницу мне под самый нос.

— Один человек с таким пронзительным голосом сделал блестящую карьеру, — потянулся Подходцев. — Капитан океанского парохода нанял его в пароходные гудки.

— О, как бы мне хотелось вырваться от вас!!

— К дяде? — ехидно засмеялся Громов. — Подходцев, который это уже раз он собирается к дяде?

— Он не каждый день может поехать к дяде, — объяснил Подходцев. — Родственникам тюремная администрация разрешает свидание только раз в неделю — по пятницам. Сегодня он не уйдет. Среда.

Закусив губу, встал с кровати Клинков, натянул на массивные ноги брюки, умылся и, причесавшись, подошел к Громову с самым официальным видом.

— Вы извините, господин Громов, — сказал он с присущей ему благородной простотой, — извините, что беспокою вас просьбой, но у меня нет на дорогу денег. Будьте добры одолжить мне 25 рублей, а я по приезде на место тотчас же вам их вышлю. Пожалуйста, выручите меня в последний раз.

— Пожалуйста, — холодно отвечал Громов. — Только зачем же высылать: вы ведь знаете прекрасно, что я вам должен больше.

— О, нет! Это были дружеские одолжения, которые не в счет. Мы перепутывались, как могли, не считаясь с этим. При существующем же положении многое из того, что было раньше, — неудобно.

— Как хотите, как хотите, — расшаркался Громов.

— Очень вам благодарен за одолжение, — с достоинством поклонился Клинков и, выдвинув из угла свой чемодан, принялся укладываться.

Полуодетые Громов и Подходцев сидели на кроватях и мрачно наблюдали за пыхтящим Клинковым.

— Виноват, — деликатно сказал Клинков, роясь в белье. — Это, кажется, ваши платки. А этот галстук — ваш. Будьте добры получить их. Мне бы не хотелось огорчить вас отсутствием ваших любимых вещей.

— Говорит, как какой-нибудь дохлый маркиз средних веков, — проворчал Подходцев. — Терпеть не могу этих штук.

— Ну, что делать, — ласково кивнул головой Клинков. — Последний раз... потерпите.

После долгого молчания Громов спросил:

— Когда ж ты вернешься?

— О, я, право, не знаю. Дядя уже давно зовет меня за границу. Вероятно, проживем годик в Швейцарии, а потом

переедем еще куда-нибудь... Ну, вот и готово! Прощайте, господа! Желая вам жить весело и чтобы жизнь вас не трепала особенно больно.

— Ключи на комод, пишите, — сострил Подходцев с таким, однако, видом, будто выполнил тяжелую весьма кислого вкуса обязанность. — До свиданья, Клинище. Не поминай лихом.

— О, нет, зачем же. Пусть все дурное постепенно выветривается и останутся только хорошие, как старое крепкое вино, дружеские воспоминания о наших утехах и забавах.

— Завтра, кажется, есть лучший поезд, — осторожно заметил Громов.

— Нет, все равно. Спасибо. Я уж пойду.

Вышли на улицу гуськом: впереди Клинков, пыхтя под тяжестью чемодана, за ним Подходцев, с двумя картонками в руках, а сзади Громов, несший как последнюю дань дружбы крохотную клинковскую коробочку из-под духов, наполненную запонками...

Клинков уселся на извозчика.

— Ну, всего вам хорошего, друзья!

— Прощай, прощай, — неуверенно бормотал Подходцев, похлопывая рукой по крылу пролетки. — Ну, кланяйся там дяде, как вообще... полагается.

А когда пролетка тронулась, он пошутил в последний раз: схватил могучей рукой колесо и придержал экипаж.

Почуяв толчок, Клинков обернулся последний раз, погрозил с печальной шутливостью пальцем и — уехал.

Глава XVI АТМОСФЕРА ОЧИСТИЛАСЬ

Вернулись в комнату. Снова улеглись на кроватях. Долго поглядывали в потолок, будто ища нужных слов.

— Вот и уехал наш Клинков.

— Да... Как-то неожиданно. Я совсем не думал. Положим, в последнее время он сделался совершенно невыносимым, правда?

— Ну, мы тоже фрукты хорошие! — с внезапным приливом самообличения рывкнул Подходцев. — Тоже и с нами жить не мед.

— Любил покойничек чистоту, — уныло улыбнулся Громов. — Гляди: даже то место, где стоял его чемодан, выделяется таким аппетитным свежавыкрашенным квадратом!

— Да... А как он любил покушать. Бывало, когда ни спросишь: «Клиночек, хочешь пожевать чего-нибудь?» — всегда приходил в восторг.

— А помнишь эту девицу, с которой мы Пасху встречали? Такую штуку только и мог выкинуть Клинков.

— А как он ловко себя вел, когда мы у Харченки под покойничка субсидию брали.

— Свиныя этот Харченко, — вставил Громов. — Не сравнивать его с Клинковым.

— Еще бы! У Клинкова была какая-то благородная простота в обращении. Ты заметил?

— Мало что простота. Он был всегда ровен и покладист, чего нам с тобой недостает.

— Потому-то ты его и выжил, — ехидно вставил Подходцев.

— Я? Я его выжил? Ну, это, знаешь ли, свинство! Сам же обидел его дядю, ругал Клинкова, провел параллель между ним и мясорубкой...

— Врешь ты все, — возразил Подходцев. — Вот Клинков бы не врал. Он был такой правдивый.

— Поди-ка поймай его, правдивого Клинкова. Катит он теперь в вагоне и думает о нас очень плохо.

— Ну, он еще не уехал, вероятно. До поезда сорок минут.

— Едва ли теперь уж вернешь его.

— А почему? Я думаю, успеть можно.

— Попробуй-ка. Я ему, признаться, все деньги отдал. Нет даже на извозчика.

— Пустяки! У нас есть запечатанная бутылка водки и перочинный ножик. Я думаю, извозчик возьмет это вместо денег.

— Так ты бы еще больше возился!! Сидит — размазывает... Заворачивай водку в бумагу — едем.

— Шляпа!! Где моя шляпа?! Вечно ты ее куда-нибудь засунешь!

Извозчик согласился на странную комбинацию с водкой и ножом только тогда, когда попробовал — не вода ли в бутылке.

Извозчик, подгоняемый воплями и стонами двух друзей, летел, как вихрь...

Оба друга, как камни, свалились с пролетки и помчались на перрон.

— Что, поезд на Киев еще не ушел? — подлетел Подходцев к начальнику станции.

— Две минуты тому назад ушел.

Подходцев вспыхнул:

— И черт вас знает, куда вы так всегда торопитесь?! Вам бы только крушения устраивать.

Разочарованные, опечаленные оба друга с опущенными головами побрели в буфет.

— Выжили человека... Добились...

— Да уж... Скотами были, скотами и останемся. Не могли уберечь эту кристальную душу.

— Слушай! — закричал вдруг Подходцев. — Вот она!!

— Кто?

— Кристальная душа-то! Пожарскую котлету лопают.

Действительно, за буфетным столиком сидел путешественник Клинков и с аппетитом ел вторую порцию котлет.

Подходцев подошел к нему сзади, нежно поцеловал его в крохотную лысину и сказал:

— Хочешь чего-нибудь покушать, Клиночек?

— Хочу! — восторженно сказал Клинков. — Только как же с поездом?

— Уже ушел, брат.

— И куда они торопятся, черт их дерит? — пожал плечами Клинков.

— То же самое и я сказал начальнику станции. Тут около вокзала есть ресторан с садиком.

— Знаю, — снисходительно кивнув головой, подтвердил Клинков. — Прекрасное пиво.

Когда все чокнулись, Громов не удержался:

— Серьезно, Клинков, у тебя есть дядя?

— Доподлинно я не уверен, — наморщил брови Клинков. — Может быть, с ним действительно, по словам Подходцева, дают свидание только по пятницам. Чего не знаю — того не знаю... Но дело в том, что у нас в комнате слишком много скопилось электричества. Я и разрядил его по своему разумению.

- Отныне назначаю вас своим придворным электротехником, — величественно заявил Подходцев.
- А я не прочь тебя поцеловать, — добавил Громов.
- Верный себе Клинков подмигнул и цинично захохотал:
- В этом ты сходишься с большинством девушек и дам...

Конец 1-й части

Часть II

Глава I

ЖЕНЩИНА, НАЙДЕННАЯ НА ПЛОЩАДКЕ

Был уже глубокий вечер, когда Громов, насвистывая наскоро сочиненный для восхождения на лестницу марш, бодро поднимался в общую квартиру, где его с нетерпением ждали Подходцев и Клинков.

Громов уже приближался к площадке третьего этажа, как вдруг слух его поразил чей-то тихий заглушенный плач...

«Ого, — подумал Громов. — В этом доме и плачут... Не подозревал. До сих пор я слышал только смех. Такова жизнь. Плачет ребенок или женщина...»

Плакала женщина.

Громов обнаружил ее на площадке третьего этажа сидящей на подоконнике в каракулевой кофточке и меховой шапочке. Лицо было закрыто очень красивыми руками, а плечи вздрагивали.

— Послушайте... — откашлявшись, сказал Громов.

Она отняла руки, обернулась миловидным круглым лицом к Громову и сказала с некоторым упрямством, будто продолжая вслух то, о чем думала:

— Вот пойду сейчас и утоплюсь в реке!

— Ну что вы! — запротестовал Громов. — Кто же из нашего круга топится в декабре, когда на реке двухаршинный лед... Кто вас обидел?

Она бы, может быть, и не ответила, но Громов с таким общительным товарищеским видом сложил в углу широкого подоконника свои покупки и присел около плачущей, что

она, поглядев на него и вытерев глаза крохотным комочком платка, улыбнулась сквозь слезы:

— Муж.

— Это уже хуже. Муж — это не то, что посторонний. Конечно, я не смею расспрашивать вас о подробностях, но если вам нужна моя помощь...

— Никто мне не может помочь, — снова заплакала дама. — Он очень ревнивый. Сегодня приревновал меня безо всякой причины и... выгнал из квартиры.

— А почему же вы тут очутились?

— Да это же моя квартира и есть.

Не вставая, она хлопнула рукой по обитой клеенкой двери, на которой висела карточка:

«Максим Петрович Кандыбов».

Громов задумчиво посвистал и спросил:

— Вы сейчас куда идете?

— Никуда. Мне некуда идти. У меня почти нет денег, и все родные далеко отсюда... Ну, что вы мне посоветуете?

— Прежде всего посоветую спрятать носовой платок. Поглядите: он так мокр, что если утереть им даже сухие глаза, то они сразу наполнятся потоками слез. Курьезные вы, женщины... Когда дорветесь до слез — море выльете, а платочки у вас, как нарочно, величиной с почтовую марку. Натя мой — он совсем чистый, — утрите напоследок, и баста. Ну, постойте... дайте я... Эх вы, дитя малое! Ваш-то муж... поди, негодяй?

— Да... он нехороший.

— Еще бы. Ясно как день. Однако жить вам здесь, на подоконнике, не резон. Тесно, нет мебели, и комната, так сказать, проходная. Пойдемте пока к нам, там придумаем.

— К кому... к вам?.. — робко спросила дама, тщательно осушая глаза громовским платком.

— Нас трое: Подходцев, толстый Клинков и я, Громов. Не обидим, не бойтесь. А вас как зовут?

— Марья Николаевна.

— Вы паюсную икру любите, Марья Николаевна?

— Люблю. А что?

— Вот она, видите? И многое другое. Пойдем. Есть будем.

Громов постучал в дверь и крикнул в замочную скважину:

— Встаньте с кроватей — дама идет.

— Вот тебе! — сказал Клинков, подскакивая с кровати. — Дама! Однако откуда он знает, что мы лежим на кроватях?..

— Да ведь мы когда дома, всегда лежим, — кротко возразил Подходцев, поправляя перед зеркалом растрепанную прическу. — Войдите!

— Освободите меня от свертков, — скомандовал Громов. — А эта дама — Марья Николаевна. Я нашел ее на подоконнике, площадка третьего этажа дома № 7 по Николаевской улице — совершенно точный адрес.

Клинков, как признанный специалист по женщинам, расшаркался перед Марьей Николаевной, снял с нее верхнюю кофточку, ботинки и ласково подтолкнул ее к горячей печке.

— Вы тут грейтесь, а я пока познакомлю вас с товарищами.

Он сел верхом на стул, оглядел довольным взглядом стоявших у окон товарищей и начал:

— Тот, вон, что повыше, — это Подходцев. У этого человека нет ничего святого — иногда он способен обидеть даже меня... Он — скептик, атеист, мистификатор и в затруднительных случаях проявляет ту спокойную наглость, которая так часто вывозит в жизни. Пальца ему в рот не кладите — не потому, что он его откусит, а вообще — не заслуживает он этого. Тот тупой смешок, который корчит его сейчас, как бересту на огне, для него обычный. Положительные качества у него, конечно, есть. Но рядом со мной он бледнеет. Перейдем ко второму, к тому, который нашел вас на подоконнике. Громов. Сентиментальная душонка, порывается все время в высоту, несколько раз был даже заподозрен в писании стихов. За это пострадал. Верит во все благородное — в меня, например, — и не без основания. Возвышенные свойства его души, однако, не мешают ему быть виртуозом по части добывания денег. Завезите его в пустыню Сахару и бросьте его там без копейки денег, к вечеру он очутится с десятью долларами, которые он перехватит у знакомого льва, проглотившего их в свое время вместе с африканским путешественником. А впрочем, и в этом отношении я выше его. К женскому полу равнодушен (идиот!), и то, что он вас привел сюда, скорее свидетельствует о его добром сердце, чем о вашей красоте, в которой тут, кроме Клинкова, кажется, никто и не понимает. В заключение о Громове можно сказать, что он хороший товарищ и обожает нас с Подходцевым.

Иногда пьет разные напитки, довольно красив, как видите, чисто одевается. Рядом со мной бледнеет. Теперь перейдем к третьему — ко мне. Но о себе я ничего не скажу: пусть за меня говорят мои поступки. Пожалуйте ручку!

Пока Клинков разливался соловьем перед гостьей, уже оправившейся от смущения, Громов разворачивал закуски, раскладывал их по тарелкам, а когда Клинков закончил, Громов улыбнулся и добродушно обратился к Марье Николаевне:

— Не напоминает ли вам Клинков индюка, который, как только увидит представительницу прекрасного пола, сейчас же распустит все перья, напыжится и заболтает что-то, очевидно, очень умное на своем индюшечьем языке?

— Хороший товар не нуждается в рекламе, — подмигнул Подходцев, — а испорченный нужно назойливо рекламировать, чтобы его взяли.

— Марья Николаевна! — воскликнул Клинков. — Эта завистливость, не производит ли она на вас болезненного впечатления? Не виноват же я, что они по сравнению со мной проигрывают!

— Проигрываем, потому что ты козырного туза держишь в рукаве...

— А у тебя на спине туз скоро будет, — всякому свой козырь.

— Позвольте, я буду разливать чай, — сказала Марья Николаевна, совсем отогревшаяся и душой и телом в несколько сумбурной, но теплой компании троих друзей.

— Видите, — обрадованно сказал Громов, — сразу уютнее сделалось, когда хозяйка сидит за самоваром.

— А вы все трое холостые? — спросила Марья Николаевна, намазывая икру на хлеб.

— Да! — поспешил сказать Клинков. — За них никто не хотел выходить замуж, а я не могу найти себе женщины, душа которой звучала бы в унисон с моей душой.

— Не там ты ищешь такую душу, — соболезнующе сказал Подходцев.

— А где же искать?

— В женской пересыльной тюрьме.

— Ладно вам! — немного растерялся Клинков под общий смех. — А зато кому дала Марья Николаевна первый бутерброд с колбасой? Мне!

— Жаль только, что этот кусок был отрезан с краю колбасы и немного подсох, — улыбнулся Громов.

Глава II КОМПАНИЯ БЕРЕТ БЫКА ЗА РОГА. ГОСПОДИН КАНДЫБОВ

После чаю перешли на деловые разговоры: приятели с редкой серьезностью приступили к обсуждению будущей жизни Марьи Николаевны.

— Раз вы говорите, что ваш муж нехороший — вам с ним и жить не стоит, — сказал Клинков.

— Ты ничего не понимаешь, — возразил деликатно Подходцев. — Конечно, можно и уйти от мужа, но дело в том, есть ли у Марьи Николаевны средства?

— У меня лично нет, — отвечала Марья Николаевна, заражаясь деловитостью троих друзей. — Но мои родители имеют солидные средства.

— Только не сообщайте Громову их адреса, — предостерег Клинков.

— Молчи, Клинков. А вы надеетесь, что родители смогут поддержать вас, когда вы уйдете от мужа?

— Я думаю... да. Нужно только им написать.

Подходцев, как всегда, оказался самым деловым.

— Тогда дело просто. У вас сейчас нет денег, и у нас их мало. Значит, заемная операция проваливается. Но у нас на троих есть две комнаты — недопустимая роскошь! До получения ответа от ваших почтенных родителей оставайтесь жить у нас, поселяйтесь в маленькой комнате, а мы оседем втроем в этой, Громов будет спать на диване.

Тут же Подходцев почувствовал, что кто-то под столом схватил и пожал его руку.

Так как руки Марьи Николаевны и Клинкова были на столе, то Подходцев сказал Громову:

— А-а, здравствуйте, как поживаете! Громов! Может быть, ты имеешь что-нибудь против этого?

— Нет... я с удовольствием, — пролепетал покрасневший Громов.

— А вы, Марья Николаевна?

— Но я... вас стесню...

— Тссс! В этой квартире праздные разговоры не в ходу. Значит, решено?

— Я вам не все сказала, — нерешительно пролепетала Марья Николаевна, опустив глаза на стакан, который она протираала полотенцем. — У меня есть дочь. Я без нее не могу... Я ее так люблю... А он не отдает ее мне.

— Сколько ей лет? — спросил деловой Подходцев.

— Четыре года.

— Только-то? Так мы ее отберем от отца — вот и все.

— Он не отдаст, — пролепетала Марья Николаевна, машинально утирая полотенцем слезинку с ресницы.

— Нам?! — ахнул Подходцев. — Нет, видно, вы нас еще мало знаете. Он сейчас дома, муж ваш?

— Дома...

— Громов, пойдем к нему!

— Я, конечно, пойду, — сказал Громов, опасливо поглядывая на Клинкова, — только...

— Что — только?

Громов отвел Подходцева в сторону и шепнул ему:

— Клинков...

— Что Клинков?

— Ты ведь знаешь, какой он ловелас и нахал в отношении женщин...

— Да тебе-то что?.. Не маленькая ведь она...

— Я понимаю, но...

— Громов!

— Что Громов? Ну что — Громов?

— Ой, Громов... Боясь я, что ты в этом деле плохо кончишь...

— Ну, ладно, ладно... Начал уже! — сконфузился Громов. — Пойдем, я ведь ничего не говорю.

— Марья Николаевна, — обратился Подходцев к гостье. — Мы уходим по вашему делу. Предупреждаю, что Клинков, который остается с вами, будет унижать нас и ловеласничать с вами. Он толст, лжив и глуп. Остальное — ваше дело; смотрите сами.

Застраховавшись таким образом, приятели расшаркались и ушли.

— Вы — Максим Петрович Кандыбов? — сказал Подходцев, без приглашения проходя в гостиную. За ним бес-

страшно шагал маленький, но исполненный решимости Громов.

— Я. А, собственно, в чем дело?

— Да дело для вас выходит неприятное. Общество защиты женщин осведомилось, что вы жестоко обращаетесь с женой, и его превосходительство, генерал Петров, завтра поедет к вашему начальству, чтобы сделать доклад по этому поводу. Я же приехал с его превосходительством (он величественно указал на Громова), чтобы, согласно § 18, пункт 7, отобрать у вас дочь вашей жены.

— Дочь? — вскричал побледневший от всей этой горы генеральских титулов и параграфов Кандыбов, сухой старик с поджатыми губами и тупым неприятным выражением лица. — Дочь я вам ни за что не отдам!

— А вы статью 1447-ю знаете? — со зловещим спокойствием спросил Подходцев.

— Знать не хочу! Не получит эта распутница мою дочь!

— В таком случае мы принуждены будем вас арестовать, — холодно сказал Громов.

— Арестуйте! Я в своем праве.

Оба приятеля растерянно переглянулись. Они не ожидали такого упорства. Но Подходцев оценил положение со свойственной ему быстротой.

Он согнул свою стройную фигуру и, сверкая глазами, как тигр, стал подкрадываться к оторопевшему Кандыбову.

— А-а, проклятая рухлядь, — зашипел он. — Или ты отдашь нам ребенка, или вся твоя квартира взлетит на воздух. Нам терять нечего — я бежал с каторги и скоро снова пойду туда, а мой товарищ болен скоротечной чахоткой! Ты можешь поднять крик, но тебе же будет хуже. Я скажу, что мы пришли как агенты по страхованию жизни, а ты напал на меня и начал меня бить. Товарищ под присягой покажет, что ты набросился даже на меня с ножом. За это — три месяца тюрьмы, время достаточное, чтобы жена твоя десять раз забрала ребенка. Лучше отдай добровольно.

— Мерзавцы! — злобно сказал старик.

— Конечно. А ты что думал? Мы и не скрываем — да, мерзавцы. Я еще ничего, а мой товарищ — сплошной мрак.

— Я буду жаловаться на вас в суд.

— Вот. Самое лучшее. Пока что ребенок будет у жены, а там пусть суд рассудит. Это уж не наше дело. Мы взяли тысячу рублей чистоганчиком и обещали за это доставить ребенка, остальное нас не касается. Верно, Громов?

— Понятно.

— А если я вам все-таки не отдам девочки?

— В тюрьму засадим. Ложь, донос, клятвопреступление — все пустим в ход. Чудак! Ведь говорят же тебе, что терять нам нечего. Будь мы еще порядочные люди...

Растрезоженный старик задумался.

— Девочку я матери отдам, потому что все равно потом отберу ее по закону, а на вас буду жаловаться.

— Конечно, конечно, — согласился справедливый Громов. — Мы бы на вашем месте этого дела так не оставили. С какой стати! Действительно, таких вещей прощать не следует.

— Но ребенка я вам в руки не отдам. Пусть горничная непосредственно передаст его матери.

— Не доверяете? Пожалуйста. Только соберите их платья, белье, и пусть горничная принесет все сюда, наверх.

— Моя жена наверху? — быстро спросил старик.

— Да. В квартире жандармского полковника Подходцева. Она, впрочем, пришлет вам расписку в получении дочери.

Молчавший Громов добавил:

— А за то, что вы жестоко обращаетесь с женой, вы пострадаете.

— Вон отсюда!

— И за то, что жестоко обращаетесь с нами, тоже пострадаете!..

Глава III ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК В ДОМЕ

Вернувшись домой, Подходцев и Громов застали мирную картину: Марья Николаевна лежала, свернувшись калачиком на диване, а Клинков читал ей какую-то книгу.

— Ну, что? — встретил вернувшихся Клинков. — Наверное, без меня никакого толку не вышло?

— Нет, вышло, Марья Николаевна, сейчас вы получите вашего ребенка...

— Неужели он согласился?!

— Видите ли... он сначала как будто бы был против, но мы его уговорили.

— Привели, так сказать, резоны, — подтвердил Громов.

— И ваше белье принесут, и вещи.

— Какие вы милые! — воскликнула повеселевшая Марья Николаевна, протягивая им обе руки, которые они почтительно поцеловали.

— Важное дело — рука, — завистливо сказал Клинков, отходя к печке. — То ли дело — губы.

— Клинков!! — грозно прорычал Громов.

— Он обо мне что-нибудь спрашивал? — осведомилась Марья Николаевна.

— Да, — великодушно сказал Подходцев. — Он спрашивал: «А как ее здоровье?»

— А мы говорим, — подхватил, бросая на Подходцева благодарный взгляд, Громов. — «Ничего, спасибо, здоровье хорошее». Он был грустен.

И поколебавшись немного, Громов добавил:

— Он плакал.

— В три ручья, — беззастенчиво поддержал Подходцев. — Как дитя.

— Еще бы, — ввязался в разговор Клинков. — Потерять такую женщину... Ручку пожалуйте!

Через полчаса горничная принесла два узла с бельем и девочку лет четырех. Горничная была заплакана, девочка была заплакана, и даже узлы была заплаканы — так щедро облила их слезами верная служанка.

Девочка бросилась к матери, а Подходцев, чтобы не трогаться, отвернулся и обратился сурово к горничной:

— Передай своему барину, что тут ты видела барыню и трех каких-то генералов с золотыми эполетами. Скажи, что ты слышала, как один собирался ехать жаловаться министру на твоего барина.

Когда горничная ушла, Марья Николаевна удалилась с девочкой в отведенную для нее комнату, а трое друзей принялись укладываться на диване и кроватях.

Разговаривали шепотом:

— Заметили, как она на меня смотрела? — спросил Клинков.

— Да, — отвечал Подходцев, — с отвращением.

— Врете вы. Она сказала, что я напоминаю ей покойного брата.

— Очень может быть. В тебе есть что-то от трупа.

— Тиш-ш-ше! — грозно зашипел Громов. — Вы можете их разбудить!

Клинков ревниво захихикал:

— «Громов влюблен, или — Дурашкин в первый раз отдал сердце! Триста метров». Хи-хи...

Глава IV ДАРЫ

Раннее утро...

Из-под одеяла выглянула голова, покрытая короткими черными жесткими волосами. Вороватые глаза огляделись направо, налево, и толстые губы лукаво улыбнулись.

Убедившись, что товарищи еще спят, Клинков потихоньку сбросил одеяло, бесшумно оделся и, не умывшись, стал с замирающим сердцем прокрадываться к дверям.

Скрип запираемой Клинковым двери заставил показаться из-под одеяла вторую голову — с тонким породистым носом, задумчивыми голубыми глазами и красными от сна щеками, на одной из которых оттиснулась прошивка на-волочки...

Громов удивленно поглядел на опустевшую кровать Клинка, полюбовался на спящего богатырским сном Подходцева и, хитро улыбнувшись, начал одеваться. Делал он это как можно тише, и, когда один ботинок стукнул громче, чем нужно, Громов даже погрозил сам себе пальцем. Но Подходцев продолжал сладко спать — только губами зачмокал, будто жуя что-то сладкое...

После ухода Громова Подходцев пролежал не больше пяти минут — очевидно, так уж были спаяны эти три человека, что не могли ничего сделать один без другого, даже проснуться.

Подходцев зевнул, приподнялся на локте, оглядел пустые кровать и диван, задумчиво посвистал, оделся и, прикрепив на двери, ведущей в маленькую комнату, бумажку с надписью: «Не беспокойтесь, вернемся через полчаса, будем пить чай»; — ушел.

Мирно тикали часы в затихшей комнате... Минутная стрелка пробежала не больше двадцати минут...

Скрипнула наружная дверь, и плутоватые выпуклые глаза Клиноква заглянули в щель. Убедившись, что никого нет, он вошел в комнату и развернул находившийся в руках большой сверток... Полдюжины роскошных желтых хризантем выглянули из бумаги своими мохнатыми курчавыми головками.

Клинков взял глиняную вазу с сухими цветами, выбросил их, вставил свои хризантемы, налил воды, поставил это нехитрое сооружение на стул перед дверьми маленькой комнаты и, отойдя, даже полюбовался в кулак — хорошо ли?

Умылся, тщательно причесался и, одетый, лег на диван.

Когда вернулся Громов, Клинков представился спящим.

У Громова тоже оказался сверток — большая игрушечная корова, меланхолично покачивавшая головой.

Громов опасливо оглянулся на Клиноква, поставил свою корову на другой стул около клинковских цветов и, облегченно вздохнув, улегся на одну из свободных кроватей.

Когда вошел Подходцев со свертком в руках, оба сделали вид, что сладко спят, но Подходцева на этот дешевый прием никак нельзя было поймать..

— Ну, ребята, нечего там дурака валять и закрывать глаза на происшедшее — вставайте!!

Потом он оглядел оба стула с подарками, пожал плечами и сказал:

— А вы не боитесь, что это животное пожрет эту траву?

В развернутом им свертке оказались: гребенка, кусок дорогого туалетного мыла и флакон одеколона — Подходцев и тут оказался на высоте практичности.

Он же разбудил и Марию Николаевну, он же распорядился насчет чаю, он же подал через дверь кувшин с водой, чашку и все свои покупки.

Когда свежая от холодной воды, благоухающая одеколоном Мария Николаевна в каком-то сиреновом кружевном пеньюаре вышла в большую комнату, ведя за руку дочь, все ахнули: так она была элегантна и уютна.

— Как вы милы, что подумали обо всем, — обратилась она к Подходцеву.

— Ну, вот еще новости. А эти два туземца ведь тоже кое о чем подумали...

Шаркая ногой и извиваясь, насколько позволял ему плотный стан, преподнес свои цветы Клинков. Тут же с другой стороны Громов самым умильным образом подсунул девочке свою меланхолическую корову.

— Господа... Зачем вы это... Я вам и так столько беспокойства доставила, — мило лепетала Марья Николаевна, разливая чай. — Валя, поблагодари дядю.

— Вот ты молодец, что подарил мне корову, — сказала Валя, бесстрашно влезая на громовские колени. — Так мне и надо.

И звучно поцеловала вспыхнувшего Громова в щеку.

— Гм! — сказал Клинков, — если бы я знал, что за коров полагается такая благодарность, я бы вместо цветов подарил корову.

— Говоришь о корове, — недовольно пробормотал Подходцев, — а сам все время подсовываешь осла.

— Марья Николаевна, разве я вам Подходцева подсовывал?

— Бледно, — пожал плечами Подходцев. — Вы на него не обижайтесь, Марья Николаевна, он ведь ни одной женщины не может видеть равнодушно... Юбки не пропустит! Один раз написал любовное письмо даже дамскому портному.

Глава V ИСКУССТВО РАССКАЗЫВАТЬ СКАЗКИ

Громов самым нежным образом держал Валю на коленях и поил ее чаем с блюдечка.

Валя отпивала глоток, останавливала внимательный взгляд на лице Громова, открывала рот, чтобы что-то спросить, но неопытный Громов, замечая отверстый рот, моментально заливал его теплым чаем.

Наконец Валя пустила в блюдце пузыри, отвернулась от него и спросила:

- А у тебя дитев нету?
- Нет, — сказал Громов;
- А отчего?

— Так, не водятся они у меня... — уклончиво ответил Громов.

— Он их жарит в сметане и ест, — вмешался Клинков. — Очень любит их. Только на сковородке.

— Ну, хоть ребенка-то ты можешь оставить в покое! — с некоторым раздражением сказал Громов.

— Что это значит «хоть»? — спросил Клинков. — А кого я еще не оставляю в покое?

— Взрослых. Но они могут сами за себя постоять, а это — ребенок.

— А ну вас к черту, — вдруг рассердился Клинков. — Мне Марья Николаевна нравится, и я прямо высказываю это ей. Думаю, в этом нет ничего обидного. А вы чувствуете то же, но с пересадкой: ты изливаешь свою благосклонность на невинное дитя, Подходцев корчит из себя заботливого опекуна...

— Тссс! — засмеялась Марья Николаевна. — Я вовсе не хочу быть яблоком раздора. Вы все одинаково милые, и нечего вам ссориться...

— Впрочем, может быть, я тут и лишний, — кротко и задумчиво сказал Клинков, впадая в лирический тон, — так вы мне в таком случае скажите — я уйду.

— Нет, ты должен быть здесь, — строго сказал Подходцев.

— Почему?

— Потому что сор из избы обычно не выносятся!

— А у тебя глазки закрываются? — спросила Валя, по-прежнему внимательно изучая лицо Громова.

— На многое, — усмехнулся Громов.

— Закрываются, я спрашиваю?

— О, еще как!

— А ну, закрой.

Громов закрыл.

— Так же, как у меня, — пришла в восторг Валя. — А сказки ты знаешь?

— Я-то? Знаю, да такие все ужасные, что не стоит и рассказывать. Очень страшные.

— А ты Расскажи!

— Это нам легче легкого. Ну, о чем тебе?.. Видишь ли, была этакая баба-яга. Жила, конечно, в лесу... Да.. Лес такой был, она в нем и жила... Ну, вот — живет себе и жи-

вет... Год живет, два живет, три живет... Очень долго жила. Старая-престарая. Можно сказать, живет, поживает, добра наживает. Да-а... Да так, собственно, если рассудить, почему бы бабе-яге и не жить в лесу. В городе ее сейчас бы на цугундер, а в лесу — слава-те Господи! Вот, значит, живет она и живет... Пять лет живет, восемь...

Ревнивый взгляд Клинка подметил, с какой лаской растроганная мать смотрит на рассказчика, дарящего своим вниманием ее крошку.

— Да что ты все: живет да живет, — перебил он. — Не знаешь, так скажи, а нечего топтаться на одном месте. Вот я тебе расскажу, мышонок мой славный... Ну, иди ко мне на колени — гоп! Слушай: жила-была баба-яга... Поймала она раз в лесу мальчишку и говорит ему: мальчик, мальчик, я сдеру с тебя шкуру. — Не дери ты с меня шкуру, — говорит он ей. Не послушала она, содрала шкуру. Потом говорит: мальчик, мальчик, я тебе глаза выколю... — Не коли ты мне глаз, — хнычет мальчишка. Не послушала, выколола. — Мальчик, мальчик, — говорит она потом, — я тебе руки-ноги отрежу. — Не режь ты мне рук-ног. Но старуха, что называется, не промах — взяла и отрезала ему руки-ноги...

Увлеченный полетом своей фантазии рассказчик, возведя очи к потолку, не замечал, как лицо девочки все кривилось-кривилось, морщилось-морщилось, и наконец она разразилась горькими рыданиями.

— Тебе бы сказки рассказывать не детям, а нижним чинам жандармского дивизиона, — сказал Подходцев, отнимая у него малютку. — Детка, ты не плачь. Дело совсем не так было: баба-яга действительно поймала мальчика, но не резала его, а просто проткнула пальцем мягкое темя малютки и высосала весь мозг. Мальчик вырвался от нее, убежал, а теперь вырос и живет до сих пор под именем Клинка. Дырку в голове он заткнул любовной запиской, а мозгу-то до сих пор нет как нет.

— Очень мило, — пожал плечами Клинок. — Сводить личные счета, вмешивая в это невинного младенца... — Марья Николаевна! Если вам нужно куда-нибудь, я вас провожу...

— Собственно, мне нужно в два-три места по делу, но я думала, что меня будет сопровождать Подходцев. Он такой опытный в разных делах.

Клинок, чтобы скрыть смущение, подмигнул и сказал, выпятив грудь:

— Да-с! Клинок совсем не для разговоров о делах. С Клиновым разговаривают совсем о другом.

Отошел к окну и стал сосредоточенно глядеть на улицу.

А Громов отозвал Подходцева в сторону и, краснея, шепнул ему:

— Почему ты с ней едешь, а не я?

— А почему ты бы поехал, а не я?

— Да, но ведь я ее нашел, я ее привел...

— Ну-ну! Без собственников... Что она, котенок бродячий, что ли? Зато я добыл для нее ребенка, и, наконец, она сама меня пригласила...

— Пожалуйста, — хмуро сказал Громов. — Ты прав, я не спорю. Клинок! А ты что думаешь делать?

— Я думаю приказать, — сказал, продолжая стоять у окна спиной ко всем Клинок, — чтобы мой кучер Семен заложил пару моих серых в яблоках, и поеду к князю Кантакузен.

— Оставайся лучше дома, — бледно улыбнулся Громов, — серых мы выбросим, яблоки съедем, а потом займемся с Вале́й — не оставлять же девочку одну. Вале́й! Я тебе сейчас нарисую крокодила.

И, погладив девочку по головке, Громов принялся чинить карандаш.

Глава VI ПОДХОДЦЕВ САМЫЙ УМНЫЙ. ИДИЛЛИЯ

Сумерки...

Подходцев лежал на кровати, заложив руки за голову, и мечтал Бог его знает о чем. Изредка хмурился, сжимал голову руками, но потом, испустив легкий вздох, снова опал, как внезапно ослабевшая пружина...

Громов безмолвно сидел на подоконнике, устремив упорный взгляд на улицу — «изучал кипучее уличное движение», как он вяло объяснил друзьям, заинтересованным его страшным поведением.

Валя сидела на коленях у Клинка и, по своему обыкновению, рассматривая в упор лицо своего взрослого собеседника, несколько раз тоскливо спрашивала:

— Где мама?

— Мама ушла по делу, — неизменно отвечал Клинок, разглаживая ее кудри. — Скоро вернется.

— Да она уже давно ушла.

— Тем больше резонов ей скорее вернуться.

— Чего?

— Резонов.

— Каких?

— Ты знаешь, что такое резон?

— Н... нет.

— Это такой человек, который детей режет, когда они пристают к нему с расспросами.

— А где он живет?

— На углу Московской и Безымянного...

— Он ходит по улицам?

— Да, уж такое его поведение, — рассеянно отвечал Клинок, прислушиваясь к чьим-то шагам на лестнице.

— А он маму не возьмет?

— Кажется, что мы все этого серьезно опасаемся, — с грустной насмешливостью ответил за Клинка Подходцев...

— Не говори глупостей, — оборвал его Громов. — Раз Марья Николаевна говорит, что идет по делу, значит, дело существует.

— Конечно, существует, — как-то странно неестественно хрипло рассмеялся Подходцев. — А если бы вы слышали, как это «дело» звякает шпорами! Прямо малиновый звон.

Кубарем скатился с подоконника Громов и, подступив к холодно глядевшему на него Подходцеву, спросил дрожащим голосом:

— Что это значит?

— Шпоры-то? Да ведь шпоры были не сами по себе... Они были прикреплены к ногам... В темноте мне еще удалось рассмотреть живот, грудь, руки и голову. Все вместе составляло одного весьма недурного собой офицера... Он довозил ее до нашего подъезда.

— Может быть, это какой-нибудь родственник? — неуверенно предположил Клинок.

— Ну да, — с некоторой надеждой подхватил Громов. — Она, вероятно, была у него по делу о разводе с мужем, и он довез ее потом до дому.

— Дескать, вечером одной опасно, — проговорил, призадумавшись, Клинков, — он ее и довез.

Громов добавил, лоя подтверждающий взгляд Подходцева:

— Обыкновенная вежливость.

— А не сыграть ли нам в карты? — вдруг ни с того ни с сего предложил Подходцев.

— Почему в карты? Во что именно?

— В «дураки». Конечно, игра эта ничего нового не прибавит к нашим характеристикам, но она лишний раз подтвердит то мнение о вас, которое я себе составил...

Громов и Клинков засмеялись, но ничего не возразили.

Громов стал тасовать карты, а Клинков повел Валю укладывать спать...

— Ну, вот, Валя... давай я тебе сниму чулочки, башмачки и платице, ты и ложись спать... Умыть тебя?

— Да ты всегда заливаешь мне воду за шею!..

— Это новый, открытый мной способ, на который я думаю взять привилегию. Иначе не умею.

— Мама лучше умывает.

— Ну, что там мама! У нее, брат, дел и без тебя много.

— Ну, вот видишь — опять всю облил.

— А ты сохни скорей, вот и будет хорошо.

— Ой, мыло в рот попало!..

— А я думал, ты взбесилась. Смотрю — изо рта пена. Выплюнь.

Долго возился заботливый, но крайне неуклюжий Клинков (с некоторых пор он заменил совсем павшего духом Громова) около девочки, пока не уложил ее в постель.

— Ну, спи, звереныш.

— Послушай, а Богу молиться... Почему ты меня не помолил?

— Ну, молись.

Девочка стала на колени.

— Ну? — обернулась она к нему.

— Что тебе еще?

— Говори же слова. Я ж так же не могу, когда мне не говорят слова.

— Ну, повторяй: «Господи, прости мою маму, Клинкова, Громова и Подходцева...» Они, брат, совсем, кажется, закрутились.

— ...«Они, брат, совсем, кажется, закрутились», — благоговейно произнесла девочка.

— Нет, это не надо! Это не для молитвы, а так. Ну, теперь говори: «Спаси их и помилуй!»

— А папу? — вдруг спросила Валя, глядя на него сбоку удивленным черным глазом.

— Папу? Ну, можно и папу, — решил щедрый Клинков. — Бог его простит, твоего папу.

— Готово? — спросила девочка.

Клинков неуверенно согласился:

— Пожалуй, готово.

— А теперь сказку, — скомандовала Валя, ныряя под одеяло.

— Еще чего! Спи.

— Ну, скажи сказку, ну, пожалуйста.

— Да я все страшные знаю.

— Расскажи страшную!

— Ну, слушай: в одном доме разбойники убили старуху, отрезали ей голову и унесли, а туловище бросили в запертой квартире. Пришли домой, голову съели и легли спать. Вдруг ночью слышат, кто-то ходит по ихней комнате. Зажгли свет: глядь, а это старуха без головы ходит, растопыря руки, и ловит их: отдайте, дескать, мою голову...

Неизвестно, до чего дошла бы эта леденящая кровь история, если бы из соседней комнаты не раздался окрик Подходцева:

— Клинков! Иди, я тебя в Громовых оставлю.

— В каких Громовых?

— Ну, в дураках, не все ли равно.

Несмотря на все задиранья Подходцева, друзья не парировали его шуток.

Слышались только краткие возгласы: «Тебе сдавать! Тройка! Ты остался!»

Глава VII КЛИНКОВ СНОВА УЕЗЖАЕТ

Громов предъявил Подходцеву «тройку», состоящую из семерки, восьмерки и короля, и заметил:

— Сколько она у нас уже живет? Вторую неделю?

— Да, — подтвердил Подходцев, рассеянно покрывая короля валетом и принимая семерку с восьмеркой. — Девятый день.

— Первые два дня она тебя с собой брала, когда ездила по делам, а теперь все сама да сама...

— Может, она боится затруднять Подходцева, — задумчиво предположил Громов, набирая из колоды сразу семь карт.

— Не симптоматично ли, — криво усмехнулся Подходцев, — что ты, Громов, как раз в эту минуту остался в дураках.

— Ты предполагаешь, что в эту минуту? — злобно подхватил Клинков. — Я думаю — раньше.

Громов бросил карты на пол и вскочил с места.

— Ну, так я же вам скажу, что вы оба свиньи и самые грязные лицемеры. Как?! Вы меня упорно называете глупцом, упорно смеетесь надо мной... А вы?! Ты, Подходцев, разве ты не пробродил от семи до девяти часов вечера по нашей улице?!

— Я папиросы покупал!

— Два часа? За это время можно купить целую табачную фабрику!! А Клинков?! Раньше он сравнивал детей с клопами, говорил, что они «заводятся» и что их нужно шпарить кипятком — что заставляет его теперь возиться с девочкой, как нянька? Откуда этот неожиданный прилив любви к детям?!!

— Я всегда любил ухаживать за детьми, — попробовал вставить свое слово Клинков в этот шумный водопад.

— Да! Когда им было больше восемнадцати лет! Разве я не вижу, что Подходцев все смотрит в потолок да свистит какую-то дрянь, а когда она приходит, он расцветает и прыгает около нее, как молодой орангутанг. Разве не заметно, что Клинков, под видом сочувствия к ее горю, то и дело просит «ручку» и фиксирует поцелуй так, что всех тошнит... И вот, оказывается, что вы оба правы, вы в стороне, а я — неудачный ухаживатель, предмет общих насмешек... и... и...

— Выпей воды! — холодно посоветовал Подходцев.

— К черту воду!!

— Мне эта истерика надоела, — сверкнув глазами, заявил Подходцев. — Я сейчас ложусь спать, и, если кто-нибудь еще вздумает оглашать воздух воплями, я заткну тому глотку своим пиджаком.

— Вся эта история чрезвычайно мне не нравится, — заявил вдруг тихо сидевший на своей кровати Клинков. — В воздухе пахнет серой и испорченными отношениями. Эта атмосфера не по мне. Вы как хотите, а я уеду. Сыт я по горло. Завтра сообщу свой адрес, а сегодня — прощайте.

Подходцев язвительно улыбнулся...

— Ага! Опять к дяде?..

Клинков, не обращая на эти слова никакого внимания, сказал с озабоченным видом:

— Если девчонка вдруг проснется, пока мать не пришла, и начнет плакать, заткните ей рот мармеладом — у меня тут на шкафу для нее припасена коробочка... Заверьте ее, что мать вернется с минуты на минуту. А то терпеть не могу этого визга.

— Да ведь тебя тогда все равно уже не будет!

— Ну, знаете, если такое сокровище раскритичится, так и через три улицы слышно!.. Ну, вот и готово. Ничего, Громов, я сам. Чемодан не тяжелый.

Глава VIII НЕОЖИДАННАЯ РАЗВЯЗКА

В этот момент на площадке раздалися шаги, и в дверь кто-то постучался.

— Она! — пролепетал Клинков и, весь вспыхнув, без сил опустился на чемодан.

— Войдите!

В комнату вошел человек, по внешнему виду очень смахивавший на денщика.

— Первые его слова, — шепнул Подходцев Громову, — будут: «Так что...»

— Так что, — сказал денщик, — барыня кланяются, и вот от них записка, сами же они в своем местонахождении, уехавши.

Подходцев, как человек с наибольшим самообладанием и авторитетом, прочел записку и засмеялся:

— Распаковывайся, Клинков!

— А что?!

— Дайте полковнику на чай и отпустите его. До свиданья, полковник!

— Вот, господа, ценный автограф: «Извините, что прощаюсь не лично, а письменно. Зайти к вам не могу. Почему? — секрет. Спасибо вам за хорошее отношение. За вещами пришлю, а Валью отведите к папе. Может быть, вы когда-нибудь меня поймете... Преданная вам М.».

— Та-а-ак... Заметьте при этом, что вещи у нее поставлены на первое место, а Валя — на второе, — скорбно заметил чадолюбивый Клинков.

Громов пожал плечами:

— Ну, это ничего не доказывает. Она, вероятно, была очень взволнована.

— Бедный ребенок, — прошептал Подходцев.

— Бедная мать, — сказал Громов.

«Бедный Клинков», — подумал про себя эгоист Клинков.

— Клинков! Ты заменял девочке мать, ты и веди ее к отцу!

— Да, но ведь я не знаком с ним, а вы знакомы.

— Знаешь?.. Такое знакомство, как у нас с ним, всегда проигрывает перед незнакомством, — заметил успокоившийся раньше других Подходцев, хотя губы его все еще дрожали. — Ну, в таком случае пойдем втроем.

— Как, ты не спишь? — удивился Клинков, зайдя в маленькую комнатку.

— Да, ты мне рассказал такую страшную сказку, что я не могла заснуть.

— Все к лучшему, мой юный друг, — сентенциозно заметил Клинков, натягивая ей чулочки. — Страшная сказка пришлась кстати.

— Куда мы? — удивилась девочка.

— К папе. Видишь ли, там, собственно говоря, мама... то есть ее еще нет, но когда-нибудь она придет. Да! Наверное. Этим всегда кончается, верь мне, цыпленок, — так говорит мудрый Клинков...

Кандыбов уже собирался спать, когда раздался звонок в передней, и три друга, эскортировавшие крохотную девочку, предстали перед изумленным хозяином.

— Что это значит? — сурово спросил он.

— Прежде всего — уведите девочку. Глаша или как вас там, извиняюсь, не знаю — возьмите ее, — распорядился Подходцев. — Вот... А что касается нас, то... простите, мужественный старик, что я о вас худо думал. Нас ввели в заблуждение, и первое наше впечатление в том и другом случае оказалось... гм! обманчивым. Ваша жена... да вот, лучше всего прочтите записку!

Мужественный старик прочел записку, несколько не удивился и потом спросил:

— А чего, собственно, вы впутались в эту историю?

— Единственно из доброты, — угрюмо сказал Подходцев.

— Думали: страдающая мать, осиротевший ребенок, — сокрушенно подхватил Клинков.

— А дочка у вас чудесная, — похвалил Подходцев. — Как вы могли отдать нам ее, не понимаю! Повесить вас за это мало!

От похвалы дочери старик расцвел так, что даже пропустил мимо ушей неожиданный конец фразы.

— Славная девчонка, не правда ли?

— Очаровательная. Нам будет без нее скучно, — вдруг выступил вперед Клинков. — Вы будете иногда отпускать ее к нам? Кстати, — вспомнил он, вынимая из-за пазухи знаменитую громовскую корову. — Вот ее корова. Передайте ей. Молока не дает, но зато и сена не просит.

— Откуда эта корова?

— Громов подарил. Чудесная девочка!

Надо знать отцовское сердце, чтобы допустить, казалось бы, невероятный факт: через полчаса три приятеля сидели у гостеприимного хозяина в его столовой, чокаясь старой мадерой и запивая свое горе, каждый по-своему: Клинков с Подходцевым шумно, Громов — угрюмо, молчаливо.

— Что это он такой? — участливо спросил хозяин.

— У него большое горе, — неопределенно сказал Подходцев.

А Клинков прибавил:

— Такое же почти, как у вас, только больше.

Глава IX

ЗЛОВЕЩИЕ ПРИЗНАКИ, СТРАШНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Громов сказал толстому Клинкову:

— Меня беспокоит Подходцев.

— Да уж... успокоительного в этом молодце маловато.

— Клинков! Я тебе говорю серьезно: меня очень беспокоит Подходцев!

— Хорошо. Завтра я перережу ему горло, и все твои беспокойства кончатся.

— Какие вы оба странные, право, — печально прошептал Громов. — Ты все время остришь с самым холодным, неласковым видом, Подходцев замкнулся и только и делает что беспокоит меня. Вот уже шесть лет как мы неразлучно бок о бок живем все вместе, а еще не было более гнусного, более холодного времени.

Тон Громова поразил заплывшее жиром сердце Клинкава.

— Деточка, — сказал он, целуя его где-то между ухом и затылком, — может быть, мы оба и мерзавцы с Подходцевым, но зачем ты так безжалостно освещаешь это прожектором твоего анализа?.. В самом деле, что ты подметил в Подходцеве?

Опрокинув голову на подушку и заложив руки за голову, Громов угрюмо проворчал:

— Так-таки ты ничего и не замечаешь? Гм!.. Знаешь ли ты, что Подходцев последнее время каждый день меняет воротнички, вчера разбил Митьку за то, что тот якобы плохо вычистил ему платье, а нынче... Знаешь ли, что он выкинул нынче?

— И знать нечего, — ухмыльнулся Клинков, втайне серьезно обеспокоенный. — Наверное, выкинул какую-нибудь глупость. От него только этого и ожидаешь.

— Да, брат... это уже верх! Нынче утром подходит он ко мне, стал этак вполоборота, рожа красная, как бурак, и говорит этаким псевдонебрежшим тоном, будто кстати, мол, пришлось: «А что, стариканушка Громов, нет ли у тебя лилового шелкового платочка для пиджачного кармана?» А когда я тут же, как спон, свалился с постели и пыгался укусить его за его глупую ногу, он вдруг этак по-балетному припод-

нимает свои брючишки и лепечет там, наверху: «Видишь ли, Громов, у меня чулки нынче лиловые, так нужно, чтобы и платочек в пиджачном кармане был в тон». Тут уж я не выдержал: завыл, зарычал, схватил сапожную щетку, чтобы почистить его лиловые чулочки, но он испугался, вырвался и куда-то убежал. До сих пор его нет.

— Черт возьми! — пролепетал ошеломленный этим страшным рассказом Клинков. — Черт возьми... Повеяло каким-то нехорошим ветром. Мы, кажется, вступили в период пассатов и муссонов. Громов... Что ты думаешь об этом?

— Думаю я, братец ты мой, так: из вычищенного платья, лиловых чулков и шелкового платочка слагается совершенно определенная грозная вещь — баба!

— Чтр ты говоришь?! Настоящая баба из приличного общества?!

— Да, братец ты мой. Из того общества, куда нас с тобой и на порог не пустят.

— Кого не пустят, а кого и пустят, — хвастливо подмигнул Клинков. — Меня, брат, однажды целое лето принимали в семье одного статского советника.

— Ну да, но как принимали? Как пилюлю: сморщившись. Мне, конечно, в былое время приходилось вращаться в обществе...

— Ну, много ли ты вращался? Как только приходил куда — сейчас же тебе придавали вращательное движение с лестницы.

— Потому что разнюхивали о моей с тобой дружбе.

— Дружба со мной — это было единственное, что спасло тебя от побоев в приличном обществе. «Это какой Громов? — спрашивает какой-нибудь граф. — Не тот ли, до дружбы с которым снисходит знаменитый Клинков? О, в таком случае не бейте его, господа. Выгоните его просто из дому». Что касается меня, то я в каком угодно салоне вызову восхищение и зависть.

— Например, в «салоне для стрижки и бритья», — раздался у дверей новый голос.

Прислонившись к косяку, стоял оживленный, со сверкающими глазами Подходцев.

Громов и Клинков принялись глядеть на него долго и пронзительно.

Переваливаясь, Громов подошел к новоприбывшему, поглядел на кончик лилового шелкового платочка, выглядывавший из бокового кармана, и, засунув этот кончик глубоко в карман, сказал:

— Смотри, у тебя платок вылез из кармана.

Подходцев пожал плечами, подошел к зеркалу, снова аккуратно вытянул уголок лилового платочка и с искусственной развязностью обернулся к друзьям.

— Что это вам пришло в голову рассуждать о светской жизни?

— Потому что мы в духовной ничего не понимаем, — резко отвечал Клинков, снова сваливаясь на кровать.

Лег и Громов (это, как известно, было обычное положение друзей под родным кровом). И только Подходцев крупными шагами носился по громадной «общей» комнате.

— Подойди-ка сюда, Подходцев, — странным голосом сказал Клинков.

— Чего тебе?

— Опять уголочек платка вылез. Постой, я поправлю... Э, э! Позволь-ка, брат... А ну-ка, нагнись. Так и есть! От него пахнет духами!!! Как это тебе нравится, Громов?

— Проклятый подлец! — донеслось с другой кровати звериное рычание.

И снова все замолчали. Снова зашагал смущенный Подходцев по комнате, и снова четыре инквизиторских сверкающих глаза принялись сверлить спину, грудь и лицо Подходцева.

— Ффу! — фыркнул наконец Подходцев. — Какая, братцы, тяжелая атмосфера... В чем дело? Я вас, наконец, спрашиваю: в чем же дело?!

Молчали.

И, прожигаемый четырьмя горящими глазами, снова заметался Подходцев по комнате.

Наконец не вытерпел.

Сложив руки на груди, повернулся лицом к лежащим и нетерпеливо сказал:

— Ну да хорошо! Если угодно, я вам могу все и сообщить — мне стесняться и скрытничать нечего... Хотите знать? Я женюсь! Довольно? Нате вам, получайте!

Оглушительный удар грома бабахнул в открытое окно, и белые ослепительные молнии заметались по комнате.

А между тем небо за окном было совершенно чистое, без единого облачка. И мрачная, жуткая тишина воцарилась... надолго.

— Что ж... женись, женись, — пробормотал Клинков, тщетно стараясь придать нормальный вид искривленным губам. — Женись! Это будет достойное завершение всей твоей подлой жизни.

— А что, Подходцев, — спросил Громов, разглядывая потолок. — У вас, наверное, когда ты женишься, к чаю будут вышитые салфеточки?

— Что за странный вопрос! — смутился Подходцев. — Может, будут, а может, и нет.

— И дубовая передняя у вас будет, — вставил Клинков. — И гостиная с этакой высокой лампой?

— А на лампе будет красный абажур из гофрированной бумаги, — подхватил Громов.

Клинков не захотел от него отстать:

— И тигровая шкура будет в гостиной. На окнах будут висеть прозрачные гардины, а на столе раскинется пухлый альбом в плюшевом переплете с семейными фотографиями.

— А мы придем с Клинковым и начнем сморкаться в кисейные гардины.

— А в альбом будем засовывать окурки.

— И вступим в связь с твоей горничной!

— А я буду драть твоих детей, как сидоровых коз. Как только ты или твоя жена (madame Подходцева, ха, ха — скажите, пожалуйста!), как только вы отвернетесь, я сейчас же твоему ребенку по морде — хлоп!

— Небось и елку будешь устраивать?.. — криво усмехнулся Клинков.

— Я твоим детям на елочку принесу и подарочки: медвежий капкан и динамитный патрон — пусть себе дитенок играет.

— А ты думаешь, Громов, что у него дети будут долговечны? Едва ли. Появится на свет Божий младенец, да как глянет, кто его на свет произвел, так сразу посинеет, поднимет кверху скрюченные лапки, да и дух вон.

— Да нет, не бывать этому браку! — с гневом воскликнул Громов. — Начать с того, что я расстрою всю свадьбу! Переоденусь в женское платье, приеду в церковь да как

пойдете вы к венцу, так и закачу истерику: «Подлец ты, — скажу. — Соблазнил меня, да и бросил с ребенком!»

— А я буду ребенком, — некстати подсказал огромный толстый Клинков. — Буду хвататься ручонками за твои брюки и буду лепетать: «Папочка, папочка, я хочу кусать».

— Попробуй, — засмеялся Подходцев. — Я тебя накормлю так, что ног не потянешь.

И опять нервно зашагал Подходцев, и снова долго молчали лежащие...

Глава X ПОДХОДЦЕВ УХОДИТ. ЭЛЕГИЯ

Где-то между двумя подушками, где лежала голова Громова, послышался тихий стон:

— Подходцев, серьезно женишься?

— Серьезно, братцы... Ей-Богу. Надо же.

— Подходцев! Не женись, пожалуйста.

— Вот, ей-Богу, какие вы странные! Как же так можно не жениться?..

— Подумай ты только, — подхватил Клинков. — С нами ты живешь — что хочешь делай. Затеял ты легкую интрижку — пожалуйста! Мы тебе поможем. Напился ты пьян — сделай одолжение! И мы от тебя не отстанем.

— Пожалуй, и перегоним, — подтвердил Громов.

— Ну, вот видишь. А жена! Ты думаешь, это шутка — жена? Да вы лучше меня спросите, братцы, что такое жена!

— Ты-то откуда знаешь?

— Я-то? Я, братцы, все этакое знаю.

— Разве ты был женат?

— Собственно говоря... как на это взглянуть. Если хотите, то... Да уж, что там говорить, — знаю! Пришел пьян — бац лампой по голове! Завел интрижку — бац тарелкой по спине. Сидишь дома — нервы, вышел из дому — истерика. А в промежутках — то у нее любовник сидит, то она платье переодевает, то ей какое-нибудь там кесарево сечение нужно делать.

— Странное у тебя представление о семейной жизни.

— Да уж, поверь, брат, настоящее!

— Постой, Клинков, не трещи, — остановил его солидный Громов. — А не приходило тебе в голову, Подходцев, такое: просыпаешься ты утром после свадьбы — глядь, а сбоку чужая женщина лежит. И сам ты не заметил, как она завелась. То да се — хочешь ты к нам удрать — «нет-с, говорит, стойте! Я твоя, мужняя жена, и ты из моих лап не вырвешься». Ты в кабинет — она за тобой; ты на улицу — она за тобой. Ночью пошел в какой-нибудь чуланчик, где грязное белье складывается, чтобы хоть на полчаса одному побыть, — не тут-то было! Открывается дверь, и чей-то голос пищит: «Ты тут, Жанчик? Что же ты от меня ушел? Ну, я тут с тобой посижу! Зачем ты меня одну бросил, Жанчик?» Ну, конечно, ты ей возразишь: «Да ведь двадцать-то пять лет ты жила же без меня, дрянь ты этакая?! Почему же сейчас без меня минутки не можешь?» «Нет, Жанчик, — скажет она, — надо было бы тебе на мне не жениться... Раз женился — так тебе и надо!» Повеситься захочешь, и то не даст — из петли вынет, да еще поколотит оставшейся свободной веревкой: «Как, дескать, смел, паршивец, вдову без прокормления оставлять!»

Пауза.

— Подходцев!

— Ну? — приостановился Подходцев.

— Не женишься? — робко спросил Громов, считая почву достаточно подготовленной.

— Женюсь! — вздохнул Подходцев. — Жалко мне вас, но что же делать... женюсь! А который теперь час?.. Ой-ой... Пять! А мы в половине шестого должны кататься. Друзья! До свиданья! Целую вас мысленно.

— Подавись ты своими поцелуями.

— Громов! Можно надеть твой серый жилет?

— Нельзя. Он мне сейчас будет нужен.

— Для чего?

— Чернилами буду обливать.

— Гм!.. Ну, прощайте братцы. Бог с вами.

Клинков поманил его пальцем.

— А подойди-ка... Видишь, какой ты неаккуратный: кончик платка опять вылез.

— Осел ты пиренейский, — завопил Подходцев. — Да ведь так же и нужно, чтобы он торчал. А ты его уже в третий раз засовываешь.

Клинков уткнулся в подушку, и плечи его запрыгали: неизвестно было — смеялся он или оплакивал гибнущего друга?..

Стараясь не встречаться взглядом с оставшимися, Подходцев вышел в двери как-то боком, виновато.

По уходе его Клинков тяжело встал с кровати, подошел к зеркалу и с плаксивой миной стал разглядывать себя.

— Клиночек! Что с тобой? Охота тебе всякую дрянь разглядывать! Уж не думаешь ли и ты жениться?..

— Знаешь, что я сейчас почувствовал, Громов? — обернулся к нему Клинков, и углы губ его передернулись.

— Ну?

— Стареем, брат, мы... Подходцев женится, а у меня уже седые волосы на висках появились.

— А с ребрами благополучно?

— С какими ребрами?

— Беса в ребре не ощущаешь?

— Какого беса?

— Ну, говорят же: седина в бороду, а бес... и так далее.

— Клинков кротко, печально улыбнулся.

— Не острится нынче что-то...

— Голова не тем наполнена.

— Ну, в отношении себя ты преувеличиваешь.

— Почему?

— Она у тебя ничем не наполнена.

— Нет, Клинков, — улыбнулся Громов еще печальнее, чем давеча Клинков. — И у тебя ничего не получается. Не остри, брат.

— Плохо вышло?

— Чрезвычайно.

— Да, действительно. Что-то не то...

И долго сидели так, осиротевшие, каждый на своей постели, пока не окутали их синие сумерки...

Глава XI ВЕСТИ ОТТУДА

В большой комнате, в которой жили раньше трое, а теперь, после женитьбы Подходцева, только двое, было тихо...

Даже мышь не скреблась под полом — вероятно, издохла от бескормицы. В комнате находился один толстый Клинков.

Конечно, он лежал на кровати.

Его дела, как и дела Громова, пришли в упадок: доходов не было, а расходы требовались колоссальные: на одну еду уходило не меньше рубля в день. Да квартира, на оплату которой расходовалось вместо денег чрезвычайно много нервов (при объяснениях с хозяйкой), да папиросы, да то и се...

Беззвучные вздохи раздирали массивную грудь Клинкова.

— «А тут еще Громов исчез, — думал Клинков. — Наверное, попал в компанию меценатов и забыл и думать обо мне».

Но в этот самый момент в виде наглядного, фактического опровержения в комнату влетел запыхавшийся Громов.

— Что это ты, брат?! — спросил Клинков, скосив на него глаза. — Будто бы только что из церкви вырвался?

— Почему... из церкви?

— Да ведь ты принадлежишь к тому незадачливому разряду людей, которых и в церкви быют. Вот я и думал...

— Ты? Думал?! Может ли с тобой это случиться?

— Тебя это удивляет? Очень просто: я думаю бесшумно, поэтому снаружи ничего не заметно, а ты когда над чем-нибудь задумаешься, то в твоей голове слышится легкое потрескивание. Будто чугунная печка постепенно накаливается.

— Хочешь, я тебя сейчас водой оболюю?

— Если ты этим докажешь высокое состояние твоих умственных способностей, — обливай.

— Просто оболюю. Чтоб ты не приставал.

— Не надо. Я предпочитаю сухое обращение.

— Недурно сказано. Запишу. Может быть, в редакции «Скворца» за это нам заплатят рублишку. Кстати! Сейчас швейцар передал мне письмо с адресом, написанным женским почерком...

— Тебе письмо?

— Нет.

— Мне?

— Нет.

— А кому же?!

— Нам обоим.

— Станный вы народ, ей-Богу. Сколько вас по всем церквам ни быют, все вы не умнеете. От кого письмо?

— Недоумеваю. Наверное, какая-нибудь графиня, увидя меня на прогулке, пишет, что я поразил ее до глубины души.

— Возможно. Если она гуляла на огороде, а ты стоял в своей обычной позе — растопыря руки и скривившись на бок для наведения ужаса на пернатых...

Не слушая его, Громов разорвал письмо и вдруг вскричал в неопишемом удивлении:

— Не сон ли?! Знаешь, кто нам пишет? Madame Подходцева!

— Уже?

— Что уже?

— Собирается изменить Подходцеву?

— Кретин!

— Первый раз слышу. Что она там пишет? Не просит ли развести ее?

— «Многоуважаемые Клинков и Громов»...

— Видишь, меня первого написала, — съязвил Клинков. — А тебя приписала так уж... из жалости.

— «Я знаю, что, выйдя замуж за Боба*, я похитила у вас любимого друга, но, надеюсь, вы на меня не сердитесь. Чтобы доказать это, приходите нынче вечером пить чай. Познакомимся и, думаю, будем друзьями».

— Ишь ты, пролаза, — проворчал Клинков. — Сколько сахара! Больше там про меня ничего нет?

— Есть. Вот: если Клинков, благодаря своей толщине, не пролезет в квартиру, мы ему вышлем чаю на улицу, к воротам... Впрочем, может быть, он сидит в лечебнице для умалишенных, и потому...

— Брось, надоел. Как она подписалась?

— «Ненавистная вам Ната Подходцева».

— Правильно. Так что же мы... пойдём?

— Противно все это. А?

— Тошнехонько. Вышитые салфеточки, на чайнике вя-занный гарусный петух...

— Верно. А Подходцев лежит в халате на диване, курит трубку и заказывает кухарке на завтра обед.

— А сбоку полотеры ерзают по полу, стекольщики вставляют стекла, а в углу мамка полощет пеленки.

— С ума ты сошел? Они всего два месяца как поженились!

* Имя Подходцева — Александр (см. главу «Жестокий поединок»)

— Ну да, — скептически покривился Клинков. — Будто ты не знаешь Подходцева. Так пойдем?

— Черт их знает. Правда, что там накормят. А я с утра ничего не ел.

— Красивая она, по крайней мере?

— Клинков!!

— И о чем с ними говорить, спрашивается?

— Сейчас видно, что ты не бывал в хорошем обществе. Ну вот, предположим, приходим мы... «Здравствуйте, как поживаете?» — «Ничего себе, спасибо. Садитесь». Сели. Оглядываемся. «Хорошая у вас квартирка. Не дует?» — «Что вы, что вы!» — «С дровами?» — «Без дров. А за дрова теперь так дерут, что сил нет». — «Да, уж эти дрова». — «Можно вам чаю стаканчик?» — «Пожалуй». Понимаешь? Этакая нерешительность: «пожалуй». Могу, мол, и не пить. А то ведь я тебя знаю... Предложишь тебе чаю, а ты хлопнешь себя по животу, да еще подмигнешь, пожалуй: «Ежели с ветчиной да с семгой, то я и полдюжины пропущу».

— Гм... да. Может, там речи какие-нибудь за столом нужно говорить?

— Какие речи?

— Ну там по поводу брака: ум, мол, хорошо, а два лучше.

— Там будет видно. Только ты уж не забудь, когда войдем, ручку у нее поцеловать.

— На этот счет я ходок.

— Еще бы. Сколько побоев принял — пора научиться. Кстати... могу тебе дать три совета: на ковер не плюй, в самовар окурки не бросай и, если будешь есть крылышко цыпленка, руки потом об волосы не вытирай.

— О свои не буду. А об твои готов хоть сейчас.

Переругиваясь, эти странные друзья принялись за свой туалет.

Глава XII В ГОСТЯХ У ПОДХОДЦЕВА

Подходцев, видимо, немного конфузился своего нового положения. В передней встретил Клинка преувеличенно шумно.

— А-а!! Клинище-голенище... Здравствуй, старый развратник! Давно пора... А где же Громов?

— Он там... на площадке.

— Почему?

— Стесняется, что ли. Капризничает. Не хочет идти.

Подходцев выглянул из дверей и увидел Громова, с громадным интересом и вниманием читавшего дверную доску, на которой было ровным счетом написано три слова.

Затратив на чтение время, достаточное для просмотра газетной передовицы среднего размера, Громов обернулся и увидел Подходцева.

— Чего ж ты остановился тут, на площадке, чудак?!

— Я сейчас. Отдохну только тут немного... Почитаю.

— Иди, иди. Нечего там. Вот, господа, позвольте вас познакомиться с моей женой: Наталья Ильинишна.

Клинков прищелкнул лихо каблуком и стремительно клюнул красным носом узкую душистую ручку. Громов томно поднес другую ручку к губам и с некоторой натугой проворчал:

— Хорошенькая у вас квартирка...

— Осел, — толкнул его тихонько в бок Клинков. — Мы же еще в передней.

Перешли в гостиную.

— А, действительно, прекрасная квартирка, — воскликнул Громов с преувеличенным восторгом. — И много, скажите, платите?

— Сто десять.

— С дровами?

Подходцев не удержался.

— До вашего прихода квартира была без дров; теперь — с дровами.

— А была, ты говоришь, без дров? — спросил Клинков. — Можно подумать, что *ты никогда не бываешь дома...*

— Пойдемте пить чай, — сказала хозяйка, выглядывая из столовой.

— Не откажусь, пожалуй, — поклонился Клинков. — Чай полезное зелье.

— Что ты говоришь! — ахнул Подходцев. — Неужели это правда? Откуда ты это взял? Неужели сам придумал? Наверное, кто-нибудь сообщил?

— Ну, покажи же нам свою квартиру, — подтолкнул Клинков Подходцева. — Я думаю, изнываешь от желания похвастаться благополучием...

— Да что ж вам показывать... Вот это столовая.

— И верно. Столовая. Все в аккурате. А где гарусный петух, который на чайник нахлобучивают?

— Петуха нет.

— Упущение. А гардиночки славные. Прямо сердце радуется. И салфеточки вышитые.

— Ты, кажется, грозил мне, что будешь в них сморкаться...

Клинков вспыхнул и отвернулся от Натальи Ильинишны.

— Не выдумывай, Подходцев.

— Да уж ладно. Это вот мой кабинет.

Громов похлопал ладонью по спинке кресла:

— Кожа?

— Она самая.

— Здорово пущено. А чернильница-то! Когда я помру — поставь ее над моей могилой. Совсем как памятник. А книга-то, книга-то! Каждая небось с переплетом рубля по три...

— И все десять заплатишь, — подхватил Клинков с непроницаемым выражением лица.

— А ковер-то! Фу-ты, ну-ты...

От яркого ли света или от другого, но тени на скулах Громова сделались резче и обозначились двумя темными впадинами. И голос, несмотря на наружный восторг, изредка вздрагивал и срывался.

— Ты похудел, Громов, — мягко заметил Подходцев. — Как дела?

— Дела? Замечательны. Денег так много, что мы стали вести с Клинковым грешный образ жизни, что, как известно, ведет к похудению.

Перешли в гостиную.

— Это вот гостиная, — отрекомендовал Подходцев.

— Как ты не спутаешься, — удивился Клинков. — Каждую комнату узнаешь сразу.

Наталья Ильинишна окинула хозяйским взглядом предиванный столик и удивленно спросила:

— А куда же задевался альбом?

Подходцев смутился.

— Да я его... тово... положил на этажерку.

— С чего это тебе вздумалось? Всегда лежал на столе, а ты вдруг...

И безжалостная жена извлекла откуда-то и положила на стол пухлый плюшевый альбом, точно такого вида, как описывал его ядовитый Клинков перед женитьбой Подходцева.

Чтобы замаскировать смущение, Подходцев отвернулся от стола.

— А вот, господа, рояль.

Громов добросовестно осмотрел и рояль, приблизив глаза к самой полированной крышке, будто бы он рассматривал не рояль, а маленькое диковинное насекомое...

— А теперь к столу, господа, к столу!

Было все... Сверкающий самовар. Бутылка коньяку. Бутылка белого вина. Графинчик рому. Свежая икра. Семга. Ветчина. Сардины. Холодные телячьи котлетки. Сверкающая белизной посуда. Чудесно вымытые салфетки. Около икры — лопаточка! Около сардин — другая! Около семги — двузубая фигурная вилочка!

Подходцев не знал, куда девать глаза. А Клинков сидел, ел за троих и жег Подходцева горячим взглядом.

После третьей рюмки Громов вдруг застучал ножом по тарелке. Бедняга сделал это машинально, просто по привычке к ресторану, где таким образом подзывается официант для перемены тарелок или для чего другого.

Но тут же опомнился и с ужасом поглядел на хозяев.

— Bravo, — не понял его Подходцев. — Громов хочет сказать речь. Говори, дружище, не бойся.

Это все-таки был выход.

— Господа! — начал Громов, запинаясь. — Русская половица говорит: «Одна голова не бедна, а если и бедна, так одна»... Гм! то есть не то! Я хотел сказать другое. Впрочем... Зачем слова, господа? Главное — поступки! Гм!

И совершил поступок: сел и обжег себе губы чаем.

Домой возвращались угрюмые.

— Насколько я понял твой стук ножом по тарелке, — сердито сказал Клинков, — ты просто звал официанта?

— Понимаешь... Я совсем машинально. Привычка...

— Знаешь, чего я боялся?

— Ну? — робко взглянул на него измученными глазами Громов.

— Что ты, когда поужинаешь, вдруг застучишь по тарелке и скажешь: «Человек, счет!»

— Ты психолог.

Оба остановились, обернули лица к лунному небу, и Клинков сказал тихо:

— Нет... Нам с тобой в приличных домах нельзя бывать. Громов серьезно добавил:

— Кто знает. Может быть, в этом тоже наше счастье.

— Аминь.

Глава XIII У КЛИНКОВА ОКАЗАЛИСЬ ПРИНЦИПЫ

Комната большая, но низкая.

Меблировка довольно однообразная: три стола, заваленные книгами, исписанной бумагой и газетами; три кровати, две из которых завалены телами лежащих мужчин; и, наконец, три стула — ничем не заваленные.

Третья кровать пуста.

Зато у ее изголовья прибита черная дощечка, как на больничных кроватях.

А на дощечке написано:

«Подходцев — млекопитающее; жвачное, и то не всегда.
Заболел женитьбой 11 мая 19...

Выздоровел»

— Клинков?

— Ну?

— У моей кровати сзади стоит безногая старуха с косой.

— Худая?

— Очень.

— Жаль. А то можно было бы зарезать ее этой косой и съесть.

— Клинков?

— Ну?

— Уверяю тебя, что тебе не нужны серые диагональные брюки. Ну, на что они тебе?

— Нельзя, нельзя. И не заикайся об этом.

— Ты и без них обойдешься. Человек ты все равно красивый, мужественный — в диагональных ли брюках или без них. Наоборот, когда ты в старых, черных, у тебя делается очень благородное лицо. Римское. Ей-Богу, Клинков, ну?

— Не проси, Громов. Все равно это невозможно.

— Ведь я почему тебя прошу? Потому что знаю, ты умный, интеллигентный человек. В тебе есть много чего-то эдакого, знаешь, такого... ну, одним словом, чего-то замечательного. Ты выше этих побрякушек. Дух твой высоко парит над земными суетными утехами и интеллект...

— Не подмазывайся. Все равно ничего не выйдет.

— Вот дубина-то африканская! Видал ли еще когда-нибудь мир подобную мерзость?! Если ты хочешь знать, эти брюки сидят на тебе, как на корове седло. Да и немудрено: стоит только в любой костюм всунуть эти толстые обрубки, которые в минуты сатанинской самонадеянности ты называешь ногами, чтобы любой костюм вызвал всеобщее отвращение.

— А зато у меня благородное римское лицо, — засмеялся Клинков. — Ты сам же давеча говорил.

— С голоду, брат, и не то еще скажешь. Собственно, у тебя лицо, с моей точки зрения, еще лучше, чем римское, — оно напоминает хорошо выпеченную булку. Только жаль, что в нее запечены два черных тусклых таракана.

Клинков, не слушая товарища, закинул руки за голову и мечтательно прошептал:

— Пирожки с ливером... Я разрезаю пирожок, вмазываю в нутро добрый кусок паюсной икры, масла и снова складываю этот пирожок. Он горячий, и масло тает там внутри, пропитывая начинку... Я выпиваю рюмочку холодной английской горькой, потом откусываю половину ливерного пирожка с икрой... Горяченького...

— Чтоб тебе подавиться этим пирожком.

— Я иду даже на это. Давай разделим труд: ты доставай мне подобные пирожки, а я беру на себя — давиться ими.

— Хороша бывает вареная колбаса, положенная толстым ломтем на кусок развесного серого хлеба, — заметил неприятный Громов и, помедлив немного, сделал дипломатический шаг совсем в другую область. — Теперь, собственно говоря, в свете уже перестали носить серые диа-

гоналевые брюки. Это считается устаревшим. Мне говорил один прожигатель жизни, граф.

— Пусть я провалюсь, если ты не выдумал сейчас этого графа.

— Свинья.

— Seriously?

— Хуже свиньи. Если бы ты был только свинья, я бы зажарил тебя и съел.

— Перешел бы, так сказать, в самоеды?

— В лопари, во всяком случае. А знаешь, что я тебе скажу?

— Воображаю.

— Пойдем к Подходцеву. У него, наверное, есть какой-нибудь харч.

Лениво-ироническое выражение лица Клинка изменилось. Будто ветром сдуло.

Он встал с кровати, сжал губы и сказал твердо и значительно:

— Что бы с нами ни случилось, не смей даже и говорить мне об этом.

— Почему?

— Почему, почему? Да по тому самому, о чем и ты думаешь! По тому самому, по той самой причине, по которой и ты до сих пор, выискивая самые различные и тупоумные способы нашего пропитания, все время умалчивал о Подходцеве! Казалось бы — до чего просто! У нас нет денег, мы голодны. У нас есть товарищ и друг Подходцев, у которого есть деньги, припасы и серебряные лопаточки для икры. Чего проще? Пойти к товарищу Подходцеву и воспользоваться всем этим! Однако ты до сих пор, корчась на кровати от голодухи, даже не подумал об этом?

Громов проворчал угрюмо:

— Однако же вот — подумал.

Клинок снова вернулся на свою кровать, зарыл лицо в подушку и сказал неопределенным тоном:

— Однако, значит, ты очень голоден. Ты еще голоднее меня.

Громов молчал.

— Пойти к Подходцеву!.. — снова начал Клинок. — Конечно, Подходцев нам будет очень рад, даст нам все, что мы

попросим, приласкает нас. Да! Но ведь Подходцев теперь сам себе не принадлежит. Подходцева нет! Он растворился. Мы найдем теперь не Подходцева, а «мужа Перепетуи Панкратьевны!» Зачем же мы будем обворовывать Перепетую? Когда мы у них были в гостях и ели разные деликатесы — ты думаешь, они мне легко в горло лезли, эти деликатесы? Подходцев, конечно, друг нам, но Перепетуя? Кто она нам такая? Простая посторонняя женщина, свившая себе со своим самцом гнездо и не желающая, чтобы посторонние самцы прилетали в это гнездо лопать тех червячков, которых эта благополучная пара промыслила. Понял? У холостого Подходцева я заберу все, да еще наиздеваюсь над ним, потому что он то же самое может проделать со мной. У женатого Подходцева я не возьму бутерброда с колбасой.

Громов с некоторым удивлением следил за разговорившимся Клинковым.

— Толстяк! — со скрытым чувством уважения пробормотал он. — У тебя есть принципы?..

— Да-с, — засмеялся Клинков застенчиво и чуть-чуть сконфуженно. — Только это такая вещь, которую нельзя жарить на сливочном масле и подавать с картофельным пюре.

— Гм... да. Это скорее для наружного употребления. Значит, Подходцев провалился?

— Да. Скорей я свои диагональные пушу в ход.

— Ну, пусти!

— Завтра.

— Смотри! Они и сегодня вышли уже из моды, а завтра они сделаются на один день старомоднее и еще больше упадут в цене.

— Вещь, которая теряет цену как модная, постепенно приобретает ценность как античная, — сентенциозно заметил упрямый Клинков...

Глава XIV ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОД РОДНОЙ КРОВЬ

Меньше всего Клинков и Громов ожидали в эту минуту Подходцева.

Может быть, именно поэтому Подходцев и вошел в комнату.

Оба, как ужаленные, обернулись к нему, хотели что-то спросить, но, увидев в его руке чемодан, деликатно замолчали, и только любопытные глаза их исподтишка следили за Подходцевым.

Подходцев бросил чемодан в угол, снял пальто, шляпу, лег на свою пустовавшую до того кровать и рассеянно стал глядеть в потолок.

Клинков потихоньку встал со своего ложа, отыскал на подоконнике кусочек мела и, подойдя к подходцевской кровати, твердой, уверенной рукой написал на дощечке около слова «выздоровел» — сегодняшнее число.

«Подходцев — млекопитающее; жвачное, и то не всегда. Заболел женитьбой 11 мая 19... Выздоровел 15 августа 19...

Ничего не возражая против свежей приписки, Подходцев, однако, выразил сомнение по поводу предыдущего определения.

— Вот тут у вас сказано: «жвачное»... Какое же я жвачное, если вы мне ничего не даете жевать?

— Ты голоден, Подходцев?

— Как волк. Я ведь ушел от роскошного, обильного ужина.

— Что ты говоришь!

Подходцев уселся на кровать и долго молчал, будто собираясь с мыслями.

— Перед ужином пили чай: Марья Кондратьевна, Лидия Семеновна, Зоя Кирилловна, Артемий Николаевич, Петр Васильевич и Черт Иваныч. Разговор: «Что это давно не видно Марьи Захаровны?» — «Вы разве не знаете? Она поехала в Москву!» — «Ну что вы говорите! И надолго?» — «Определенно вам не могу сказать. Кажется, дней на пять». — «А как же дети?» — «Определенно вам не могу сказать, но, кажется, старшенькую взяли с собой, а Бобик остался с нянькой. Да, кроме того, у них гостит ведь ее сестра Пелагея Владимировна».

— «Что вы говорите! И давно она приехала к ним?» — «Определенно не могу сказать, но, кажется, уже неделю живет». — «Что вы говорите! Уже неделю? А муж ее, значит, остался в Киеве?» — «Определенно не могу сказать, но, кажется, она говорила, что его перевели в Харьков». — «Да что вы говорите! А как же их сын Володя, который...» Тут я больше не выдержал. Откинул ногой стул, встал и вышел в другую

комнату. Догнала жена. «Куда ты, милый? Кстати, надо завтра нам поехать к Пелагее Владимировне, а то неловко». Я говорю: «Пусть она издохнет, твоя Пелагея Владимировна!» Жена в слезы: «Ты в последнее время стал невыносим. Тебе мои гости и родственники не нравятся. И сейчас тоже...» — «Что сейчас?!» — «Устраиваешь историю в то время, когда гости за столом. Почему ты ушел?» — «Потому что я предпочитал бы, чтобы они были на столе!» — «Ах, так?! В таком случае, я уезжаю к мамаше...» — «Правильно. Удивляюсь, как ты до сих пор жила с таким мерзавцем!» Уложил свои вещи и вот — к вам! А вы как живете?

— Как живем? Да теперь, брат, когда ты обратился в первобытное состояние, можем сказать прямо: *вчера вечером* пили чай.

— И только? Голый чай?

— Нет. Громову в стакан попала муха. Так что чай был с вареным мясом.

— Одевайтесь, — лаконично сказал Подходцев.

По улицам бродили не спеша, с толком читая вывески ресторанов и выбирая наиболее подходящий.

— Ресторанная жизнь, — заметил повеселевший Клинков, — приучает человека к чтению. Сколько приходится читать: сначала вывеску, потом меню, потом — счет...

— Чтение последней литературы я беру на себя, — важно возразил Подходцев. — Дорогие мои, чего вам хочется?

— Закажи пирожок с ливером, да чтобы масло дали и паюсной икры, — задумчиво сказал Клинков.

Громов скромно осведомился:

— А нет ли тут вареной колбасы?

Заказывали долго и серьезно.

А когда принесли между прочими яствами и свиные котлеты и слуга спросил, кто их будет есть, Клинков, указывая на Подходцева, серьезно сказал:

— Свиные котлеты — ему! Ибо сказано: кесарево кесарю!..

Подходцев засмеялся, зажмурился и сказал, сдерживая радостные нотки, прорывавшиеся в голосе:

— Боже, как я счастлив, что снова с вами.

А Громов льстиво поддакнул:

— Дуракам всегда счастье...

Глава XV БЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБО. ДОБРЫЙ ГРОМОВ

Нижеследующий разговор произошел однажды вечером после хлопотливого трудового дня:

— Господа, — сказал Подходцев, пренебрежительно поглядывая на Клинкова и Громова, — умеете ли вы держать себя в обществе?

— Только один раз я не мог держать себя в обществе, — возразил Клинков, — и то это было общество электрического освещения. Они мне подали счет дважды за одно и то же. Я и раскричался.

— А я себя держу в обществе так замечательно, что все окружающие застывают в немом изумлении, — улыбнулся тихо и ласково кроткий Громов.

— Ну, это тоже лишнее. Это уж слишком. Приковывать к себе общее внимание тоже не рекомендуется. Одним словом — берите пример с меня.

— Собственно, в чем дело? — нетерпеливо спросил Клинков.

— Дело в том, что мы приглашены в один фешенебельный дом.

— Ну, что ж, повращаемся, повращаемся, — самодовольно усмехнулся Клинков. — Надеюсь, будут и танцы?

— Нет, уж ты, пожалуйста, не танцуй, — искренно встревожился Громов. — У тебя есть дурная привычка на половине вальса бросать свою даму, засовывать большие пальцы рук в проймы жилета и начинать перед самым носом оторопевшей дамы подбрасывать ноги чуть не до потолка.

— Эх, ты, деревня! Во всех шикарных кабачках Парижа так танцуют.

— Может быть. Но нас зовут в семейный дом.

— Большая важность. А у Синягиных я разве не танцевал перед хозяйкой с большим успехом?

— А чем кончилось? Отвели в уголок и отказали от дому.

— Тоже и дом у них: сырой, одноэтажный, чуть не на краю города. А куда нас теперь приглашают?

— К Троицыным.

— Удивляюсь я, — пожал плечами Громов, — зачем все эти люди нас приглашают: придем, нашумим, съедем

и выпьем все, что есть под рукой, уязвим гостей и уйдем, оставляя за спиной мерзость запустения.

— Я думаю, вас приглашают ради меня, — заметил Клинков, пыхтя от важности.

— Возможно, — согласился Подходцев, — как болгарина с обезьяной пускают во двор ради обезьяны. Итак, завтра в девять отсюда, все втроем.

Как-то выходило так, что все трое держались вместе: Громов не мог минутки пробыть без Подходцева, Клинков терся около Громова с вечной мыслью уколоть его, подцепить на что-нибудь, а Подходцев держался около Клинкова с целью удержать этого разнузданного толстяка от истерического желания пуститься в нескромный пляс.

— Знаешь, — заметил Клинков, оглядывая гостей. — Мне очень нравится та блондинка в черном. Я, признаться, за ней уже приударил.

— Вот тебе раз, — опечалился Подходцев. — Как раз она и мне нравится. Отступись, голубчик.

— Что дашь? — хладнокровно спросил корыстолюбивый Клинков.

— Рубль хочешь?

— Рубль и коврик, что лежит около твоей кровати.

— Хорошо. Только ты познакомь меня с ней.

— Сколько угодно! Пойдем...

Клинков подтащил Подходцева к пышной блондинке, даже не подозревавшей, что она только что была продана, и сказал самым светским тоном:

— А я, Анна Моисеевна, хочу познакомить вас с человеком, которого вы буквально ошеломили. Замечательная личность. Имеет у женщин шумный успех, но до сих пор ни на кого не обращал внимания. Вы — первая. Понимаете? Кто он?.. Вы, вероятно, слышали — это Подходцев. Известный Подходцев. Человек, полный тайного обаяния. Будьте счастливы, детишки.

И, заработав честно свой рубль, Клинков снова отошел к Громову.

— Ты что повесил нос, Громушка? Может, и тебе какая-нибудь девушка нравится? Могу уступить. Имеются на разные цены.

— Не трещи. Послушай: видишь ты ту барышню, что сидит одиноко в углу?

Громов указал на девушку лет 35, с длинным носом, маленькими, ушедшими под рыжие брови глазками и редкими волосами, взбитыми над узким лбом, как пакля, вылезшая из щели старого тюфяка.

— Вижу. Это та, которая сложила костлявые руки на острых коленях? Я боюсь, как бы колено не проткнуло ее руки. А почему ты обратил на нее внимание?

— Ты знаешь: мне ее так жалко, что плакать хочется. Я уже полчаса наблюдаю за ней. Сидит тридцатипятилетняя, не знавшая мужчины, некрасивая, одинокая, все ее обходят, никому она не нужна и, кроме всего, обязана делать вид, что ей весело. Для этого она изредка смотрит в потолок, оглядывает стены, а когда близорукий танцор сослепу налетит на нее, она делает вид, что ее вывели из глубокой задумчивости, но что она не прочь пошалить, потанцевать. Однако близорукий кавалер в ужасе умчался, а она снова погружается в деланную рассеянность. Какая мелкая, глупая трагедия!

— А ты пойди поплачь у нее на груди, — посоветовал Клинков. — Жестко, но добродетель всегда жестка...

Не слушая его, Громов поник головой и прошептал:

— Ей, видно, очень плохо живется. Как ты думаешь, целовал ее кто-нибудь?

— Слепой... и то едва ли. Ведь у них, говорят, очень развито осязание...

— Клинков, но ведь это ужас! Не испытать никогда поцелуя мужских губ, трепета мужской страсти на своей груди!..

— А ты вот такой добрый: взял бы да и поцеловал ее. Вот-то рада будет!

Громов смущенно усмехнулся.

— А ты знаешь: я только что думал об этом. Отчего девушке не доставить хоть минуту удовольствия. Потом вспоминать будет всю жизнь... Ведь другой-то раз едва ли это случится.

Клинков взглянул на Громова с почтительным удивлением:

— Ты, я вижу, совсем святой человек! Экие мысли приходят тебе в голову...

— Ну, ты только посмотри на нее: какая же она несчастная.

— Да, вид у нее дождливый. Пожалуй, осчастливь ее — только сейчас же беги ко мне. Я тебя спрячу.

Если бы Клинков обрушился на Громова, высмеял его, Громов, пожалуй, оставил бы свое странное намерение без исполнения. Но лукавому, проказливому Клинкову самому было интересно посмотреть, что выйдет из этой филантропической затеи.

— Знаешь, пригласи ее в ту комнату посмотреть картины — комната пуста, а я у дверей постерегу.

И, как Мефистофель, он подтолкнул добряка Громова под локоть.

Глава XVI НЕБО ХМУРИТСЯ. БУРЯ. ГРОМОВ В ОПАСНОСТИ

— Что это вы тут сидите в одиночестве? — раздался над пыльной поникшей девицей музыкальный голос Громова.

Девица вспыхнула и оживилась.

— Так, знаете. Я люблю одиночество.

— Одиночество развивает меланхолию. А молодая хорошенькая девушка не должна быть меланхоличной.

— Удивительно, — кокетливо поежилась барышня. — Все вы, мужчины, говорите одно и то же.

— Но ведь мужчины же не виноваты, что вы хороши. Миллионы людей говорят, что солнце прекрасно. Разве они надоели солнцу своими восторгами?

— Куда вы сейчас спешили? — зарделась барышня.

— В ту комнату. Там висят хорошие картины. Хотите посмотреть?

— Но там, кажется, никого нет!

— А вы боитесь меня?

— О, я ведь знаю вас, мужчин... Хотя, впрочем, вы кажетесь мне порядочным человеком. Пойдемте.

Она встала и уцепилась рукой за локоть Громова с такой энергией, с какой утопающий среди открытого моря хватается костенеющими руками за обломок мачты.

— Вот вам картины, — благодушно указал Громов. — Видите какие.

— Да, хорошие, — подтвердила барышня.
— Если бы я был художник, я написал бы с вас картину.
— Что же вам так во мне нравится? — спросила барышня, поправляя дрожащей рукой вылезшую из невидимого тюфяка паклю на голове.

— Какие волосы! — дрожащим от страсти голосом прошептал добрый до самоотречения Громов. — Ваши губы... О, эти ваши губы! Я хотел бы крепко-крепко прильнуть к ним... Так, чтобы дух захватило. О, ваши розовые губки!..

— Вы не сделаете этого, — пролепетала барышня, закрывая лицо руками. — Это было бы так ужасно!..

— Я не сделаю? О, плохо же вы меня знаете! Страсть клокочет во мне... Я...

Он безо всякого усилия оторвал от лица руки барышни, запрокинул ее голову и действительно впился своими горячими красными губами в ее бледные увядшие губы.

— Что вы делаете, — прошептала барышня, обвивая руками шею Громова. — Что ты делаешь, мой дорогой... как тебя зовут?..

— Васей.

— ... Дорогой Вася... Разве можно позволять себе это сейчас? Потом, после свадьбы... Когда мы останемся вдвоем.

Громов вдруг обмяк, обвис в цепких объятиях, как мешок, из которого высыпался овес.

— Свадь... ба? Какая свадьба?

— Наша же, глупенький. Имей в виду, что до свадьбы я позволю тебе целовать только кончики моих пальцев...

— По... почему свадьба?! Я не хочу...

Девица вдруг откинулась назад и с пылающим лицом воскликнула тоном разгневанной королевы:

— Милостивый государь! Я — девушка... И вы меня целовали. Вы мне говорили вещи, которые могут говорить только будущей жене!!

Колени Громова сделались мягкими, будто были набиты ватой.

— Я... больше не буду... Простите, если я что-нибудь лишнее... позволил.

Девица толкнула его на диван, сама уселась рядом и, прижав свое пылающее лицо к его щеке, миролюбиво сказала:

— Лишнее? Почему лишнее? Если человек любит — ничего ни в чем нет лишнего...

С глазами, устремленными в одну точку, застыл на месте неопытный благотворитель Громов. А она терлась щекой о его плечо и шептала на ухо:

— Ах, какое у нас будет гнездышко. Я уже сейчас вижу его... Прямо из передней — столовая. Налево твоя комната. Направо гостиная. Ты голубой цвет любишь? Голубая. Ты знаешь?.. Я думаю обойтись одной кухаркой: стирать пыль или какие-нибудь другие мелочи я буду сама. Правда? О, я не разорю тебя, не бойся.

И нежным поцелуем в потускневший, закатившийся, как у недорезанной курицы, громовский глаз она закрепила это заманчивое обещание.....

.....

Глава XVII ШТОРМ. ГРОМОВ ИДЕТ КО ДНУ

Лицо Клинкова, когда он подошел к выскочившему из комнаты Громову, сияло весельем и лукавством.

— Как ты думаешь, Подходцев заплатит мне рубль за проданную блондин... Боже, что с тобой такое?

— Она... там... — утирая мокрый лоб, простонал Громов, — женится на мне... Уже... почти женилась... Клинков — что же это такое? Есть же ведь полиция, суд, могут же они за меня заступиться. Любишь, говорит, голубой цвет — гостиная будет голубая, не любишь — будет красная...

— Милый... Громов! Опомнись. Что она там с тобой сделала? Ты поцеловал ее?

— Ну да. А она...

За их спиной раздался веселый голос:

— Где он тут, этот ловелас, этот покоритель сердец?! А! Вы тут, шалунишка. Здравствуй, Вася. Очень приятно познакомиться. Сестра мне все рассказала. И как это все у них быстро... Ну, поздравляю. Она хорошая баба, без штук. А я вам даже столовый буфет подарю — у меня есть очень хороший буфет.

— Что вам нужно, милостивый государь? — сурово спросил Клинков.

— Мне? Да вот обниму только шурина, поцелую, да и пойду себе. Много ли мне надо.

Он схватил Громова в объятия, скомкал его, как тряпку, лизнул где-то между глазом и ухом, опустил на пол и понесся дальше с сияющим лицом.

А в углу громовская барышня, окруженная кольцом гостей, что-то оживленно и радостно рассказывала.

Бледный, с трясущейся нижней губой вылетел из этого кольца Подходцев и, скользя к прятавшимся за портьерой Громову и Клинкову, быстро сказал:

— Клинков! Уводи Громова во что бы то ни стало! Можешь даже опрокинуть кого-нибудь, кто станет на дороге. А я буду в арьергарде задерживать гостей. Бегите через спальню. Вы куда, молодой человек? Что? Поздравить? Осади назад, мерзавец, а не то я тебе сломаю позвонки!

Клинков схватил Громова за руку и, в то время как Подходцев широкой грудью сдерживал напор ликующих гостей, повлек испуганного жениха к выходу через спальню.

Они уже были почти в безопасности, как вдруг из-за дивана вынырнул невидимый дотоле старик с сивым лицом, схватил маленького Громова за шею и, как орел когтит ягненка, повлек Громова за собой. Клинков ринулся за ними, но нахлынувшая толпа торжествующих гостей отделила его от похищенного Громова...

Молча, в бессильной ярости стояли плечо к плечу Клинков и Подходцев и из-за спины гостей, остолбенелые, могли любоваться на такую сцену: сивый старик держал Громова под руку, по другую сторону сивого старика стояла барышня с паклей на голове и сивый старик растроганным голосом говорил такое:

— Господа! Все здесь, включая и хозяина дома, — наши друзья и знакомые!.. Так порадитесь же вместе с нами на счастье этих двух дорогих моему сердцу сердец. Господин Громов сделал нынче моей дочери предложение, и я предлагаю выпить за их здоровье и счастье. От имени Громова (не правда ли, Вася?) объявляю всем, что кто откажется приехать на бракосочетание — всех троих нас кровно обидит... Ура!

Громов отыскал глазами лица двоих своих друзей и кротко, печально им улыбнулся: так улыбались христианские мученики, вытолкнутые в дверь на арену цирка, перед пастью тигра...

В глубоком отчаянии, пошатываясь, вышли оба друга в коридор, не в силах будучи вытерпеть этого зрелища.

— Клинков! — простонал Подходцев. — Ведь это что же?! Катастрофа?

И сердце Клинкова подсказало ему единственно возможное утешение:

— Ничего, Подходцев. Она уже старая; может быть, скоро умрет.

А из зала неслись крики «ура» ликующих от неизвестной причины гостей и стучали бокалы, как комья земли, осыпавшиеся на отверстую могилу кроткого, доброго Громова.

На улице светало. Было сыро. Было холодно.

Глава XVIII ПОХОРОНЫ ГРОМОВА. СЕМЕЙНОЕ ВОРКОВАНИЕ

Читателями уже, вероятно, замечено, что автор по складу своего характера с большим удовольствием обращает взор свой на яркие, солнечные стороны жизни, избегая теневых печальных сторон.

Именно поэтому история женитьбы Громова освещена только вскользь — до того это было грустное, мрачное событие...

На бракосочетание беднягу вели, как на казнь, и сходство это еще усугублялось тем надежным зловещим эскортом, которым был окружен жених: по бокам сивый старик — отец невесты — и развязный брат, сзади — тетка, говорившая таким густым басом, что даже бесстрашный Подходцев поглядывал на нее с некоторым уважением...

Свадебный пир больше напоминал погребальную трапезу, жених сидел около невесты, как придавленный дубовым бревном, а Клинков и Подходцев молча вливали в себя вино непрерывной струей, но не пьянели...

На середине пира Клинков встал и произнес двусмысленный тост, пожелав невесте долголетия:

— Дай Бог, — дрожащим от искренних слез голосом возгласил он, — чтобы вы, дорогая Евдокия Антоновна, прожили много-много лет, так... года три-четыре.

— Значит, вы хотите, — мрачно возразил развязный брат, — чтобы моя сестра умерла через три года?

— О, дорогой Павел Антонович, — с готовностью ответил Клинков, — я ведь основываюсь на возрасте.

Чтобы замять этот разговор, кто-то из гостей поднял бокал и крикнул:

— Горько!

— А еще бы! — подхватил угрюмый Подходцев. — Правильно сказали, многоуважаемый Семен Семеныч! Еще бы не горько.

— Я не Семен Семеныч, а Василий Власич, — поправил аккуратный гость.

— Что вы говорите! Никогда бы не сказал по первому впечатлению! Итак, господа, — горько. Очень горько!

— Поцелуйте жениха, — подсказал невесте Василий Власич. Подходцев прорычал:

— Так ему и надо — не женись!

Поднялся шум, крик, чем Подходцев и Клинков, раздраженные, со слезами бессильного бешенства на глазах, и воспользовались, чтобы скрыться, а родственники еще плотнее обсади бедного кроткого Громова, так что он, затертый ими, как бриг северными льдами, накрепился набок и тихо примерз к своей съеденной молью невесте.

Прошло три дня со времени этого тяжкого бракосочетания... Все это время унылый муж бродил по комнатам, насвистывал мелодичные грустные мотивы, хватался за дюжину поочередно начатых книг и даже «прижимался горячим лбом к холодному оконному стеклу», что, по терминологии плохих беллетристов, является наивысшим признаком скверного душевного состояния.

Вечером третьего дня Громов вышел в переднюю и стал искать свою шляпу.

Сзади слышалось воркование жены:

— Куда ты? куда ты, моя куколка?

— К товарищам пойду.

— К каким там еще товарищам? Какие такие еще товарищи?

— Разве вы не знаете их, Евдокия Антоновна? Мои друзья. Клинков и Подходцев.

— Что-о? Идти к этим пьяницам и пошлякам, которые позволяли себе говорить обо мне такие гадости?!

Громов поднял на нее кроткие, молящие голубые глаза:

— Я просил бы вас, дорогой друг, Евдокия Антоновна, не обижать моих товарищей. Мне это очень больно...

— Подумаешь, нежности какие! Две подозрительные личности, без всякого налета аристократизма — да я же еще должна молчать... Не пушу я тебя к ним!

Голос Громова сделался еще тише, еще музыкальнее:

— Очень прошу вас, не удерживайте меня. Мне очень нужно.

— Зачем?! Пьянствовать?

И совсем тихо, будто проглатывая что-то жесткое, пролепетал Громов:

— В наших отношениях это было не главное...

— А что же что было главное? Что они издевались над тобой, да жили на твой счет — это главное?

Голубые, сияющие добротой глаза Громова как-то потемнели, сузились. Он сделал усилие, проглотил что-то жесткое, царапавшее глотку, и вдруг — бешеный звериный рев, как гром небесный, исторгся из груди его:

— А-а, рр-р-р!!! Заткни свою глотку, старуха, или я тебе заткну ее раз навсегда этим зонтиком!! Голову отгрызу тебе зубами, если еще раз пикнешь что-нибудь о Клинкове и Подходцеве!!! Поняла?

У Громова было такое лицо, скрюченные руки его с такой экспрессией протянулись к горлу Евдокии Антоновны, что она, бледная, в предсмертной тоске, тихо попятилась к вешалке и забилась там между пальто и накидками.

Молчали оба долго.

Потом она, выглядывая из-за какой-то ротонды, прохрипела тихо и подавленно:

— С ума ты сошел, что ли?

— Еще нет! Скоро сойду, вероятно... Ты! Ты, как ведьма, вскочила на меня, оседлала, дала пинка, и я побежал, подстегиваемый твоим сивым старикашкой-отцом и каторжным

братом... Что ж... (он криво улыбнулся) и побегу... Я уже человек погибший... Но если ваши нечестивые уста скажут хоть слово о Подходцеве и Клинкове — я тебя сброшу с себя, а твоего старичка и брата исковеркаю, как пустую коробку из-под спичек. Поняла?

— Ты... нас... хочешь... убить? — пролепетала Евдокия Антоновна трясущимися губами.

Но Громов был уже спокоен, как летняя зеркальная вода на реке. Глаза его сияли по-прежнему, а тихая улыбка застыла на пухлых губах.

Он почистил рукавом шляпу и благодушно сказал:

— Итак, значит, дорогая Евдокия Антоновна, я пойду к Подходцеву и Клинкову и вернусь поздно вечером. К ужину меня не ждите.

Она вышал из-за вешалки и, цепляясь за его рукав, пролепетала:

— Скажи... ты часто так... будешь уходить?

Глубокая гнетущая печаль покрыла темным крылом лицо Громова.

— О, нет... Это, вероятно, последний раз. Я для них человек конченный — для чего я им? Я бы и сейчас не пошел, если бы Клинков не был сегодня именинником.

Он грустно улыбнулся.

— Каждый год он добросовестно об этом забывал, и каждый год я ему напоминал об этом... Напомню в последний раз.

И через минуту его легкие шаги и печальный свист слышались уже внизу лестницы.

Евдокия Антоновна долго стояла у вешалки, сжав голову руками, будто сдерживая вылезшую из невидимого тюфяка паклю бесцветных волос, и о чем-то напряженно, мучительно думала...

Глава XIX КЛИНКОВУ УГРОЖАЕТ ОПАСНОСТЬ

Клинков и Подходцев занимали в гостинце большой угловой номер с двумя кроватями. Квартиру, в которой жили все трое, сейчас же после свадьбы Громова оставили, мотивируя это тем, что в ней «трупиком пахнет».

Причина была несколько иная: просто каждый угол, каждая вещь напоминали о безвозвратно потерянном друге, и эти воспоминания давили обоих друзей, дышали прямо в лицо могильным запахом.

В новой обстановке дышалось легче.

Клинков, дождавшись сумерек, затопил камин и уселся перед ним в кресле, приняв позу самого безнадежного отчаяния. Подходцев, вытянувшись во весь свой длинный рост, лежал на диване.

Беседа, конечно, шла о Громе.

— Но ведь может же он ее бросить? — глядя застывшим взором на красные уголья, пробормотал Клинков.

— Не бросит, — отвечал Подходцев.

— Ради нас даже?

— Не бросит.

— Однако ты же вот разошелся с женой.

— Я — дело другое. А его эта трясина засосет... медленно, но верно. Такой уж он человек.

— Такое у меня настроение, — прошептал Клинков, — что хочется биться головой об стенку.

— Бедная, — вздохнул Подходцев.

— Кто?!

— Стенка.

— Ты всегда так плоско остришь?

— Только для тебя. Кесарево кесарю, как говорил Громов.

— Громовские шутки были во сто раз умнее.

Из полуоткрытых по случаю жары дверей слышался голос:

— Раньше вы мне таких приятных вещей не говорили.

— Громушка, милый!! Пришел! Вспомнил о нас?!

— Можете же себе представить, как я вас люблю, если даже радости медового месяца не удержали меня около обожаемой жены.

И столько тоски слышалось в этой легкомысленной фразе, что сердца обоих друзей болезненно сжались.

— А жена твоя, как... — стараясь быть светским, спросил неуклюжий Клинков. — Здорова? Хорошо себя чувствует?

Громов отвечал самым серьезным тоном:

— Благодарствуйте, недурно. Кланялась вам. Может быть, навестите нас?

— Почтем за честь, — вежливо отвечал Подходцев. — Да некогда все, дела, знаете...

— Скажите! А вы чем сейчас заняты?

— Открыл богатое месторождение меди.

— Что вы говорите? Где? Далеко?

— Совсем близко. В голове у Клинкава.

— И много добываешь?

— Не очень. Место сырое, к сожалению. Водянка головы начинается.

Все трое, как воробьи, забывшие о еще громыхающем вдали грома, повеселели и зачирикали, запрыгали по веткам, но новый удар грома, еще более грозный, раздался в этот момент...

Выразился он в довольно тихом стуке в дверь, стуке, в первый момент даже не услышанном за общим смехом.

Так и первое отдаленное погромыхивание грома почти не достигает уха, а потом вдруг усиливается, растет, растет...

— Можно войти?

— Кого там черти принесли?! Войдите!

Небольшого роста рыжеватый человек с лисьей физиономией, одетый в рыжее платье, с оранжевым галстуком и в ботинках с рыжим верхом вошел в комнату.

Освещенный ярким светом камина, приблизился к трем друзьям и заискивающе сказал:

— Кто здесь Клинков?

— А! Вы, право, можете выбрать по своему вкусу, — с досадой заметил Клинков. — Мы здесь все одинаковые.

— Нет, — не обращая внимания на тон, возразил незнакомец, — может быть, вы все и были одинаковые, но с этого момента один из вас будет резко отличаться от других.

— Кто? — отрывисто спросил Подходцев.

— Господин Клинков.

— Послушайте, — угрюмо пробормотал Подходцев, — если с ним случится что-либо плохое — я вас испорчу, мне теперь все равно...

— Плохое? Что вы... Господин Клинков! Я поверенный вашего покойного отца... Он вчера скончался и оставил вам (гром все усиливался, крепчал и вдруг обрушился самым оглушительным образом), как единственному наследнику, два дома и около трехсот тысяч процентными бумагами!!! Я рад, что имел честь первый поздравить вас.

— Вы меня поздравляете? — странным тоном спросил Клинков.

— Да! Конечно. Вы сейчас богатый наследник.

— А знаете, я даже рад, что отец умер...

— Клинков! — укоризненно вскричал Громов.

— Рад за него, что он умер. По крайней мере, ему не придется иметь с вами дела...

Он ушел в угол и долго простоял там, лицом к стене.

Отошел. Спросил глухо:

— Вспоминал меня перед смертью?

— Да. Говорил, что был неправ по отношению к вам.

Еще раз — приношу мои искренние поздравления...

— Мне очень жаль... — проямлил Клинков.

— Чего?..

Клинков подумал и сказал искренним тоном:

— Что не вы умерли вместо него. Ступайте! Заходите завтра. Сейчас мне не до вас. У меня — Громов. Ясно? Прямо и налево!

Глава XX ГИБЕЛЬ КЛИНКОВА. ПОСЛЕДНЯЯ ШАЛОСТЬ

Рыжий, похожий на лисицу человек, не смущаясь резким тоном Клинкova, заулыбался, завертелся и, изгибаясь хребтом, сказал медовым голосом:

— О, конечно! Я понимаю. Господи! Улетучусь, как дым. Но, вы простите, передо мной, как перед духовником, стесняться нечего: может быть, вам сейчас нужны деньги?

— Как деньги? Сейчас? Можете дать? — недоверчиво спросил Клинков.

— Да, ведь это ваши же деньги. Я, так сказать, дам авансом...

Клинков расставил массивные ноги, погрузил руки в карманы и впал в глубокую задумчивость. Очнулся.

— Десять тысяч можете дать?

— Сделайте одолжение... У меня дома на всякий случай приготовлено...

Клинков что-то промычал, взял Громova под руку и отвел его в угол:

— Послушай, Громушка... Ты меня знаешь: я мужчину ценю в десять тысяч раз больше любой женщины... На днях я продал Подходцеву довольно красивую девушку за рубль. Мне сейчас пришла мысль: я куплю тебя за десять тысяч. Довольно?

— Бедняга, — вздохнул Громов, сочувственно поглаживая плечо Клинкава. — Богатство отуманило твой обычно не богатый мозг.

— Ты не понимаешь меня. Скажи: она уступила бы тебя за десять тысяч?

— Кто?

— Жена. Можно даже без развода. Черт с ней.

Громов нахмурил брови и энергично замотал головой.

— Нет-нет! Ничего не выйдет. Кажется, что она не возьмет и ста тысяч.

— Почему?!!

Громов застенчиво пробормотал:

— Дело в том, что... что...

— Ну?!!!

— Дело в том, что...

И закончил с милым смущением женщины, сообщающей, что она скоро будет матерью:

— Дело в том, что... она... меня, кажется, любит!

Клинков досадливо крикнул и засвистал.

— Угораздило тебя, действительно. Послушай...

— Ну?

— А может быть, ты слишком много о себе воображаешь?

— То есть?

— Может быть, она тебя не любит?

В глазах Громова мелькнула и погасла безысходная тоска:

— Нет, брат... любит. Уж я знаю наверное.

— А ты не мог бы... отравить ее, что ли?

— При водянке головы нужно провертеть буравчиком дырку на темени и, опрокинув человека вверх ногами, вылить скопившуюся воду. Мы с Подходцевым устроим тебе это.

— Я говорю серьезно. Ну, напейся пьян и избежь ее до полусмерти.

— А вдруг после этого она меня еще больше полюбит? Сердце женщины — загадка.

— Ну, хочешь, я ее увлеку?

— Она только вчера сказала, что твоя фигура напоминает ей диванный валик с розеткой вместо головы.

— Гм! Надеюсь, ты оборвал ее?

— О, неужели ты сомневаешься? Я с негодованием возразил, что ты больше похож на галапагосскую черепаху, ставшую на задние лапы.

— Господа! — перебил их Подходцев. — В обществе не принято шептаться. Этот золотистый молодой человек и я — мы скучаем без вас.

— Сейчас-сейчас, — обернулся Клинков. — В таком случае мне, господин доверенный, не понадобится десяти тысяч. Давайте пока пятьсот рублей, чтобы я мог похоронить своего друга по первому разряду.

— А! — с преувеличенным сочувствием подхватил рыжий человечек. — У вас умер друг? Какое несчастное событие.

— И не говорите. Его убила одна женщина с волосами цвета пакли.

— Не надо отчаиваться, — подхватил рыжий доверенный. — Ему там будет лучше.

— Вы думаете?

— Я уверен. Раз он ваш друг, значит, это — светлая личность.

Громов подошел и пожал ему руку.

— Спасибо, голубчик. Видно, что вы знаете людей.

— Когда же похороны? — осведомился обстоятельный доверенный. — Я бы тоже пришел отдать последний долг.

— Да зачем же вам беспокоиться? Отдайте через меня.

— Что?

— Вы говорите, должны ему что-то?

— Нет, это вообще такое выражение, — ласково захихикал рыжий, изгибая стан. — Так вам нужно пятьсот? Я распоряжусь по телефону. Здесь телефон близко?

— Внизу у швейцара.

Делая змеиные движения спиной, доверенный вышел из номера.

Подходцев печально оглядел обоих друзей и промолвил, вздыхая:

— А все-таки лучше, если бы этот рыжий паренек совсем не приходил сюда.

— Почему? — возразил Клинков. — Он даст нам денег. Я сегодня справлю пышную тризну по Громову!

— Боюсь я, — со зловещим спокойствием отчеканил Подходцев, — что тризну придется справлять по двум.

— А второй кто? — смутился Клинков.

— Ты.

— Я? Что за вздор. Наоборот, мы теперь будем богаты и заживем хорошо.

— Мы? Нет, это ты. Ты будешь богат и, конечно, имеешь полное право жить хорошо.

— Вздор-вздор. Мы не расстанемся, — растерянно бормотал Клинков, пытаясь обнять и поцеловать ледяного Подходцева.

Подходцев вернул ему поцелуй, но продолжал тем же решительным тоном:

— Видишь ли: это совершится чисто автоматически, как нож гильотины отделяет голову от плеч... Тебе, конечно, не будет смысла жить со мной в этом полутемном, гробового вида номере. Мне никак нельзя поселиться в одном из твоих палаццо...

— Почему?! — зарычал бледный от злости Клинков.

— Зачем объяснять, когда ты сам понимаешь. Я тебе напомню один штрих, один пустяк: помнишь, когда я был женат, имел квартиру с портьерами, сверкающими салфетками и лопаточками для свежей икры, а вы пришли с Громовым ко мне, с подведенными животами, стыдящиеся своего голодного вида и брюк с бахромой... Что удержало вас от откровенного разговора со мной? Почему вы стали хвастаться роскошной сытой жизнью?! Ага?

Подходцев с видом смертельно усталого человека бросился в кресло, вытянул ноги и, освещенный светом камина, заговорил, полузакрыв глаза:

— Дело в том, дорогие мои, что мы все трое горды, как знатные, но нищие испанцы. И все у нас идет хорошо, пока мы в одинаковом положении и состоянии...

— Я не гордый, — пробормотал Клинков.

— Ты?! Я ведь знаю, что ты мог бы получать от отца солидное содержание, и ты не взял у него ни копейки только потому, что он был сух с тобой!! Разве это не гордость? Почему я разошелся со своей женой? Из гордости! Поче-

му Громов не разойдется со своей женой? Из гордости! Нет, хлопчики, наше преступное сообщество расшаталось вконец, я это чувствую. Не надо закрывать глаза! Первый удар нанесла своей нежной, но жестокой рукой высокочтимая Евдокия Антоновна, второй — эта противоестественная помесь лисицы и очковой змеи, это доверенное лицо, этот погубитель Клинкава, чтоб его там у телефона убило током высокого напряжения!

— Хотите, я спущу его с лестницы и откажусь от наследства? — донесся из дальнего угла голос притихшего Клинкава.

— Э, нет, братику. Этого уж я не позволю. Дружба хороша, когда она — вольное лесное растение, а не оранжерейная штучка, выращенная искусством опытного садовника. Мы расходимся — я люблю иногда взглянуть в глаза старухе-правде, — над нами сейчас разразилась гроза с ливнем, грянул гром... и... и долго мы не обсушимся!

— Летние грозы коротки, — с усилием выдавил из судорожно сжавшегося горла Громов.

— Возможно. Жена твоя может разлюбить тебя или, наконец, не дай ей Бог этого, умереть. Клинков — любитель женского пола — может спустить все свои капиталы на какое-нибудь алчное, розовогубое, золотоволосое существо, а я...

— Ты? Что же ты? Почему ты остановился?

— Я буду ждать вас, детки. Только и всего. Профессия незатруднительная, но отнимающая много времени. Правду ведь сказать, я вас очень люблю. У Клинкава были женщины. У Громова — поэзия и высокие искусства, а я — прозаический земной человек, в любой момент мог променять и то и другое на любого из вас.

— Я сейчас заплачу, — простонал Клинков из дальнего угла.

— При водянке головы жидкость, переполняющая мозг, иногда течет из глаз, — сказал не совсем уверенным от тайного волнения голосом Громов.

— Что ж ты, голубчик, — упрекнул Клинков. — Стал уже на своих бросаться?.. Все равно, как бы ты меня ни оскорблял, я тебя люблю.

— Ах, не говори так жалостно! Господи! И что мы за несчастные такие... Я торопился к вам, хотел поздравить тебя с днем ангела...

— Да разве я именинник? — удивился Клинков.

— Еще бы. Всюду флаги. Фонари, торжественное шествие по городу алкоголиков и дегенератов. А что же это твой рыжий купидон не идет?! Не убило ли его, в самом деле, у телефона электричеством?

— Придет. А он довольно препротивный, братцы. Хорошо бы ему учинить какую-нибудь гадость.

Подходцев встал с кресла, потянулся и, сбросив свой оцепенелый вид, засмеялся.

— Я знаю, что мы ему сделаем! Клинков! Достань из твоего чемодана пару атласных дамских туфель. Не красней, пожалуйста. Я знаю, что ты уже целый год прячешь эту реликвию, сташенную у нашей «женщины, найденной на площадке». Не стыдись, дружище. Это доказывает нежность твоей натуры. Есть туфли? Давай! Громов! Снимай ботинки... Давай! Поскорее, детки. Заливай камин водой, туши электричество. Есть? Выставляй туфли и ботинки за дверь... Есть?! Тссс... Он, кажется, возвращается. Прячься за ширму, голубчики!

Раздался тихий смех, легкая суетня, и все стихло.

По коридору послышались шаги. Кто-то остановился у дверей номера, потоптался нерешительно и дернул за ручку двери. Лисья физиономия, освещенная светом из коридора, просунулась в номер...

— Пардон, извините... Здесь живет господин Клинков?

Клинков поднес свою руку к губам и стал ожесточенно целовать ее.

Лисья физиономия спряталась; наступило на несколько секунд молчание. В коридоре, за притворенной дверью, доверенный переминался с ноги на ногу и вздыхал сокрушенно и недоуменно...

Снова приотворилась дверь и просунулся лисий нос.

— Пардон, здесь господин Клинков живет?

Подходцев закрыл себе рот подушкой и взвизгнул тонким пронзительным голосом:

— Ах, мужчина! Нельзя... Я раздета. Что вам нужно?!

А густой голос Клинкова прорычал:

— Что за мерзавцы шатаются, спать не дают! Вот встану, дам по затылку...

Дверь захлопнулась. Послышались быстрые удаляющиеся шаги.

Все трое вскочили с кровати и подкрались к дверям.

— Ушел?

— Нет, кажется, возвращается. Опять шаги. Тссс!

В соседний номер постучали.

— Кто там? — донесся из-за стены голос.

— Можно?

— Войдите.

Хлопнула дверь, в соседнем номере послышался разговор, сначала тихий, потом громче, потом все это перешло в яростный крик:

— Вон, животное! Я тебе покажу, как шататься по чужим номерам! Еще стащишь что-нибудь! Коридорный! Дай ему по шее!!

Снова послышался топот бегущих ног, и на минуту — тишина.

— К швейцару пошел, — сказал Подходцев. — Зажигайте электричество! Полный свет! Убирайте ботинки! По местам, господа!.. Тсс! Идут.

Простуженный голос швейцара хрипел:

— Я же вам по-человечески докладываю, что господин Клинков живут в 49-м.

— Да нет же! Там какие-то женские ботинки, кто-то спит.

— Где ботинки? Снится вам? Светло у них, где ж тут ботинки? Никаких ботинок. Только зря от дел отрывают, ей-Богу.

Клинков встал, отворил дверь и спросил с самым невинным лицом:

— Что за шум? В чем дело, господа?

Ошеломленный доверенный протер глаза и неуверенно спросил:

— Я сейчас стучал к вам, господа?

— Нет, что вы, зачем же? Ничего подобного. Мы сидим втроем, ждем вас. Никто не стучал. Вы, вероятно, не в тот этаж попали. А что? Случилось что-нибудь?

— Ничего, ничего... Гм! Вот ваши пятьсот рублей, я сам съездил за ними. А мне уж разрешите откланяться. До завтра.

— Откланивайтесь, это можно.

Клинков вернулся и, потрясая деньгами, воскликнул:

— Ловко сработано!

А Подходцев печально закончил:

- Тем более что это, кажется, последняя наша работа.
- Почему?
- Ах, Господи!.. Погляди: ты небрежно держишь в руках пятьсот рублей, и это только одна тысячная твоих денег!! С этого момента мы тщательно разгорожены: женатый человек, миллионер и бобыль-прощельга...
- Пить! — простонал пересохшими губами Громов, хватаясь за голову.

Глава XXI ПОДХОДЦЕВ УЕЗЖАЕТ СОВСЕМ

Если бы кто-нибудь вошел в комнату с закрытыми глазами, он был бы уверен, что Подхоцев горячо убеждает кого-то молчаливого, мрачного, сидящего с сомкнутыми устами и не произносящего ни одного слова в ответ на горячие монологи Подходцева. А если бы вошедший открыл глаза, он заметил бы странное явление: в комнате никого, кроме Подходцева, не было.

В противоположность своим привычкам Подхоцев не лежал на диване, а крупно шагал по комнате и говорил, ероша и без того растрепанные волосы:

— Собственно, в чем дело?.. Ну, сошлись, ну, познакомились, привыкли друг к другу. Не вечно же это! Во всяком случае, я могу утешиться тем, что расстались мы по причинам, не лежащим в нас самих: откуда-то глупым порывом ветра нанесло стареющую самку, бросило под ноги слабохарактерному Громову, он споткнулся, упал... Откуда-то с неба свалились добряку Клинкову на голову большие деньги... Он их не искал, но раз они сами лезут в руки, имеет ли он право отказаться от них? Ни за что! Так чего же я, собственно говоря, хочу? Ничего я не хочу!! Пусть все оставят меня в покое, вот и все!!

Шагая по комнате, он беспрестанно натыкался на уложенный чемодан, злобно толкал его ногой и, как дикий зверь, шагал из угла в угол.

— Дело ясное: нельзя основывать свою жизнь только на дружбе. Что главное в жизни? Любовь к женщине, общественное положение, карьера... Все это стояло для меня на вто-

ром плане. Ну, вот это и неправильно. А теперь я одинок, свободен, широкая жизнь лежит передо мной. Собственно, чего я ною? Друзей мне не жалко: Клинков прекрасно устроился, Громов тоже, кажется, чувствует себя недурно, пригревшись у сытного домашнего очага... Кого же мне жалко? Себя! Собственно, почему?

На улице послышались звук автомобильного гудка и пыхтение. Прошла минута, и пыхтение послышалось уже на пороге комнаты, будто автомобиль взобрался по лестнице.

Пыхтел Клинков, отчасти от быстрых прыжков по лестнице, отчасти от важности.

— Получил твою записку, — сказал он, обнимая Подходцева. — Это правда, что ты уезжаешь? Куда, голубчик?

— Ко всем чертям, — сурово сказал Подходцев. — Скажи, пожалуйста, зачем ты приехал на автомобиле? Друга своего потопить хочешь?

— Что ты?! Почему?

— Да ежели хозяин моей комнаты увидит, что гости приезжают ко мне на автомобиле, ведь он вдвое будет драть за комнату?!

— Наоборот: он откроет тебе широкий кредит, а кредит, братец ты мой, двигатель торговли и коммерции.

Подходцев саркастически усмехнулся.

— Ты уже и это знаешь?.. Автомобиль собственный?

— Да. По случаю купил. Если ты хочешь, он в любую минуту в твоём распоряжении.

— Спасибо. Когда мне понадобится почистить брюки, я одолжу его у тебя.

— Как так?!

— Возьму немного бензина. По-моему, это единственный для меня способ пользоваться твоим автомобилем.

— Какой у тебя сердитый тон, — прошептал Клинков, отворачивая в сторону опечаленное лицо. — Ты как будто не тот.

— Ах, милый мой, надо же кому-нибудь делаться не тем. Вы оба остались теми... приходится мне меняться.

— Мы теперь оба больше тебя любим, чем ты нас, — с детской улыбкой сказал Клинков. — Мы как раз недавно вспоминали тебя с Громовым и нашли, что ты круто изменился. Ты как будто даже уклоняешься от встреч с нами...

— А что же мне делать?

— Что? А мы как раз проектировали с Громовым: я оставляю дома все свои деньги, Громов всю свою жену, забираем тебя и идем в наш старый притон «Золотой якорь»; там принимаемся уничтожать шашлыки и знаменитый салат из помидоров. Вино, для экономии, захватим, как прежде, с собой из дому и будем пить, вынимая его тайком из кармана.

— Тссс, ребята! Искусственное удобрение! Это не то. Выпивая это контрабандное вино, ты не забудешь, конечно, о том, что можешь в любую минуту потребовать дюжину французского шампанского. Громов не забудет, что дома ему этот знаменитый салат приготовили бы во сто раз лучше. К чему же эта комедия?

— Подходцев! Как тяжело все то, что ты говоришь!..

— Даром ничто не дается, — усмехнулся Подходцев,

...Судьба

Жертв искупительных просит.

Чтоб одного возвеличить, она

Тысячи слабых уносит.

Ты возвеличенный. Я — слабый. Вот меня черти и уносят.

— Пусть они будут прокляты, эти самые мои деньжонки, — заскрежетал зубами Клинков. — Я их сожгу.

— Боже тебя сохрани! На всю жизнь будешь несчастным человеком. Истратить их планомерно — другое дело. Машина эта сколько стоит?

— Автомобиль? Семь тысяч.

— Ну, вот, — утешил Подходцев. — Начало-то уж и положено. А там еще пойдет и пойдет...

— Ты куда едешь?

— В этот самый... как его... ну... в Харьков я еду.

— Зачем?

— А там этого... Взялся приводить в порядок библиотеку одного богатого чудака.

— У тебя деньги есть? — заботливо спросил Клинков.

— Немного есть. Рублей 25 могу одолжить, если тебе нужно.

— Ей-Богу, ты стал такой, что мне страшно и предложить тебе.

— А ты не предлагай, — ласково засмеялся Подходцев. — Вот и не будет страшно.

— Принимаешь? — раздался в передней голос Громова. — Ты прости, голубчик, я не один. Жена, узнав, что ты уезжаешь, захотела тоже с тобой проститься.

Действительно, за спиной Громова виднелась жена, прямая, как палка, строгая, с поджатыми губами.

— Ах, вы знаете, мсье Подходцев, я хоть и мало с вами знакома, но Вася вас так любит, так много говорит о вас, что я тоже как будто вас полюбила.

— А обо мне он разве не говорил? — ревниво спросил Клинков, выдвигаясь из глубины комнаты.

— Он говорил и о вас, но вы теперь такой богатый, важный. До вас и рукой не достанешь.

— Да, — сокрушенно сказал Подходцев. — Совсем человек возмечтал о себе. Я уж тут резонился с ним, уговаривал его не делать этого.

— Чего? — удивленно спросил Громов.

— Вбил человек себе в голову, что на автомобиле ездить не шикарно. Хочет купить слона и ездить на его спине по делам. В этакой расшитой золотом палатке. Я ему говорю: «С ума ты сошел, ведь народ будет сбегаться, полиция запретит». И слушать не хочет. У меня, говорит, есть связи с губернатором, устроюсь. Хоть бы вы его пожурили, Евдокия Антоновна!..

Евдокия Антоновна поглядела на Клинкова с немым изумлением.

— Серьезно, вы хотите это сделать, господин Клинков?

— Нет, он уже уговорил меня не делать этого. Мы покончили на паре верблюдов.

— Конечно, — деликатно промямлила Евдокия Антоновна, — не мое дело вмешиваться, но верблюды... тоже... это не то, не изящно. Что может быть лучше автомобиля?..

— Я люблю красочную жизнь, — серьезно сказал Клинков. — Думаю завести у себя негритянскую прислугу. В гостиной, в уголку, леопард на цепи, в другом. — фонтан из старого хереса...

— Какой вы оригинал, — удивилась Евдокия Антоновна.

— Такие оригиналы носят рубашки с длинными рукавами и живут в изоляторе, — пожал плечами Громов. — Не гово-

ри глупостей, Клинков. Ты шутишь, а Евдокия Антоновна тебе верит.

Заметно было, что ему немного неловко за жену. Подходцев пришел на помощь.

— Так вот, значит, мы и расстанемся, господа...

— Ты надолго уезжаешь?

— Месяца на три.

— Так-так.

Громов и его жена сидели на стульях рядом, у стены, как бедные родственники, явившиеся с визитом.

Клинков приткнулся в напряженной позе на диване, мрачно поглядывая на Подходцева, а Подходцев по-прежнему шагал из угла в угол.

Наступило тягостное молчание. Оно продолжалось минуты две, а казалось, как месяц.

— Что это мы, — неловко рассмеялся Клинков. — Будто на похоронах. Будем же разговаривать. Ну, что вы, Евдокия Антоновна, устроились с квартирой?

— Да, ничего себе. Папа нам нанял.

— Кланяйтесь от меня вашему батюшке, — нашелся Клинков.

— Спасибо. Он будет очень рад. Хотите, завтра к ним отправимся; мы с мужем собираемся.

— Завтра? Гм... Да я завтра занят. У меня один человек будет.

— Жалко. А то бы поехали.

— Да, жалко.

— Ты, Подходцев, напишешь мне? — спросил Громов, поглядывая на Подходцева робкими, молящими глазами.

— Обязательно. А как же?

Помолчали. Клинков сосредоточенно сосал папироску.

— А ты мой адрес знаешь?

— Нет, — рассеянно отвечал Подходцев.

— Так как же ты напишешь, если не знаешь адреса?

— Я марку наклею, — сказал Подходцев, упорно глядя в стену невидящими глазами.

— Что с тобой, братец?! Очнись.

— Да этого... Мне уже на вокзал ехать надо...

У всех вырвался вздох облегчения.

Супруги Громовы задвигали стульями, сразу сделалось шумно.

— Я тебя подвезу на автомобиле, — сказал Клинков, обнимая Подходцева.

— Нет, зачем же? Мы тут простимся.

— Нет-нет! Мы все вас поедем провожать, — сказала жена Громова, любезно щуря бесцветные глаза под рыжими бровями. — Нам так жалко, что вы уезжаете. Оставались бы, право, а? Иногда приходили бы к нам обедать, повеселились бы, поговорили...

— Нет, знаете, — повторил Подходцев с непроницаемым выражением лица. — Мне нужно. Я уж поеду.

Клинков схватил мощной рукой чемодан Подходцева и потащил его к выходу. Все двинулись за ним.

Громов на лестнице отстал немного, придержал Подходцева за рукав и шепнул ему:

— Ты плохо выглядишь, старина. Что с тобой?

— Мне было скучно без вас, — пробормотал Подходцев, похлопывая по колену коробкой со шляпой.

— Эх, миляга! Судя по сегодняшнему великосветскому разговору, оно и с нами не весело. Ты знаешь, почему я взял с собой жену?

— Ну?

— За себя боялся. Думал: буду один, плюну на все и уеду за тобой.

Подходцев промолчал, но про себя подумал: «Я бы на твоём месте этого не боялся, а именно так бы и сделал. Вот она и разница между нами».

— Подходцев! А ведь я чувствую, что ты мне не напишешь?..

— Конечно, не напишу.

Громов сосредоточенно нахмурил брови:

— Почему?

— Разные интересы, голубчик, разные интересы... Ты знаешь, соловью в клетке опасно показывать свободного соловья на ветке. Затоскует и издохнет.

— Эй, вы там! — раздался снизу голос Клинкова. — Не заставляйте даму ждать! Неучтиво.

Клинков собственноручно заботливо укладывал чемодан на верх автомобиля. Покончив с этим, спустился вниз и расшаркался перед Подходцевым.

— Готово, ваше сиятельство. На чаек бы.

— На-на, голубчик. Старайся.

Подходцев вынул из кармана рубль и сунул его в руку Клинкова.

— Ого! — вскричал весело Клинков. — Давно я не зарабатывал своим трудом денег. Спрячу этот рубль для курьеза.

— Спрячь, спрячь, — странно улыбаясь, согласился Подходцев.

Клинков усадил всю компанию в автомобиль, причем Евдокию Антоновну постарался усадить так, чтобы на нее дуло из полуоткрытого окна (невинная месть за разбитую жизнь друга).

Поехали. Бедный Клинков все время смущался, не зная, какую принять позу, потому что Подходцев глядел на него во все глаза и, видимо, искренно потешался над напряженной фигурой друга.

— А знаешь, автомобиль очень идет тебе. Прямо-таки к лицу. Мило, мило... Чрезвычайно мило! Только ты должен сидеть, откинув вот этак голову, а рукой в бок.

— В чей? — отшучивался с напряженным оживлением Клинков, но тайная печаль раздирала его сердце.

— Стоп! Приехали. Ну, тут я с вами, друзья, прощусь.

— Ни-ни. Мы тебя проводим до вагона, усадим и...

— Ради Бога, не надо! Я избегаю трогательных сцен и сильных волнений... У меня слабое сердце. Одним словом, обнимите меня и прощайте. Весной, вероятно, свидимся.

Подходцев соскочил с автомобиля, бросил носильщику свой не особенно тяжелый чемодан, расшаркался перед Евдокией Антоновной, наскоро поцеловал раскисшего Клинкова и, вырвавшись из цепких объятий Громова, бросился в подъезд вокзала.

В полутьме Клинков и Громов даже не рассмотрели его лица. Автомобиль запыхтел, затарахтел и, сделав плавный поворот, умчался.

.....

Глава XXII

КОНЕЦ.

ПЫЛЬ И ПАУТИНА

— На какой поезд прикажете? — осведомился носильщик, дергая за рукав задумчивого Подходцева.

Оба они стояли в вестибюле вокзала.

— На какой? Гм! Да ни на какой. Что, автомобиль уже уехал?

— Так точно.

— Ну, вот. На тебе... Гм...

Подходцев ощупал все свои карманы, набрал несколько медяков, сунул их в руку оторопевшего носильщика и, вскинув на плечо чемодан, быстрыми шагами вышел обратно на улицу.

— Оно бы, конечно, лучше на извозчике, — улыбаясь, пробормотал он. — Да это животное Клинков забрал последний рубль. А впрочем, не суть важно: чемодан маленький, а я большой.

Был уже глубокий вечер. Пешеходы попадались редко, и поэтому почти никто не обращал внимания на широкоплечего молодца, размашисто шагавшего с чемоданом на спине.

Вот и его улица. Вот и дом.

Подходцев легко взбежал по лестнице, открыл в темноте свою дверь, бросил на кровать чемодан и, переведя дыхание, опустился в кресло...

В печке дрова еще не погасли. Тишина в квартире стояла мертвая, только изредка какое-нибудь обгоревшее полено с тихим шуршанием обламывалось, сползая двумя половинками вниз.

Синие, желтые и красные огоньки прыгали, кривляясь и подмигивая...

Лицо Подходцева, освещенное красным светом, было сосредоточенно-спокойно. Он медлительно вынул из кармана трубочку, набил ее табаком из старого потертого кيسета, откинулся на спинку кресла, испустил глубокий вздох и пробормотал, закрыв глаза:

— Ну, что ж, ждать так ждать. Над нами не каплет...
Будем ждать.

Засмеялся и умолк. Погрузился в неподвижность.

Вокруг все молчало. А в позе сидящего было столько спокойного терпения и уверенности в себе, что, казалось, этот человек способен просидеть так несколько лет, ожидая.

1917



КОММЕНТАРИИ

ПОЗОЛОЧЕННЫЕ ПИЛЮЛИ



В настоящий том входят произведения писателя 1915–1917 гг.

Дикое мясо (1914)

Сборник вышел в издательстве журнала «Новый Сатирикон» в 1916 г. Все рассказы и фельетоны, вошедшие в сборник, печатались впервые.

В нашем собрании сочинений Аркадия Аверченко сборник печатается по этому единственному изданию.

Кустари и машина.

С. 8 ...*Онкольные счета*, — отвечал он. — Онколь (от *англ.* «*on coll*») — текущий счет в банке, обеспеченный процентными бумагами, которые банк может продать, если выданная сумма не будет уплачена по первому требованию.

Я по инкассо векселей... — Инкассо (*итал.* *Inkasso*) — порядок расчетов, при котором банк принимает на себя выполнение поручений поставщика о получении для него платежа с покупателя (плательщика).

Вексель — долговое денежное обязательство, по которому должник обязывается уплатить держателю векселя известную сумму в определенный срок.

Мелюзга.

С. 16. ...*убийство Герценштейна, Иоллоса...* — Михаил Яковлевич Герценштейн (1859–1906), экономист, профессор

Московского сельскохозяйственного института, теоретик партии кадетов по аграрному вопросу, депутат I Государственной думы, убит черносотенцами. Григорий Борисович Иоллос (1859–1907), редактор газеты «Русские ведомости», член партии кадетов, депутат I Государственной думы, убит черносотенцами.

...если считать, что Милюков, Маклаков, Шингарев и другие — предметы первой необходимости... — перечислены несколько видных депутатов Государственной думы. Из них был убит Андрей Иванович Шингарев (1867–1918).

С. 17. *...идет...* в «Журнал Журналов». — «Журнал Журналов» (1915–1917) — литературно-публицистический журнал либерального направления. Издавался в Петрограде. Редактором его был журналист и писатель Илья Маркович Василевский (1882–1938; псевдоним; Не-Буква).

Почему не «Русское Слово», не «Речь»... — «Русское Слово» (1895–1917) — большая либерально-буржуазная газета, издавалась в Москве; в ней печатались и литературные произведения. «Речь» (1906–1912) — центральный орган партии кадетов, газета издавалась в Петербурге.

...на «мокрый грант»... — На тюремно-воровском жаргоне — грабеж и кровопролитие (правильно «гранд»).

...и за Родичева полтора ста снял. — Федор Измайлович Родичев (род 1856-?) — помещик, член ЦК партии кадетов, депутат I–IV Государственных дум; после революции (октябрь 1917 г.) в эмиграции.

С. 19. *...в трамвае обнаружил панаму!* — Здесь под «панамой» подразумевается мошенничество. Такое значение слово приобрело после крупного мошенничества со стороны строительных компаний с подкупом должностных лиц при строительстве Панамского канала в 1899 г.

Устрицы.

С. 20. *...Гутенберг был не дурак...* — Имеется в виду Иоганн Гутенберг (1400–1468), изобретатель книгопечатания, который в 1450 г. открыл в Майнце первую типографию.

Печать! Как много в этом слове... — Разумеется, у Пушкина в «Евгении Онегине» (гл. VII) речь не о печати, а о Москве.

Позолоченные пилюли (1916)

Запутанная и темная история.

С. 44. ...*надев шапку, украшенную крупным солитером, окруженным сапфирами...* — Солитер (фр.) — крупный бриллиант, вправленный в изделие отдельно, без других камней. Так что здесь автор утрирует жадность и безвкусице русских нуворишей.

Люди, близкие к населению.

С. 48. ...*Рубенсы разные, Теннисры, голландцы...* — Питер Пауэл Рубенс (1577–1640) — фламандский живописец, работал в Антверпене и в Италии, автор более тысячи полотен в разных жанрах: от портрета до мифологических и религиозных сюжетов.

Давид Тенирс (1610–1690) — фламандский живописец, автор многих картин, запечатлевших крестьянский и городской быт.

Голландцы — общее название для голландских живописцев XVI–XVIII вв.

Возьмите Гуно... Берлиоза, Верди... — Перечисляются имена крупнейших французских и итальянских композиторов XIX века: Шарль Гуно (1818–1893), Гектор Берлиоз (1803–1869), Джузеппе Верди (1813–1901).

...*Я помню чудное мгновенье...* — Цитируется стихотворение А.С. Пушкина «К А.П. Керн» (1825), причем первые две строчки правильно, а третья строка, очевидно, придумана Аверченко.

С. 49. ...*вы будете вторым Фуке!* — Имеется в виду Никола Фуке, виконт де Во, маркиз Бель-Иль (1615–1680), министр финансов Франции в 1653–1661 гг.

Токарный станок.

С. 54. ...*до получения куртажной расписки...* — Куртаж (фр.) — плата посреднику; куртажная расписка — расписка о получении маклером платы за посредничество.

Уточкин.

Рассказ посвящен памяти одного из первых русских летчиков — Сергея Исаевича Уточкина (1876–1915/1916). Уточкин совершал показательные публичные полеты во мно-

гих городах России и за рубежом. Он дружил со многими писателями (в их числе А.Т. Аверченко и А.И. Куприн), которые впоследствии посвятили ему свои произведения.

С. 57. *...журнал Пате...* — Имеется в виду «Пате-журнал» — регулярно снимавшиеся хроники и восстановленные события, смонтированные на основе документальных кадров, выпускавшиеся французской фирмой «Пате» с 1908 по 1926 г. Хроники снимались в корреспондентских пунктах, организованных «Пате» во многих странах. Сеть филиалов фирмы находилась во многих городах России — в Петербурге, Киеве, Харькове, Варшаве, Одессе и Баку. В филиалы рассылались киносъёмочные аппараты для съёмки местных событий и пополнения хроник «Пате-журнала».

Синее с золотом (1917)

Сборник выпущен впервые в Петрограде издательством «Новый Сатирикон» в 1917 г.

Печатается по данному изданию.

Пять эпизодов из жизни Берегова.

I. Берегов — воспитатель Киси.

С. 77. *Кися... глядел на нее, как вивисектор...* — Вивисектор (*лат.*) — ученый, выполняющий операцию на живом организме с целью изучения его функций или же действия на него лекарств.

II. Берегов и Кашицын.

Впервые под заглавием «Человеки» в одноименном сборнике, вышедшем в 1915 г. В настоящем издании этот сборник публикуется в т. 6 и там, соответственно, этот рассказ отсутствует.

В ожидании ужина.

Впервые: Новый Сатирикон, 1916, № 18.

Цветы под градом.

Впервые: Новый Сатирикон, 1916, № 19.

Дама в сером.

С. 156. *...пароход шел к Пирею.* — Пирей — портовый город в Греции. За полвека до н.э. служил гаванью для столицы страны — Афин.

С. 157. *...сидели за обеденным табльдотом.* — Табльдот (фр.) — общий обеденный стол в пансионатах, на курортах и в ресторанах.

Я ваш кавалер — компренэ? — Компренэ — вам понятно? (фр.).

Человек об одной истории.

Впервые: Новый Сатирикон, 1916. № 32

С. 159. *...для это есть фамилии... Падеровских, Гофманов...* — Игнацы Ян Падеровский (1860–1941) — польский пианист и композитор; часто концентрировал в России.

Юзеф Гофман (1876–1957) — польский пианист и композитор; концертировал в России в 1893–1913 гг.; с 1899 г. жил в США.

Деликатные люди.

С. 164. *...из этих палестин... выслали.* — Подразумевается: из этих краев.

С. 165. *...сведу я вас сейчас в кордегардию...* — Кордегардия — караульное помещение, где размещаются солдаты, караульня.

Краснолапые.

С. 171. *...обвели со знакомой девушкой вокруг наляя...* — Наляй (то же, что аналой) — вытянутый вверх четырехгранный столик пологой доской для удобства чтения возложенного на него Евангелия. Аналой используется при таинствах Исповеди и Венчания. При совершении таинства Венчания молодые обводятся священником трижды вокруг аналая с лежащим на нем Евангелием и Крестом.

Бритва в киселе.

Впервые: Новый Сатирикон, 1915. № 51.

С. 182. *Ты победил меня, Галилеялин...* — Воскликание, приписываемое римскому императору Юлиану Отступнику (361–363), смертельно раненому в сражении с персами.

В этом восклицании император как бы признавал победу христианства над язычеством. Фраза стала крылатой, выражающей признание поражения.

Родители первого сорта.

С. 190. *...завернуто Собрание сочинений Пшибышевского...* — Станислав Пшибышевский (1868–1927) — польский

писатель; его декадентские романы «Заупокойная месса» (1893), «Дети сатаны» (1897) и другие пользовались громадным успехом в России, многие театры ставили спектакли по его пьесам.

Экзекутор Бурачков.

Экзекутор — в дореволюционной России лицо, заведующее в организации хозяйственной частью и наблюдающее за внешним порядком.

С. 202. *Пожалуйте на цугундер* — Пожалуйте на расправу (*стар.*).

Караси и щуки Рассказы последнего дня (1917)

Сборник с подзаголовком «Рассказы последнего дня» вышел в Петрограде в серии «Библиотека «Нового Сатирикона» в 1917 г. Печатается первому и единственному изданию.

Рассказ «Публика» в данный том не включен, поскольку он впоследствии вошел в сборник «Рассказы циника» под названием «Искусство и публика» (см. настоящее издание, т. 10).

Крыса на подносе.

Впервые: Новый Сатирикон, 1915. № 16. В 1962 г. рассказ был напечатан на страницах газеты «Правда», и это послужило сигналом к возвращению писателя на родину. К тому времени его произведения не издавались в России более 30 лет.

С. 220 *Пусть ожиревшие филистеры...* — Филистер (от нем. Philister) — первоначально, с начала XVIII века, презрительная кличка, которой студенты называли обывателей; в XIX–XX вв. слово получило более широкое употребление для обозначения самодовольного, ограниченного человека с узким, мещанским кругозором и ханжеским поведением.

Добрые калифорнийские нравы.

С. 226. *Отрывок из Брет-Гарта.* — Гарт Фрэнсис Брет (1836–1902) — американский писатель. Долгое время жил

в Калифорнии и наблюдал «золотую лихорадку». Мировую славу ему принесли «Калифорнийские рассказы» (1868).

С. 227. *...уважать суд Линча...* — «Суд Линча» (от имени американского плантатора-расиста Ч. Линча) — кровавая расправа без следствия и суда над неграми и вообще инакомыслящими и неугодными (вне зависимости от цвета кожи) людьми; практикуется до сих пор в США неонацистами, ку-клукс-клановцами, расистами, хотя официально преследование по расовой, национальной и политической принадлежности запрещен.

Одесситы в Петрограде.

Впервые: Новый Сатирикон, 1915. № 42.

Французская борьба.

С. 237. *Ave... Morituri te salutant* — Здравствуй (Цезарь) ...идушие на смерть приветствуют тебя (*лат.*) — обращение римских гладиаторов к присутствующему императору перед боем.

Один час в кафе.

Впервые: Новый Сатирикон, 1915. № 39.

С. 238. *Могу предложить 120 grossov.* — Гросс — 12 дюжин, т.е. 144 штук; счет, употреблявшийся в торговле для разных товаров, например, карандашей, перьев и т.п.

С. 240. *Три тысячи шестьсот. Франко Ревель.* — Франко (*ит.*) — условие продажи, согласно которому покупатель освобождается от непосредственных расходов по погрузке, транспортировке (а иногда и страхованию) груза в связи с тем, что эти расходы включены в цену товара.

Ревель — дореволюционное и послереволюционное название главного города и порта Эстонской Республики. В советское время город носил название Таллин, в настоящее время — Таллинн, столица Республики Эстония.

Благородная кровь.

Впервые: Новый Сатирикон, 1915. № 27.

С. 253–254. *...поступок того римского императора, который посадил лошадь в сенат в качестве председателя.* — Имеется в виду Кай-Цезарь Калигула (12–41, император

37–41), который не только посадил свою любимую лошадь в сенат но и составил особый придворный штат для нее.

С. 255. *Мы идем на Калэ...* — Кале (Калэ) — порт во Франции на проливе Па-де-Кале между Англией и Францией.

Калифорния без золота. — Впервые: Новый Сатирикон, 1916. № 25.

Начало конца. — Впервые: Новый Сатирикон, 1916. № 23.

С. 273. *...если ему Верденская операция удастся.* — Верденская операция — одно из важнейших событий Первой мировой войны; продолжалась (с перерывом) с 21 февраля 1916 по 26 августа 1917 г. Немцы стремились овладеть французским верденским укрепленным районом, французы успешно контратаковали. Для немцев операция оказалась неудачной. Потери составили: со стороны немцев 600 тысяч погибших, со стороны французов 350 тысяч.

С. 274. *Комми* — здесь: мелкий торговец (сокращение от «коммивояжер»).

Начальник станции.

С. 276. — *Золя читали?* — Эмиль Золя (1840–1902) — французский писатель, сторонник принципа натурализма. Его роман «Деньги» (1891) ярко изображает социальные противоречия и разрушительную силу денег в буржуазном обществе.

Мышеловки.

Впервые: Новый Сатирикон, 1916. № 31. Подпись: Ме-дуза-Горгона.

Из сборника «Оккультные науки» (1917)

Сборник впервые вышел в Петрограде в 1917 г.

Текст первого рассказа печатается по этому единственному изданию; текст второго рассказа, включенного впоследствии в сборник «Рассказы циника» (Прага, 1925), печатается по пражскому изданию.

Этот коллективный сборник, авторами которого кроме Аверченко были Аркадий Бухов (о хиромантии) и другие

сатириконцы, являлся ответом на бурный поток всякого рода мистико-окультистских сочинений, захлестнувший российский книжный рынок в 1910-е гг. В настоящем томе публикуются рассказы, написанные Аверченко.

С. 287. *...подразумевают столоверчение.* — Столоверчение — один из приемов, используемых спиритизмом для установления связи с душами умерших людей.

...такую область оккультизма, как учение йогов. — Оккультизм (от лат. *occultus* — тайный, сокровенный) — общее название религиозно-мистических учений о возможности общения со сверхъестественными силами, с потусторонним миром, а также практики оккультистов (спиритов, гадалок, ясновидящих и пр.). Оккультизм широко используется шарлатанами, которые спекулируют на неполном знании некоторых явлений, природных и психических (например, гипноза, некоторых атмосферных аномалий и т.п.).

Учение йогов (йога (*санскр.*) — соединение) — одна из систем индийской философии, которая определяет целью поступков человека достижением им состояния «освобождения» от материального существования. В конце XIX в. это учение привлекло внимание теософов, представителей мистического учения о богопознании через непосредственную связь с потусторонним миром и оккультизмом. Последние, в частности, интересовались принципами физических и умственных тренировок — раджа-йога и хатха-йога.

...звучную фамилию Рамачарака. — Рамачарака — псевдоним американского психолога Уолкера Аткинсона, выпустившего несколько книг о философии и технике йоги, которые были переведены в России и неоднократно переиздавались; вот только некоторые из них: «Пути достижения индийских йогов» (СП., 1913, 1915); «Наука о дыхании индийских йогов» (СПб, 1911); «Религии и тайные учения Востока» (СПб, 1914).

С. 289. *...говорит Анни Безант.* — Анни Безант (1847–1933) — участница индийского национально-освободительного движения, по происхождению англичанка; возглавляла индийское теософское общество — Лигу гомруля. Была последовательницей Е.П. Блаватской (1831–1891), выпустила множество книг по теософии.

Оккультные науки.

Рассказ отражает отношение Аверченко ко всякого рода суевериям, оккультизму, приметам, мистике и пр. Его друг по «Сатирикону» писатель Георгий Ландау вспоминал о встрече Аркадия Аверченко с хиромантом: «Он вошел, порозовевший, чуть-чуть взволнованный и небрежно сказал, а вернее, бросил:

— Столкнулся сейчас со знакомым, оказалось, он хиромант. «Вашу руку!» Я дал.

— Ну и что?

— Чепуха, разумеется! — Он отмахнулся, но больше для собеседника. — Что будто я скоро женюсь на какой-то аристократке и что на меня посыплется уйма денег» (Тайны вокруг нас. М., 1965. С. 77–78). Разумеется, предсказание не сбылось. Правда, деньги некоторое время у Аверченко были большие, но потом пришла революция, и не стало ни аристократки (писатель не был женат ни разу), ни денег.

С. 290. *В своей книге «Cite de Dieu» святой Августин...* — Августин Аврелий (Блаженный) (354–430) — христианский теолог и философ, признанный в православии блаженным, а в католичестве святым и учителем церкви. Сыграл видную роль в разработке и утверждении католической догматики. Основные его сочинения: «О граде Божием» («Cite de Dieu») и «Исповедь».

С. 292. *«И рыба дышит», — сказал Сенека.* — Сенека Луций Анней (ок. 4 до н.э. — 65 н.э.) — римский философ и писатель, один из главных представителей стоицизма. Главным условием достижения блага считал единство божественной природы и человеческой души. Его идеи оказали влияние на христианство. Действительно ли принадлежит ему приведенная фраза, установить трудно.

С. 298. *То был случай каталепсии...* — Каталепсия (от греч. «каталепсис» — захват, удерживание) — состояние полной неподвижности с характерным застыванием человека в принятой им или искусственно приданной им позе. Каталепсия может возникнуть при сильном волнении, при истерии, во время сеанса гипноза и т.д.

Исторические нравоучительные рассказы.

Этот цикл пародий написан Аверченко на основе мифологических и исторических сюжетов.

С. 304. *Как Дидона построила Карфаген.* — Дидона — финикийское божество; впоследствии греки сделали ее смертной женщиной, сестрой тирского царя Пигмалиона. Миф о Дидоне привлекал многих художников, поэтов, писателей, композиторов.

С. 305. *Мидийский царь Астиаг...* — Астиаг (584–558 гг. до н.э.) — последний мидийский царь, был свергнут своим внуком Киrom.

...*Дело ясное: Кир родится.* — Персидский царь Кир II Великий (? — 539 до н.э.), сын Манданы, дочери мидийского царя Астиага, в 558 г. до н.э. стал первым царем государства Ахеменидов, завоевал Вавилон, Мидию, Лидию, значительную часть Средней Азии, греческие города в Малой Азии.

Призвал вельможу Гарпага... — Гарпаг — вельможа мидийского царя Астиага, поручившего ему убить малолетнего Кира; Черпаг оставил Кира в живых, за что был наказан тем, что ему был приготовлен на обед его собственный сын.

О, Солон, Солон, Солон! — Солон (639–559 до н.э.) — афинский законодатель, один из семи греческих мудрецов; своими реформами облегчал бедственную участь должников, упразднил исключительное политическое значение родовой аристократии, разделив всех афинцев на 4 класса по имущественному цензу. Его реформы были первым шагом в демократизации афинского социального строя.

...*Кир победил лидийского царя Креза...* — Последний царь Лидии Крез (595–560 до н.э.) владел огромными богатствами, его царство после победы над ним Киrom было присоединено к Персии. Кир, взяв Креза в плен, присудил его к сожжению на костре, однако, услышав восклицание «О, Солон!», остановил казнь и дал свободу Крезу.

С. 306. *Перстень Поликрата...* — Поликрат (? — 523 или 522 до н.э.) — правитель на острове Самос; легенда о Поликратовом перстне послужила основой многих поэтических произведений.

С. 307. ...*Диоген жил в бочке...* — Имеется в виду Диоген Синопский (ок. 400 — ок. 325 до н.э.), древнегреческий философ-моралист, проповедовал аскетизм, близость к природе; по преданию, жил в бочке (пифосе).

Оратор Демосфен... — Афинский оратор Демосфен (ок. 384–322 до н.э.) призвал греков к борьбе против захватнической политики македонского царя Филиппа II.

С. 308–309. *Молодой римский человек Муций Сцевола пробрался во вражеский этрусский лагерь с целью ухлопать царя Порсену.* — Гай Муций Сцевола — мифологический римский герой; схваченный во время осады Рима (507 до н.э.) войском этрусского царя Порсена, сжег на костре свою руку, чтобы продемонстрировать презрение к смерти.

С. 310. *Римский военачальник Помпей...* — Гней Помпей Великий (106–48 до н.э.) — римский полководец. Входил с 60 г. до н.э. с Крассом и Юлием Цезарем в 1-й триумvirат; после распада триумvirата в 53 г. до н.э. воевал против Цезаря и в 48 г. до н.э. проиграл ему решающую битву при Фарсале.

Подходцев и двое других (1917)

Впервые повесть вышла в издательстве «Новый Сатирикон» в Петрограде в 1917 г.

Печатается по этому изданию.

При жизни автора повесть не переиздавалась. Только в последнее десятилетие на родине писателя вышло несколько ее изданий.

Повесть вобрала в себя несколько ранее опубликованных в «Сатириконе» и «Новом Сатириконе» рассказов, объединенных общими героями — Подходцевым, Громовым и Клинковым (в частности, рассказ «Молодость» из сб. «Круги по воде», рассказ «Буржуазная пасха» из сб. «Черным по белому» и др.). Однако это не явилось чисто механическим соединением рассказов. Автор постарался придать им некоторое сюжетное единство и цельность. Исходя из этих соображений, очевидно, Аверченко не включил в повесть некоторые рассказы с теми же персонажами. В образах трех друзей просматриваются черты характеров трех соратников по журналу «Сатирикон» — Аверченко, Радакова и Ре-Ми, которых мы уже видели под другими псевдонимами в книге «Экспедиция в Западную Европу сатириконцев...»

С. 320. *...предать обоих в руки сбиров...* — Сбир — служащий в инквизиции; старинное название полицейских стражников в Италии.

С. 325. *...несет за собой пир Валтасара...* — Валтасар — сын последнего царя Вавилонии Набонида. Погиб в 539 г. до н.э. при взятии Вавилона персами. С именем Валтасара связана библейская легенда о том, что во время его пиршества на стене дворца появилась огненная надпись, предвещавшая падение Вавилона в ту же ночь. Валтасаров пир — символ беспечности перед грядущей катастрофой.

С. 326. *...рассматривает не Клеопатру...* — Клеопатра, царица Египта, дочь царя Птолемея Аулета, прославившаяся умом и красотой (68–30 до н.э.).

С. 331. *Evviva, «Apelsino»!* — Да здравствует «Апельсин» (*итал.* испорч.).

С. 340. *По распущенности ты превзошел Гелиогабала!* — Гелиогабал (Элагабал) (204–222) — римский император в 218–222 гг. Сириец по происхождению, Гелиогабал способствовал распространению восточных культов, в частности поклонению сирийскому богу Солнца — Элагабалу (отсюда его имя), в честь которого было воздвигнуто несколько храмов, а себя объявил верховным жрецом. Рассточительный и распущенный образ жизни Гелиогабала, пренебрежение римскими традициями, хищение государственных средств его родственниками и приближенными вызывали всеобщее недовольство. Гелиогабал был убит преторианцами.

С. 386. *...сейчас бы на цугундер...* — На цугундер — на расправу (стар.).

С. 413. *...Кесарево кесарю...* — Выражение из Евангелия от Матфея (гл. 22, ст. 15–21), смысл которого: каждому — по его достоинству.

С. 415. *...за спиной мерзость запустения.* — Выражение из Библии (Книга пророка Даниила, гл. 9, ст. 27), смысл которого: полное разорение, опустошение, грязь.

С. 423. *...выглядывал из-за какой-то ротонды...* — Ротонда (здесь): женская теплая верхняя одежда в виде длинной накидки без рукавов, распространенная в XIX — начале XX вв.

С. 429. *...похож на галапагосскую черепаху...* — Галапагос — 16 вулканических островов в Тихом океане; здесь сохранились гигантские черепахи и игуаны.

С. 430. *...в одном из твоих палаццо...* — Палаццо (*ит.*) — дворец, особняк.



Содержание

Дикое мясо (1916)

Кустари и машина.....	5
Без четвертого партнера.....	10
Мелюзга.....	15
Устрицы.....	19
Драма в доме Букиных.....	24
Заколдованный круг (<i>Век фальсификаций</i>).....	29
Мишель Прыгунов.....	31

Позолоченные пилюли (1916)

Запутанная и темная история.....	41
Без елочки.....	44
Люди, близкие к населению.....	48
Токарный станок.....	52
Уточкин.....	57
Спасательные круги.....	64
Русские символы.....	66
Полевые работы.....	69

Синее с золотом (1917)

Пять эпизодов из жизни Берегова.....	75
I. Берегов — воспитатель Киси.....	75
II. Берегов и Кашицын.....	83
III. Лошадиное средство.....	90
IV. Семейный очаг Берегова.....	95
V. Берегов устраивается по-своему.....	100
Отец Марьи Михайловны.....	105
Пылесос.....	111
Обыкновенная женщина.....	115
Красильников и мы трое.....	121
Инквизиция.....	127
В ожидании ужина.....	130
Цветы под градом.....	133
О русских капиталистах.....	138
Хвост женщины.....	145
Дама в сером.....	151
Человек об одной истории.....	158
Деликатные люди.....	164
«Краснолапые».....	168
Бритва в киселе.....	174
Черная кость.....	183
Родители первого сорта.....	190
Экзекутор Бурачков.....	195
Соседки.....	204

Караси и щуки Рассказы последнего дня (1917)

Крыса на подносе.....	217
Борьба с роскошью.....	223
Добрые калифорнийские нравы.....	226
Одесситы в Петрограде.....	230
Французская борьба.....	233

Один час в кафе.....	237
Что надо сделать.....	243
Министр без портфеля.....	247
Благородная кровь.....	252
Позитивы и негативы	256
Человек, каких теперь много	259
Калифорния без золота.....	265
Начало конца.....	271
Начальник станции	276
Мышеловки (<i>О русских курортах и тому подобной гадости</i>)	280

Из сборника «Оккультные науки» (1917)

Оккультные науки.....	287
Предисловие	287
Глава I. Из чего состоит человек.....	288
Глава II. Проявление призрака	290
Глава III. Как приобрести личный магнетизм.....	292
Глава IV. Гипнотизм	296
Глава V. Спиритизм	301
Заключение	303
Исторические нравоучительные рассказы	304

Подходцев и двое других Повесть (1917)

Введение.....	313
Часть I	313
Глава I. Подходцев	313
Глава II. Громов	316
Глава III. Дома.....	319
Глава IV. Легкомысленный Клинков	323
Глава V. Издательское предприятие.....	326
Глава VI. Деловые люди	331
Глава VII. Конец предприятия	335

Глава VIII. Первый праздник, встреченный по-христиански	336
Глава IX. Нехороший Харченко.....	344
Глава X. Первое наказание Харченки	347
Глава XI. Случай с Клинковым. Закат пышного солнца.....	352
Глава XII. Второе наказание Харченки.....	354
Глава XIII. Жестокий поединок.....	358
Глава XIV. Черты из жизни Клинка. Результат поединка	362
Глава XV. Электричество в воздухе.....	367
Глава XVI. Атмосфера очистилась.....	370
Часть II	373
Глава I. Женщина, найденная на площадке.....	373
Глава II. Компания берет быка за рога. Господин Кандыбов.....	377
Глава III. Первый ребенок в доме.....	380
Глава IV. Дары	382
Глава V. Искусство рассказывать сказки.....	384
Глава VI. Подходцев самый умный. Идиллия.....	387
Глава VII. Клинков снова уезжает	391
Глава VIII. Неожиданная развязка.....	392
Глава IX. Зловещие признаки, страшное признание	395
Глава X. Подходцев уходит. Элегия.....	399
Глава XI. Вести оттуда.....	401
Глава XII. В гостях у Подходцева	404
Глава XIII. У Клинка оказались принципы	408
Глава XIV. Возвращение под родной кров	411
Глава XV. Безоблачное небо. Добрый Громов	414
Глава XVI. Небо хмурится. Буря. Громов в опасности.....	417
Глава XVII. Шторм. Громов идет ко дну.....	419
Глава XVIII. Похороны Громова. Семейное воркование.....	421
Глава XIX. Клинкову угрожает опасность.....	424
Глава XX. Гибель Клинка. Последняя шалость.....	427
Глава XXI. Подходцев уезжает совсем.....	434
Глава XXII. Конец. Пыль и паутина.....	441
Комментарии.....	443

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

Собрание сочинений

Том 9

ПОЗОЛОЧЕННЫЕ ПИЛЮЛИ

Редактор Е.Б. Егорова
Художественный редактор И.А. Шилиев
Технический редактор Т.В. Иванникова

Подписано в печать 20.02.2014.
Гарнитура «Petersburg». Формат 84×108^{1/32}
Печать офсетная. Усл. печ. л. 24,36.
Тираж 1000 экз. Заказ № ВЗК-01108-14.

ООО «Издательство «Дмитрий Сечин»
Ул. Ирины Левченко, 2. Москва, 123298, а/я 33.
Тел. 8(985)995-79-70
E-mail: sechinbook@mail.ru

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати — ВЯТКА» в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов
610033, г. Киров, ул. Московская, 122
Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36
<http://www.gipp.kirov.ru>
E-mail: order@gipp.kirov.ru

ISBN 978-5-904962-36-4



9 785904 962364

